

БОРИС ЛЬВОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?

русская классика

Вы чьё, старичьё?

Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Васильев. Вы чье, старичье?
Иванов катер
Самый последний день...
Кажется, со мной пойдут в разведку...
Великолепная шестерка
Вы чье, старичье?

Аннотация

Хотя самые известные произведения Бориса Васильева посвящены Великой Отечественной войне, с не меньшим мастерством он изображал и повседневность послевоенного СССР. Обо всех своих героях автор пишет с глубоким пониманием человеческих характеров, будь то собирающийся на пенсию участковый, ухаживающий за лошадьми старый фронтовик или вчерашний школьник, попавший в коллектив испытателей вездехода.

В данное издание вошли такие произведения, как «Вы чье, старичье?», «Самый последний день…», «Иванов катер», «Великолепная шестерка» и «Кажется, со мной пойдут в разведку». Все эти повести и рассказы были экранизированы, причем «Вы чье, старичье?» – дважды.

Борис Васильев
Вы чье, старичье?

Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез.
Дизайн обложки В. Воронина.

© Б. Л. Васильев, наследники, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Иванов катер

Вечерами в маленькой поселковой больнице тихо. Бесшумно скользнет по коридорчику сестра, разнося градусники. Прокряхтит сухонькая старушка, да скрипнет дверь за мотористом с «Быстрого», выходящим покурить в холодные сени.

А сегодня тишина нарушилась тяжелыми шагами врача, беготней сестер, тревожным скрипом носилок.

Моторист выскочил в коридор:

— Никифорова с Иванова катера в операционку повезли.

— Утоп!.. — ахнула бабка.

— Нет, бабка, за борт свалился…

За разговорами не заметили, как по коридору мимо палат прошли двое; один прихрамывал, крепко налегая на палку.

Он был немолод. От хромоты в левой ноге чуть сутулился и при ходьбе привычно выносил вперед правое плечо. Морщины избороздили до черноты загорелое лицо, и особенно много их набежало возле глаз, словно человек этот всю жизнь смотрел против ветра.

Он шел, стараясь без стука ставить палку, а впереди беззвучно летела девчонка-сестра, от бьющей через край энергии выворачивая по-балетному носки матерчатых тапочек. У операционной остановилась:

— Посидите.

Боком скользнула в дверь, а он осторожно присел на краешек стула, поставив между ног палку.

Как все здоровые люди, он был чуть напуган больничной тишиной: стеснялся сесть поудобнее, скрипнуть стулом, поправить сползавший с плеча тесный халат. Стеснялся своего здоровья, стоптанных башмаков из грубой кожи и тяжелых рук, сплошь покрытых ссадинами и порезами.

— Иван Трофимыч?.. — Моторист опять вылез в коридор.

— Петр? — шепотом удивился Иван. — Ты чего тут?

— Аппендикс вырезали, — не без гордости сообщил моторист, садясь рядом. — Флегмонозный.

— С Федором-то беда какая… — Иван вздохнул.

— А что случилось?

— Запань у Семенова лога утром прорвало. Не знаю, откуда вода пришла, а только рвануло троса, и понесло лес в Волгу. А тут — ветер, волна. Треск стоит — голоса не слышно. Ну, все кто куда:

с лесом не пошутишь.

— Ай-ай-ай!.. — опечалился моторист. — И много ушло?

— Да нет, немного. Аккурат мы воз навстречу вели, к «Немде» цеплять. Пиловочник сплошь, двести сорок метров. Ну, увидал я: лес в лоб идет…

— Буксир топором да к берегу! — сказал моторист. — Затрет бревнами — «мама» сказать не поспеешь.

Иван улыбнулся.

— А я по-другому рассудил. Плот только сплочен, троса добрые, а ширина в этом месте невелика: развернул, корму в Старую Мельницу сдал — там камни, уязвил прочно. А катерок свой за мысок спрятал. Знаешь, где малинники?

— Ну?

— Ну и сдержал лес, не пустил в Волгу-то, на простор.

— Ишь, сообразил! — завистливо вздохнул моторист. — Премия, поди, будет, благодарность…

— Благодарность, может, и будет, а вот помощника уж не будет, — вздохнул Иван. — Как ударило нас первой порцией — троса запели, а Федора на бревна сбросило. Выловили, а рука на жилах висит.

— Оклемается, — уверенно сказал моторист. — Мужик здоровый. Да и доктор молодец: меня пластал — любо-дорого.

Стемнело, когда из операционной вышел доктор. Увидев его, моторист трусливо юркнул в палату. Скрипнув стулом, Иван встал навстречу, но доктор опустился рядом, и Иван, постояв немного, тоже присел. Он стеснялся начинать разговор, а доктор молчал, медленно разминая в пальцах папиросу.

— Перелом позвоночника, — сказал он, прикурив и глубоко затянувшись. — Скверное дело, капитан.

— Долго пролежит? — тихо спросил Иван, плохо представляя, что это значит.

— Всю жизнь. — Врач курил жадно, изредка разгоняя рукой сизые клубы дыма. — Всю жизнь, капитан, какая осталась…

— Трое детей… — невольно вырвалось у Ивана.

— Что?

— Трое детей, — повторил Иван и опять встал. — Старшему — двенадцать, не больше…

Доктор молчал. Вспышки папиросы освещали его осунувшееся лицо и капли пота на лбу.

— Рыбки можно ему?

— Рыбки? — переспросил врач. — Фруктов хо-

рошо бы. Витамины, понимаешь?

И опять замолчал. Иван постоял немного и, тихо попрощавшись, похромал к раздевалке.

В раздевалке он сдал халат и в обмен получил потрепанный рабочий пиджак. Пожилая гардеробщица полюбопытствовала насчет Никифорова, и он сказал ей, что дело Федора плохо и что у него трое детей. Гардеробщица, вздыхая и сокрушаясь, отперла уже по-ночному заложенные двери, и он вышел на темную окраинную улицу поселка.

Он привычно свернул вниз, к пристаням, но, пройдя немного, остановился. Посмотрел на часы и, быстро перекидывая палку, враскачку зашагал по узкой крутой тропинке от угла и громко постучал палкой по запертой калитке.

Сквозь надрывный собачий лай послышался сиплый со сна голос:

— Кого нелегкая?

— Это я, Бурлаков. Открой, Степаныч, дело к тебе.

— На место, дармоед!.. — В щели чуть приоткрытой калитки показалась осанистая фигура. — Что за дело?

— Яблоки у тебя есть, Степаныч?

— Яблоки?.. — Хозяин неожиданно тоненько

захохотал. — Какие тебе яблоки в июле, старый пень?

— Понимаешь, Никифоров в больнице. Доктор фрукты велел…

— В больнице?.. — Хозяин задумался. — В больнице — это другое дело. — Он распахнул калитку. — Шагай, Трофимыч. Осторожно, приступочка тут.

Вслед за Степанычем Иван поднялся на крыльцо и прошел в темные сени. Хозяин щелкнул выключателем; голая лампочка осветила просторное помещение, заваленное плетеными корзинами, мешками и ящиками.

— Фрукт — великое дело. — Степаныч выволок из угла дырявый мешок, развернул: на дне лежали битые зеленые яблоки. — Первый урожай. Сам бы ел, но ради такого дела…

— Кислятина, поди.

— Ты что? Папировка, первый сорт. Глядико… — Хозяин взял яблоко и начал с хрустом жевать его, причмокивая от удовольствия. — Восемь килограмм, хоть на безмене прикинь.

— Почем же?

— Ну, как для больного — по рублю.

— Круто берешь, Степаныч…

— Первые ведь, от себя отрываю.

Иван молча отсчитал деньги, взвалил на плечо мешок. Хозяин вел его к калитке, по инерции расхваливая уже проданный товар:

— Витаминов в этих яблоках — вагон! У меня вон детсад закупает, прокурор для больной жены. Сила яблоки: сорт особый… Счастливо, Трофимыч! Заходи, если что. Тебе — в первую очередь…

По крутой тропинке Иван спустился к пристаням и сразу увидел плакаты с броской надписью: «Герои нашего затона». Героев узнать было бы невозможно, если бы художник не подписал каждый портрет: «Капитан Иван Бурлаков», «Помощник капитана Федор Никифоров», «Матрос Елена Лапушкина». Все трое сурово глядели вдаль…

Катера стояли за полузатопленной баржей. Они были одинакового размера, формы, убранства, одинаково освещались сигнальными фонарями, и только на самом дальнем совсем по-домашнему сушилось на веревке белье.

Иван спрыгнул на катер, громыхнув по железной палубе костыльком. На шум из рубки выглянула худенькая молодая женщина в выгоревшем ситцевом платье; голова ее была повязана полотенцем.

— Вы, Иван Трофимыч?

— Ты чего это в полотенце?

— Голову мыла. Как Федор?

Он присел, вытянув натруженную ногу, закурил и рассказал, что говорил доктор и как он заходил к Степанычу за яблоками.

— Плохо, Еленка.

— Шесть душ кормил, — вздохнула она. — Шесть душ, сам седьмой…

— Сам седьмой, — повторил Иван, упорно разглядывая огонек папиросы.

Они опять замолчали. Еленка стояла, по-бабьи пригорюнившись, опустив худенькие плечи, чуть прикрытые легким платьем, а он неторопливо курил, по привычке держа папиросу огнем в ладонь.

— Кого-то вместо Федора пришлют, — не то спросила, не то сказала она.

Иван бросил папиросу за борт, поднялся:

— Пойдем в кубрик. Застынешь.

По железному трапу они спустились в тесный низкий кубрик. Четыре дивана окружали небольшой, прикрепленный к полу стол; три из них были застланы. В углу возле трапа размещалась вделанная в железный шкаф печурка; остывая, она изредка потрескивала. В противоположном

углу был шкаф для одежды и еще один маленький подвесной шкафчик, в котором хранились судовые документы, ведомости, бинокль и прочее ценное имущество.

От недавно истопленной печи в кубрике было душно. Иван снял пиджак и палкой открыл потолочный люк. Свежий воздух ринулся вниз, а Иван с беспокойством оглянулся на Еленку:

— Не надует?

— Нет. — Она ловко поворачивалась в тесном проеме между печуркой, кухонным столиком и трапом, готовя ужин. — Я уж и постирать успела, и помыться, и обсохнуть, пока вы ходили.

Большими ломтями она нарезала черный хлеб, подала соль, пучок зеленого луку, ложку и большую эмалированную миску, доверху налитую густой ухой. Он взял было ложку, но посмотрел на Еленку и отложил:

— А ты что же? Или не голодна?

— Не хочу, — сказала она. — Вы кушайте. Не знаю, горяча ли уха.

— В самый раз, — сказал он и начал есть, а она села напротив и подперла подбородок рукой.

Они вообще говорили мало, а за едой не говорили никогда, потому что еда не была для них развлечением. Еленка просто молча глядела, как

неторопливо и старательно он ест, как аккуратно подставляет под ложку ломоть хлеба, чтобы уха не капала на стол и чтобы ей было меньше хлопот с уборкой. Она любила смотреть на него, когда он ел: в ней появлялось уютное чувство хозяйки, заботливо кормящей главу семьи после тяжелого трудового дня, и тогда тесный кубрик казался просторным домом, бревенчатые стены которого веками источают смолистый дух…

Иван вытащил из миски большую разваренную рыбу и стал есть ее, выбирая кости.

— Хорошего Федор подъязка поймал… — начал он и, поняв, что ест сейчас, пожалуй, последний улов, который выпал на долю его помощника, сказал: — Яблоки Федору отнесешь в больницу. Я утром к домашним его зайду, а оттуда — в контору: надо нового помощника искать.

Потом он вылез на палубу покурить, а Еленка убрала со стола и вымыла яблоки, заботливо вытерев каждое. Ей хотелось надкусить одно, почувствовать во рту кислый до оскомины сок, но она только понюхала их и сложила в сшитый из старой наволочки мешок.

Покончив с хозяйством, она разделась и легла. За тонким бортом чуть слышно плескалась вода, а в кубрике было так тепло и привычно, что она

почти сразу же уснула и не слышала, как Иван с грохотом запирал на ночь тяжелую дверь рубки.

Иван легко засыпал в любом месте — будь то узкий диван кубрика или колючий лапник фронтовых привалов. Спал без сновидений и всегда на правом боку, но сегодня никак не мог уснуть.

Глупо и обидно, что человек, как бы силен он ни был, не может предотвратить беду. Стоять бы Федору на шаг правее борта сегодняшним утром — и спокойно храпел бы он сейчас на соседнем диванчике. Всего на шаг правее. На полшага…

Он тяжело заворочался, но, боясь разбудить Еленку, сразу притих: молодые любят спать, им это полезно.

Еленка… Две женщины в его жизни, но первую не стоит вспоминать. Первая родила ему Сашка, а любви не было, и вышло ни то ни се, ничего не вышло, если говорить честно. И правильно, что отдал он тогда жене дом, а себе взял новый костюм да ордена, которые надевал три раза в год: на праздники и в День Победы. Очень правильно, хоть и бобылем оказался уже в возрасте, когда у других — и дети, и радость, и место за столом, которого никто не займет. А она вроде бы счастлива теперь, и то ладно…

Расчесал ты, Иван, старую болячку: зуд по всей

душе пошел. Покурить надо. Покурить, проветриться — и забыть.

Иван спустил ноги с чуть вздохнувшего дивана. Ощупью нашел штаны, накинул на плечи пиджак и, растопырив руки, пошел к трапу. Нащупал поручни и полез в рубку, с силой подтягивая тело. В рубке разыскал старые галоши (Еленка в них мыла палубу, когда было жарко и железо нагревалось так, что босиком и не ступишь), не смог в них влезть и, громыхнув-таки дверью, вышел на палубу.

Небо было в тучах, звезд не видно, а луна еще не народилась. Иван присел на крышу моторного отделения и закурил.

Вода чуть слышно плескалась о борт. Она плескалась всегда — днем и ночью, в штиль и шторм, но он слышал этот плеск только по ночам, если случалось не спать. А в остальное время просто исключал его из сознания, как городской житель исключает грохот трамваев. А ночью любил слушать…

Замерзнув до озноба, он бросил окурок, запер дверь рубки и осторожно спустился в черноту кубрика. Нырнул под одеяло, и пружины дружно вздохнули под его тяжестью. Натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.

Он открыл их, вдруг почувствовав, что Еленка стоит рядом.

— Проснулась?

— Я давно проснулась, — сказала она. — Я слышала, как вы ворочались и вздыхали.

— Надо спать, — сказал он, невольно притягивая ее к себе. — Надо спать, а то что мы завтра за работники будем…

Он почувствовал, как губы касаются его щеки: она никогда не целовала его, а только касалась губами, смешно вытягивая их. Он повернулся на бок, и она быстро юркнула под одеяло.

— Зачем вы по железу босиком ходите?..

Они любили друг друга молча. Ни разу ни одного ласкового слова не расслышал Иван и тоже молчал, про себя выдумывая ей самые нежные прозвища…

Было еще совсем темно, когда Еленка шевельнулась.

— Что так рано? — спросил он.

— Лифчик у меня сохнет, — сказала она, и он понял, что она улыбается. — Рассветет — мужики смеяться начнут: что, мол, за сигнал поднят на Ивановом катере?

Она чуть коснулась рукой его лба, и он с сожалением отпустил ее. Он всегда отпускал ее с

сожалением: слишком уж коротки были летние ночи.

Утром, пока Еленка готовила завтрак, он достал из носового трюма пять больших лещей: он сам наловил их, сам солил, сам коптил на можжевельнике так, что кожа их даже в сумерки светилась теплым золотистым светом.

— Никифоровой, — сказал он, поймав удивленный взгляд Еленки. — Скажу, что Федорова доля осталась.

— А Сашку?

Иван помолчал, нахмурился. Буркнул под нос:

— Обойдется Сашок без рыбки.

Они позавтракали вчерашней ухой, напились чаю и сошли на берег. Еленка свернула наверх, к больнице, а Иван, зажав под мышкой пакет с лещами, похромал вдоль причалов, здороваясь с каждым встречным.

Дом Никифоровых стоял с края берегового порядка. Федор поставил его прошлым летом, получив за два года стажировочные и взяв ссуду в конторе. Иван все время думал об этой ссуде, но надеялся, что теперь начальство либо скостит долг Никифорову, либо, на худой конец, растянет его на много лет…

Он хорошо знал этот дом: Федор часто пригла-

шал капитана то на дочкины именины, то на рождение сына. Иван покупал тогда бутылку водки, а Еленка надевала синее шерстяное платье. Хорошие это были вечера…

Он толкнул тяжелую дверь и вошел в дом. За дощатой перегородкой, отделявшей жилую комнату от маленькой прихожей, слышался громкий обиженный плач.

— Паша!.. — окликнул Иван.

Плач стал сильнее, но ответа не последовало.

— Есть кто живой? — спросил Иван, все еще не решаясь без приглашения идти в комнату.

— Я живой, — недовольно ответил мальчишеский голос, и на русской печи задвигалось что-то похожее на худой, обтянутый штанами зад. Зад этот, вильнув, попятился к приступочке, и Иван наконец разглядел Вовку — старшего отпрыска Никифорова рода.

— Здравствуй, дядя Иван, — степенно сказал Вовка, подавая левую руку, так как в правой он держал шерстяные, домашней вязки женские чулки.

— Чего Оленька кричит?

— Развивается. — Вовка сел на пол и стал надевать чулки на худые исцарапанные ноги. — Может, артисткой будет: орет больно здорово.

Чулки были велики, но Вовка не обращал на это внимания, деловито прикручивая их к тощим икрам специально припасенными веревочками.

Поняв, что толку от Вовки не добьешься, Иван аккуратно вытер ноги о половичок и прошел в комнату. В углу на неприбранной кровати кричал ребенок, приваленный подушкой. Увидев Ивана, ребенок сразу перестал орать и улыбнулся, показав два крохотных зуба.

— Ну что, Ольга, орешь? — спросил Иван, снимая с нее подушку. — Мокрая небось?

Он развернул девочку, переменил простынку и вновь уложил Ольгу на место. Девочка пускала пузыри и улыбалась, крепко держа Ивана за палец.

— Она кормлена? — спросил Иван.

— Кормлена, — сказал Вовка. — Бабка кашу варила.

Остатки каши были разбросаны по столу. Там же стоял чугунок, грязные тарелки и хлеб.

— А где бабка?

— В церкви. Пошли они с дедом в церковь и Надьку с собой увели.

— А мать?

— В больнице. Еще не рассвело — побежала. Все равно к папке не пустят, чего бежать?

Вовка вошел в комнату. Кроме бабкиных шерстяных чулок на нем были надеты тяжелые башмаки.

— Ты чего это в чулки вырядился?

— Это теперь не чулки, — сказал Вовка, любуясь собой в зеркало, подвешенное на стене. — Это теперь гетры, дядя Иван. Гетры — футбольная форма.

Иван посмотрел на него, сказал серьезно:

— Плохо с отцом-то, Вова.

— А чего плохо-то? Чай, не утонул: отлежится.

— Эх, глупый!.. — Иван с сожалением и очень стесняясь высвободил палец из детского кулачка. — Рыбу я там принес. Сунь ее в подпол.

Вовка нехотя пошел исполнять поручение. Пока он, сопя и вздыхая, громыхал тяжелым люком, Иван собрал грязные тарелки, смахнул со стола, прикрыл хлеб и чугунок с кашей кухонным полотенцем.

— Ты бабки дождись или матери, футболист, — сказал он, когда Вовка вернулся. — Ребенка одного не оставляй.

— А что ей сделается? — недовольно спросил Вовка. — Я ее подушкой привалю, чтобы не ползала и не убилась.

Из разговора было ясно, что Вовка уже все про-

думал и спорить с ним бесполезно. Поэтому Иван начал издалека:

— Ты вроде рыбачить со мной собирался? — Вовка мгновенно повернулся к нему.

— Когда пойдем?

— Когда?.. — Иван испытующе посмотрел на него. — Три условия тебе ставлю: посуду помыть, воды в бачок натаскать и Ольгу не оставлять. Выполнишь?

— Выполню, — вздохнул Вовка.

— Завтра в семь приходи к катеру. Знаешь, где стоим?

— Знаю! А чего брать? У меня и на верхоплавку есть, и закидушка…

— Снасть будет полная. Пальтишко захвати.

— Так тепло. Лето.

— Леща пойдем брать, Вова. А лещ, он ночью ловится, в тишине. — Иван положил руку на нечесаную, добела выгоревшую голову мальчишки и подумал, что здорово решил насчет рыбалки: значит, часть улова можно будет свободно отдать Вовке как долю в общем труде.

— Все сделаю, дядя Иван, — говорил Вовка, провожая его к дверям. — Посуду помыть — раз, воды натаскать — два, Ольгу не оставлять…

— Да, вот еще. — Иван остановился. — Мате-

ри скажешь, чтобы сегодня же в отдел кадров с паспортом пришла. Со своим паспортом, не забудешь?..

Иван шел назад легко и быстро. Все же удачно начался день: и с Вовкой он справился, и насчет рыбалки придумал, и вовремя, очень даже вовремя вспомнил, что Паша Никифорова нигде не работает. И только досадное обстоятельство портило настроение: как же это можно идти в дом, где малые дети, и не захватить с собой кулек карамелек?..

На крыльце приземистого одноэтажного дома, где размещался отдел кадров, сидел рослый парень, сбив на затылок помятую форменную фуражку с треснувшим серебряным «крабом». У ног его стоял потрепанный чемоданчик, к ручке которого был лямками привязан плотно набитый солдатский вещмешок. Темные масляные пятна окрасили мешок в грязно-черный цвет: видно, хозяин швырял его где попало. Флотские брюки парня, зауженные согласно столичной моде, тоже были в пятнах и потеках, зато белоснежная рубашка сияла ослепительной чистотой; в вырезе ее виднелись неправдоподобно синие полосы новенькой тельняшки.

— Откуда будешь, парень? — спросил Иван.

— Снизу, — равнодушно ответил парень.

— Горьковский?

— Почти что угадал.

— А чего здесь сидишь?

— Начальство документы изучает…

Он вдруг цепко, искоса глянул на Ивана.

— Говорят, у вас плавсостав укомплектован под завязку. Верно?

— Кто его знает, — уклончиво сказал Иван. — Вроде бы нет…

— Значит, в лапу ждет! — Парень выругался. — Либо на пол-литра рассчитывает.

Начальник отдела кадров получил на фронте штыком в живот и с той поры ел одну манную кашу с молоком.

— С дизелями знаком? — спросил Иван.

— Судовой механик… А что?

— Посиди пока. Узнаю, — сказал Иван и мимо парня прохромал в отдел кадров.

Начальник отдела кадров был худ и черен, как ранний грач. Иван давно знал его: еще до войны вместе ходили в клуб водников на танцы.

— Здорово, герой затона. — Улыбка у начальника пряталась в глубоких морщинках, и о существовании ее догадывались немногие. — Сразу могу обрадовать: начальство премию вам

отгрохало.

Иван промолчал.

— И еще одно, уже по секрету. Сегодня местком заседать будет насчет твоего катера. Полагаю, решат присвоить имя, Иван Трофимыч. Большая честь тебе оказывается.

Раньше не было такого порядка: мелкие суда шли под номерами, крупным наименования присваивали либо на судоверфи, либо приказом по пароходству. А как выбрали в бюро Володьку Пронина, так все пошло иначе. Сумел Володька начальству внушить, что имя для судна почетней благодарностей, и присвоил месткому право решать, кто этого почета достоин.

— Только пока — ни гугу, — сказал начальник. — Будет приказ, будет и оркестр. — И опять собрал возле рта морщины, запихал в них улыбку и спросил: — Рад?

— Рад, — вздохнул Иван и закурил, стряхивая пепел в ладонь, потому что начальник курящих не жаловал и пепельниц не держал. — Рад-то рад, Николай Николаич, только кто дает, тот и отбирает.

— А ты оправдай.

— Так ведь не посуху ходим, а по воде. — Иван улыбнулся, потом помолчал, показывая этим, что

шутки кончены, и сказал серьезно: — Ты вот что, Николай Николаич, ты жену Федора Никифорова оформи матросом ко мне на катер.

Начальник с удивлением посмотрел на Ивана.

— Трое детей, Николаич. На Федорову пенсию не потянет.

— Жалостливый ты больно мужик, Иван Трофимыч, — с неудовольствием сказал начальник.

— Надо, Николай Николаич. Был я у них: надо.

Начальник только вздохнул.

— Ладно. Пришли ее сегодня с паспортом.

— Сама придет: я Вовке, сыну ее, наказал.

Начальник пометил что-то в календаре, усмехнулся:

— В начале навигации ты обязательство брал сократить экипаж с пяти до трех человек. Было такое?

— Было, — сказал Иван. — При толковом помощнике вполне можно обойтись без моториста и второго матроса.

— А теперь сам второго матроса просишь. Некрасиво получается.

— Утремся, — сказал Иван. — Напишу заявление, что погорячился и без второго матроса обойтись не могу. Ну, ругнут меня на партсобрании, а Паша Никифорова каждый месяц полсотни

получать будет. Правильно или неправильно?

— Правильно вообще-то, — согласился начальник. — Продавай свою рабочую гордость за полста рублей.

— Ничего, — улыбнулся Иван. — Не такой уж я гордый.

— Ну, договорились, — сказал начальник. — Второй вопрос: кого вместо Федора?

— Вместо Федора?.. — Иван встал, подошел к окну, выбросил пепел с ладони. — А что за парень у тебя на крыльце сидит?

— Не советую, Трофимыч, — поморщился начальник. — Ой не советую.

— Почему?

Начальник придвинул лежащие с краю стола документы, раскрыл трудовую книжку.

— «Прасолов Сергей Павлович, — читал он, изредка поглядывая на Ивана. — Специальность — судовой механик, холост…» Подходит?

— По всем статьям.

— Погоди. — Начальник перевернул несколько страниц и с выражением прочел: — «Уволен из Саратовского грузового порта десятого июня сего года по собственному желанию…» — Он отложил книжку и посмотрел на Ивана.

— Ну? — спросил Иван, ничего не поняв.

— Парень в середине навигации по собственному желанию ушел. Спросил я его, что же это за желание такое: бросить Саратовский порт и к нам в глухомань приехать? Смеется: у вас, говорит, невесты на всю Волгу славятся.

— Может, человек веселый.

— Веселый?.. Это ведь пишется только, что по собственному желанию. Не первый год кадрами заведую: знаю. А что там у него на самом деле было — поди вон к тетке Авдотье да погадай.

— Значит, неправду в документах пишут?

Начальник досадливо поморщился:

— Есть, Иван Трофимыч, правда, а есть — истина. Против истины мы ни на волос не согрешим: дело это святое... — Он вздохнул. — Сколько у тебя матросов вместе с Никифоровой будет?

— Два.

— Правильно: зарплата — двоим, а палубу драить — одна Елена. Так?

— Ну?

— Так где же она, правда-матушка?

— А-а... — Иван улыбнулся. — Подкусил!

— Вот так и в нашем деле, — со вздохом сказал начальник.

Он замолчал и снова стал придирчиво изучать трудовую книжку судового механика Прасолова.

— А вдруг — не так? — сказал Иван и встал. — Вдруг ты ошибаешься, Николай Николаич? Вдруг он и вправду по собственному желанию уволился и к нам приехал с дорогой душой, а мы…

— Сомневаюсь, — сказал начальник.

— А я не могу человека загодя плохим считать, — с непривычной горячностью сказал Иван.

— Значит, хочешь брать?

— Беру. Опыт у него есть?

— Достаточный, — сказал начальник. — Он вон и по Енисею навигацию проплавать успел… Ладно, Трофимыч, гуляй себе на катер, прибирайся, а парня я пришлю. Только помни: я тебя по дружбе предупредил, и чтобы потом…

— Ничего потом не будет, — сказал Иван и, пожав сухую, всегда горячую руку начальника, вышел из отдела кадров.

Парень сидел на старом месте, только возле ног прибавилось окурков. Он встретил Ивана спокойным взглядом серых холодных глаз и чуть заметно усмехнулся.

— Катер возле затопленной баржи причален, — сказал ему Иван. — Как оформишься, приходи не мешкая. Катер номер семнадцать, запомни.

Парень вскочил, хотел что-то сказать, но из

окна крикнул начальник:

— Прасолов!.. Ну-ка, зайди!..

Прасолов подхватил вещи, шагнул к крыльцу. В дверях остановился.

— Спасибо, капитан! С меня — пол-литра!..

С яблоками Еленка обернулась быстро: дежурила знакомая девчонка и без разговоров взяла мешочек. Впрочем, Никифоров считался тяжелым, лежал в отдельной палате, и доктор, вопреки обыкновению, пустил к нему жену еще до завтрака. Все эти новости сестра выпалила Еленке и ушла.

От больницы Еленка спустилась к рынку, купила мяса и, завернув его в припасенную газету, пошла на катер.

Поставив вариться мясо, Еленка переоделась и принялась за уборку. Открыв люк в кубрике, выколотила диваны, вытащила наверх одеяла и подушки. Потом достала швабру и, надев на босу ногу галоши, принялась с ожесточением скрести маленькое суденышко.

— Чего расстаралась, соседка? — спросила с ближайшего катера пожилая женщина-матрос. — До Ноябрьских далеко…

— Да я так. — Еленка почему-то смутилась и отвечала, не поднимая лица. — Все равно пока

без работы стоим.

— А Никифоров как?

— Не видала я его, родных только пускают. Девчонка там знакомая работает, говорит, плохо, мол.

Вопрос любопытной соседки — нет, не о Никифорове, другой — застал Еленку врасплох. Еще вчера она и не думала об уборке, но сегодня на борт должен был вступить кто-то посторонний, и ей хотелось по-хозяйски блеснуть чистотой, порядком и сытным обедом.

Где-то в глубине души она хотела, чтобы неизвестный оказался молодым и веселым, но думала об этом робко, словно тайком от самой себя, потому что и для нее и для Ивана куда было бы проще, если бы он был местным, имел на берегу дом, семью и все связанные с этим интересы. Такой человек не мог нарушить установившийся на катере порядок, и жизнь не требовала бы ни перемен, ни ухищрений. Все текло бы своим чередом — даже ее редкие ночные свидания с Иваном…

Размышляя об этом, она выдраила до блеска старый катерок и спустилась вниз, где на крохотной печурке кипел обед. Она успела только приподнять крышку, как на палубе гулко грохнуло, катерок качнуло и незнакомый голос громко

спросил:

— Разрешите войти?

Она поспешно накрыла кастрюлю, вытерла руки и, старательно оправив платье, с опозданием крикнула:

— А кто там?

И полезла наверх, заранее смущаясь, потому что голос был насмешливым и молодым. Еще из рубки — сквозь стекло — она увидела рослого парня с чемоданом и вещмешком.

— Здравствуйте, — очень тихо сказала она.

— Привет, хозяйка. — Парень в упор разглядывал ее серыми глазами. — Будем знакомы: Прасолов Сергей Павлович.

— Лапушкина, — сказала она и, стесняясь, подала руку ковшиком, на мгновение. Потом спросила: — К нам, значит?

— К вам. — Он поймал ее взгляд, улыбнулся вдруг, как выстрелил: — Как вахта идет, товарищ Лапушкина?

От прямого, вызывающего взгляда, от вопроса, сбивающего на игривый, неравноправный тон, Еленка совсем сникла и, пробормотав что-то, торопливо спустилась в кубрик. Здесь она опять принялась за обед, все время с непонятной тревогой прислушиваясь к шагам над головой. Зная,

каким звоном отзывается каждый шов палубы, она безошибочно определяла, что он делает там, наверху: тонко взвизгнула плохо смазанная петля носового люка, скрипнула дверь рубки, грохнул пол машинного отделения.

Парень грохотал по-хозяйски, не стесняясь, не спрашивая, что где лежит. Тяжело взревел двигатель, катерок мелко затрясся, но Сергей не выключал ход, а придирчиво гонял старенький мотор на всех оборотах, выслушивая каждый цилиндр. Он больше не беспокоил ее и не выходил из машинного отделения. Заглушив движок, звякал ключами, изредка что-то насвистывая. Даже когда пришел Иван, не вылез навстречу, а гулко крикнул снизу:

— Капитан, спуститесь-ка!..

Иван ушел к нему, и они долго не появлялись. Еленка сготовила обед, накрыла на стол, а их все не было, только голоса неразборчиво гукали в звонком трюме да дважды взревел запущенный двигатель.

Они спустились вместе — умытые, с розовыми, натертыми полотенцем лицами.

— Ну, я же сразу сказал, что в пятом цилиндре палец люфтует! — почему-то очень радостно говорил Сергей. — И форсуночки проверить не грех:

подача паршиво отрегулирована, для дяди…

— Обедать, — сказала она, то снимая, то снова накрывая кастрюлю крышкой. — Стынет.

— С мясом! — улыбнулся Иван. — Ну, Еленка, расстаралась ты сегодня.

— Что же я! — крикнул Сергей и кинулся на палубу.

Он тут же вернулся с мешком и чемоданом.

— Для первого знакомства. — И со стуком поставил на стол бутылку водки.

— Это ты, парень, зря, — сказал Иван. — У нас закон: только по праздникам.

— Я, капитан, законы соблюдаю. — Сергей зубами надорвал пробку. — Ты что, матрос, два стакана ставишь?

— Выпей с нами, Еленка, — сказал Иван. — За знакомство.

Они выпили, и Сергей с Иваном завели длинный разговор о двигателе, который следовало бы перебрать, о работе, которую невозможно спланировать, о простоях и премиальных, переработках и выходных, и Еленка вскоре совсем освоилась, потому что новый помощник не обращал на нее никакого внимания.

— Вот ты говоришь: смесь богатая, — сказал слегка захмелевший Иван. — Ладно, богатая. Так.

А есть резон регулировать? Есть резон экономить? Нету такого резона, потому что тут не об экономии думать надо, а наоборот: куда лишнее горючее деть.

— Много? — спросил Сергей.

— Две тонны вот тут. — Иван похлопал себя по шее. — Движок старый, масло жрет в три горла, а кто с этим считается? Нормы единые — по отношению к топливу. Вот и приходится из-за масла нормы завышать: пишешь «сто моточасов», а на самом-то деле хорошо, если полсмены отработал.

— Да и самому, наверно, не без выгоды, — усмехнулся Сергей. — Ты, капитан, не хмурься: нам теперь в одном кубрике щи хлебать.

— Катер наш на побегушках, и платят нам повременно, — сказал Иван, закуривая. — Просто глупость получается, вот какое дело. И не хотел бы, а сам собственной рукой каждый месяц моточасы приписываю, иначе без масла останусь.

— А если назад, на нефтянку сдать? Мол, излишки?

— За излишки, парень, хлестче бьют, чем за перерасход.

— Да, капитан, тут повертишься! — засмеялся Сергей. — Ладно, что-нибудь сообразим: докажу, что не зря ты меня на крыльце подобрал… — Он

прошелся, хлопнул по железному ящику в углу. — А что же музыка не работает?

— Перегорела музыка, — сказал Иван. — Надо бы радиста.

— Считай, что нашел. — Сергей подсел к приемнику. — Я на флоте кем только не был... — Он свинтил барашки, снял крышку: обнаружилась затянутая паутиной пустота. — А где же передатчик? Или не выдавали?

— Выдавали, — улыбнулся Иван. — В начале навигации все выдают — и приемник и передатчик. Приемник мы берем: известия послушать или музыку, а передатчик снимаем и — обратно на склад. Мороки с ним уйма, ответственность, а радистов на весь затон — два человека.

— Темные вы люди! — не то шутя, не то серьезно сказал Сергей. — Подай-ка мне, матрос, отвертку да батарейку с наушниками. В чемодане они.

Еленка не сразу поняла, что он обращается к ней: так запросто, походя прозвучала эта просьба.

— Подай, что просят, — сказал Иван. — Значит, разбираешься? Золотые, видать, руки.

— А это поглядим — золотые они или оловянные.

Работать он умел: не суетился, не ошибался в

инструменте, не тратил силу там, где нужна была сноровка. Простучав с помощью батарейки цепи, нашел сгоревшее сопротивление, опять послал Еленку за какой-то коробкой, разыскал в этой коробке нужную деталь и кое-как, временно, поставил ее на место.

— На соплях, — улыбнувшись, пояснил он. — Раздобудь паяльник, матрос, сделаю намертво.

Иван недоверчиво хмыкнул, но Сергей тут же поймал «Маяк». В динамике что-то потрескивало, но слушать было можно.

— Вот и вся беда, — сказал Сергей, навешивая щитки на работающий приемник.

Они долго слушали музыку. Сергей попытался было подсвистывать, но поймал недовольный взгляд Ивана, замолчал и слушал дальше уже серьезно. И Еленке понравилось, что он поглядывает на Ивана с уважением, не выпячивает своих привычек, а подлаживает их под жизнь того кубрика, в котором ему теперь и спать, и щи хлебать…

Как только концерт кончился, Иван поднялся, щелкнул выключателем.

— Теперь полчаса объяснять будут, почему музыка хороша. Подай-ка костылек, Еленка.

Еленка подала стоявшую у трапа палку, спро-

сила:

— Далеко ли собрались?

— Стариков надо проведать. — Иван глянул на Сергея. — Айда с нами, а?

Пошли втроем. Иван с помощником шли впереди, говорили о работе, о рейсах, о глубине судового хода и мелях, обозначенных по всему плесу сухими жердями.

Разговор был серьезным, и Еленка не решилась их окликнуть, задержавшись у ларька. Купила конфет старухе в гостинец, а потом долго бежала следом, потому что шли они широко и, увлеченные разговором, не заметили, что она отстала. Догнала возле баржи-такелажки, да и то потому, что Иван остановился.

— Гляди, парень, вот в этих хоромах настоящие волгари живут, потомственные, — сказал он, указывая палкой на старую, замшелую баржу. — Здесь теперь склад такелажный, а хозяин — шкипер, значит, — с хозяйкой жилье себе оборудовал. Утеплил, ну, печку я им сложил, и — живут!

— А зимой?

— И зимой тоже. Прежде на брандвахту переселялись, а теперь не хотят. Приросли к этой барже, как чага к березе. Да и то, деваться старикам особо

некуда: было два сына — война забрала, а дочь в городе Ленинграде живет, замужем. Ну, и опять же в Ленинграде вода другая, а тому, кто на Волге вырос, это не все равно.

— Скотинка у них тут, — улыбнулась Еленка. — Кот Васька, собака Дружок да коза Машка. Невелик зоопарк, а есть каждый день просит.

— Люди они старые, а значит, с чудинкой, — сказал Иван. — Ты учти это, Сергей.

— Будет сделано, капитан. Не у бабы-яги росли, понимаем…

Иван первым ступил на хлюпающие сходни, и, как только чмокнули они под его тяжестью, тотчас же настороженно тявкнула собачонка.

— Свои, Дружок, свои! — крикнула Еленка, проходя вслед за Иваном на баржу.

Собака подошла, ткнулась в ноги Еленке, обнюхала Сергея и, степенно помахивая хвостом, проводила до тяжелой двери. Иван стукнул в дверь палкой, приоткрыл, крикнул в сумрак коридорчика:

— Можно, хозяева?

Никто не отозвался, но они, не задерживаясь, прошли этот коридорчик, и Иван постучал в следующую дверь — такую же тяжелую, срубленную, вероятно, еще в прошлом веке.

— Кого бог несет? — донесся из-за двери скрипучий старушечий голос, показавшийся Сергею неприветливым.

При этих словах Иван распахнул дверь и посторонился, пропуская Еленку и помощника.

Они вошли в кухню, крохотную из-за громоздкой русской печи. В кухне стоял тяжелый корабельный стол, который не дрогнул бы и от десятибалльного шторма, и такие же, рубленные топором, лавки.

У квадратного оконца сидела сухонькая, чистенькая старушка с черными, живыми и, как опять показалось Сергею, недобрыми глазами. Строго поджав губы, она молча смотрела на них.

— Здравствуй, Авдотья Кузьминична, — сказал Иван и подал старухе руку. — Вот нового помощника привел для знакомства.

— К чаю поспели, — сказала старуха, сунув Сергею жесткую, как наждак, ладонь и расцеловавшись с Еленкой. — А познакомиться — еще познакомимся: до ледостава далеко.

Сказавши это, она отвернулась и начала доставать из стенного шкафчика граненые стаканы.

Еленка осталась помогать ей, а мужчины прошли в комнату; в проеме вместо двери висела ситцевая занавеска. Здесь стояли кровать со мно-

жеством подушек, платяной самодельный шкаф, дерматиновый диван, несколько стульев и стол — точная копия того, кухонного. За столом сидел грузный, в седых космах старик и читал толстую растрепанную книгу. При виде вошедших он аккуратно заложил книгу листочком и снял круглые железные очки.

— Здорово, капитан, — сорванным голосом сказал он. — Слыхал уж и про беду твою, и про удачу.

Старик крепко пожал им руки, они сели, и Иван спросил с удивлением:

— Что сипишь-то, Игнат Григорьич? Простыл?

— Да вот… — Старик покашлял, покосился на занавеску, помял пальцами большой, заросший седой куделью кадык. — Должно, так…

— Где там! — крикнула из кухни старуха. — Напился в Петров день да все песни играл, как молодой!

Старик смущенно крякнул, но спорить не стал. Закурил предложенную Иваном папиросу, глянул на Сергея выцветшими, но еще по-молодому пристальными глазами:

— Волгарь?

— Саратовский.

— Или там работы нет?

— Работа везде есть, — осторожно ответил Сергей.

— Посторонитесь-ко, — сказала Еленка, внося кипящий самовар.

Она поставила самовар на стол, опять пошла на кухню. Старик крикнул вдогонку:

— Мать, а мать, пошуруй-ка в шкапчике!..

— Шурую, — отозвалась старуха. — Ты уж тут так прошуровал, что и глядеть-то не на что.

— Не надо, Игнат Григорьич, — поспешно сказал Иван. — Не хлопочите.

— Твое дело, Ваня, гостевое, — сказал шкипер, вставая. — А нам для знакомства обычай велит.

Он прошел на кухню. Сергей ударил кулаком в ладонь, зашипел:

— Неладно получается, капитан. Старики, понимаешь, шуруют, а мы… Давай я сбегаю?

— Ох, напрасно все это! — вздохнул Иван. — Не к месту, не ко времени… Да и не достанешь уже: закрыто.

— Это я-то не достану? — улыбнулся Сергей. — Засекай время, капитан…

В дверях он столкнулся со шкипером: старик торжественно нес четвертинку.

— Такой, стало быть, нынче улов, мужики… Ты куда это, парень?

— Четверть часа поскучайте, — сказал Сергей и вышел.

Он вернулся быстрее, чем обещал: вошел красный, запыхавшийся, но довольный. Молча поставил на стол бутылку, сел слева от шкипера.

— Выпить захочется — так и парилка не нужна, — улыбнулся старик.

Стол был уже накрыт: сопел самовар, стояли стаканы, соленая щука, вяленый лещ, грузди прошлогоднего засола — уже склеенные, пожухлые, моченая брусника, отварные, крепенькие — одна к одной — сыроежки в уксусе.

— Все теперь на вино горазды, — сказала старуха. — Что мужики пьют да бабам подносят — это не удивительно, а вот что бабы пьют да мужикам подносят — это уж совсем на удивление.

— Вот я тебе, мать, и поднесу, чтоб меньше удивлялась, — улыбнулся шкипер и налил старухе на донышко граненого стакана. — Ну, гости дорогие, выпьем, как говорится, за хлеб да за сено, за пол да за стены, за мышку, за кошку, за нашу дворняжку да за козу Машку.

Мужчины выпили, а женщины только пригубили и тут же отставили стаканы подальше.

— Кушайте, гости дорогие, — сказала старуха и, отломив корочку хлеба, стала жевать ее передни-

ми уцелевшими зубами.

Еленка ухаживала за ней, выбирая кусочки помягче и повкуснее. Авдотья Кузьминична принимала эти знаки внимания с царственной невозмутимостью.

— Мы с тобой на той неделе по чернику пойдем, — сказала она. — Как, Иван, отпустишь матроса-то?

— Да какая тебе черника сейчас! — засмеялся шкипер. — Ноги убьете да комаров покормите — вот и вся добыча.

— Сегодня у нас что? — спросила Авдотья Кузьминична и сама же важно пояснила: — Сегодня у нас семнадцатое, по-старому — день Андрея Наливы и память иконы божьей матери Ганатской. Через четыре дня — Казанская. А на Казанскую, считай, так: поспела черника, поспела и рожь. Зажинки в старину начинались, песни по вечерам молодежь играла, и хороводы водили в поле.

— Это же когда было-то, мать? — улыбаясь, спросил шкипер. — Это тогда было, когда мы еще без химии жили. А теперь все смешалось и календарь твой недействительный.

— То не мой календарь, а божий, — строго сказала старуха. — Земля по божьему календарю творит.

— Ну, насчет приметы это верно, — сказал старик, сдаваясь. — Коли черника, то и рожь. Это верно.

— А насчет леща какая примета, Игнат Григорьич? — спросил Иван. — Пообещал я, понимаешь, Никифорову мальчонке…

— Лещ вообще-то берет, — сказал шкипер. — Однако жара стоит, звон в воздухе, а он этого не любит. В глубину ушел, к стрежню поближе. Попробуй с плотов, что против Никольских островов зачалены.

— А на приваду что?

— Кашку свари покруче: пшенку либо перловку. Анисовых капель добавь маленько, чтобы дух по воде шел. А червей я тебе дам.

Червей старик разводил сам в железном ящике, подсыпал им мучицы и спитого чаю, раз в два дня поливал разведенным молоком. Черви у него росли крупные, вертлявые, ярко-красные — один в один, не в пример бледным и тощим обитателям супесных берегов.

— Давай, мать, за молоком завтра навостряйся, — озабоченно сказал старик. — Пятые сутки червей одним чаем потчую.

— А что же Машка-то ваша? — спросила Еленка. — Или забастовала?

Старуха горестно вздохнула, а шкипер засмеялся:

— Тю-тю наша Машка! Продали мы Машку-то свою. Аккурат в Петровки и продали.

— Продали?.. — ахнула Еленка. — Да как же так?

— Расскажи, мать. Повесели гостей! — смеялся шкипер.

— Смеху тут немного, — вздохнула старуха. — А дело было так. Задумала я козленочка поиметь…

— Это она задумала, она!.. — хохотал шкипер. — Не Машка, Трофимыч, а она!

— Да будет тебе, — отмахнулась старуха. — Ну, покормила я свою Машку, почистила, причесала — ладненькая такая козочка стала, аккуратненькая. Григорьич ей рюмочку поднес — заиграла моя Машка, как молодая: копытцами бьет, глаз имеет, трепещет вся. Ну, думаю, быть мне с козленочком. Привела ее на пункт, фельдшеру предъявила. Осмотрел ее фельдшер, огладил. «Давай, говорит, Кузьминична, с богом на святое дело. Сейчас, говорит, Борьку приведу». Отвел он меня во дворик, указал, куда Машку привязать, а сам ушел. Привязала, стою. Обошлось, думаю, не углядел фельдшер, что Машка-то ровня мне будет, если по козлиному веку считать. Только

это я порадовалась, фельдшер козла вводит, Борьку то есть. Глянула я: батюшки светы, бугай! Ну, чистый бугай: грудь колесом, рога как оглобли и землю копытом роет. «Не мешай ему, — говорит фельдшер, — Кузьминична: дело он свое знает, породы знатнеющей, только, говорит, с норовом, паразит». Впустил он, значит, его, а сам пошел: дела, мол. Ну, я стою, жду. И Борька стоит. И Машка моя вздыхает, ножками перебирает, глаз на меня косит: перепугалась, видать. Машенька, говорю, касаточка, не бойся, говорю. Он, говорю, только с виду такой архаровец, а так — козлик как козлик. Только это я сказала, Борька вдруг фыркнул этак насмешливо, подскочил да как с разгона даст Машке в бок. Машка — и ножки кверху, а он, паразит, развернулся да этим же манером мне в зад рожищами-то своими! Я и с копыт долой. Валяемся вместе с Машкой в пыли, а он отошел в сторонку и ровно смеется над нами. Поднялась я: пойдем, говорю, Машка, домой. Видно, говорю, стары мы с тобой стали: фельдшера еще обмануть можем, а уж козлов этих чертовых…

— Разобрался козел-то! — весело кричал старик. — Сразу, брат, и разобрался, и меры принял!..

— Вот и решили мы Машку продать, — вздох-

нула старуха, не обращая внимания на шумную веселость мужа. — В Петров день и продали. Наревелась я, как веревку-то из полы в полу передавала, а этот, — она кивнула на шкипера, — только водку глотал да песни орал с радости.

— С горя, мать, с горя! — сказал шкипер. — И мне Машку жалко, но обновление в жизни должно быть.

— Неужели продали? — тихо спросила Еленка, все еще не веря.

— Уговорил, — опять вздохнула старуха. — Неделю балабонил: телка, говорит, купим.

— Телок-то получше будет, — сказал вдруг Сергей.

— Да, — сказал старик, закуривая. — Коза — ту хоть газетами корми, а коровке сенцо подавай.

— Ну, вот и на попятный, — пригорюнилась Авдотья Кузьминична. — Ну, ровно чуяла я…

— Будет, мать, у тебя телок, будет, — сказал шкипер. — Я от своего слова сроду еще не отказывался. А что сено теперь дороже молочка, так это тоже надо учесть.

— Без коровушки и дом не дом, а так, общежитие, — тихо сказала старуха. — Ты вот, Еленка, не понимаешь этого, а когда зимой-то стоит она за стеной да вздыхает, до того тепло на душе

становится, до того радостно… Это ведь скотина добрая, незлобивая, а уж такая ласковая, такая привязчивая, что и человек рядом с нею ровно оттаивает. И уж не о суетности мирской, а о вечном думает, о добром…

— Христианка ты у меня, мать, — улыбнулся шкипер. — Чуть что — сразу по Писанию.

— Крестьянка, — строго поправила старуха. — Крестьянка я, Игнаша, крестьянская дочь.

— А ты, Игнат Григорьич, с колхозом насчет сена не говорил? — спросил Иван. — Может, столкуешься: выделят деляночку. А с покосом мы тебе всегда поможем.

— Покос не вопрос, да осока в цене высока, — улыбнулся шкипер. — Тыщу лет деды наши осоку эту с низин выводили, а мы ее обратно единым махом.

— Как это так? — спросил Сергей.

— Просто, парень: пойму затопили. Все заливные луга, все низиночки да ложки под воду ушли, а остались одни косогоры, где сроду ничего, кроме бурьяна, и не росло.

— Да, убили красу, — вздохнула старуха.

— Странные это рассуждения, — сказал Сергей. — Много чего, конечно, жалко, но не это же главное. Главное — электроэнергия. Энергия, а

не цветочки в девичьи веночки. А потом — чего старое-то жалеть? Отгуляло и — не брыкайся!..

— О сегодняшнем дне все стараемся, — перебил шкипер. — Сегодня купить на рупь пятаков, а завтра — хоть трава не расти. Так?

— Не так! — резко сказал Сергей. — Энергия — это и сегодня, и завтра, и вообще… Красоты не будет, да? Ну, этой не будет, так другая будет, велика ли важность.

— Ладно, отложим красоту. — Шкипер надел очки и достал книгу, которую читал до их прихода. — Парень, я вижу, ты деловой, и красота тебе — как безногому валенки. Давай и мы по-деловому рассудим. Знаешь ли ты, парень, что такое луг вырастить? Не год на это уходит, не сто лет — тысяча. Тысячу лет люди луга эти пестовали, кочкарник да лютик всякий на нет сводили, кусты корчевали, болота сбрасывали. И лугам цены не было, и скот нагуливался тут такой, какой сейчас только на выставке и увидишь. Теперь же луга эти под воду ушли карасям на утеху, низины позатопило, и всего в приплоде имеем одну осоку да болотный мох.

— Ежи пропали, — сказала вдруг старуха. — Раньше ежей в лесу было — тьма-тьмущая, а теперь совсем пропали.

— Сырость, — подтвердил старик. — Боровая дичь да зверье начисто из этих мест ушли. А лес с ними сжился, они ему помогали, он их кормил. А сейчас что будет? Утка тебе семян не разнесет — для этого белка нужна, глухарь, тетерев. И с этой стороны лесу — полный карачун, и через сотни лет внуки наши одну сплошную ольху вдоль всей Волги увидят — там, где на нашей еще памяти мачтовые сосны шумели.

— Да все устроится, — сказал Сергей. — Ну, напортачили, конечно, это есть, а панику поднимать не стоит. Сейчас в наших руках техника, атом, химия — все исправим, дайте срок!..

Старик угрюмо молчал.

— Домой! — сказал Иван и встал. — Спасибо вам, хозяева, за хлеб-соль, за ласку…

Ночь выдалась черная, звездная, густая. Ивана чуть пошатывало, и Еленка вела его под руку. Сергей шел сзади, сунув руки в карманы. В сонной тишине тяжело ударил запоздалый жерех.

Разбудили их рано: в четвертом часу гулко загрохотало над головой:

— Эй, хозяева, к диспетчеру на полных оборотах!..

В кубрике было еще темно. Еленка сидя натянула платье, соскочила на холодный пол. Иван

уже возился наверху, открывая задраенные на ночь люки.

— Видать, в Красногорье пойдем, — сказал он. — Туда пораньше надо, пока плотами ход не заставили. Отдавай чалку, Сергей.

Сергей спрыгнул на баржу, отпутал разлохмаченный старый канат, спросил:

— А завтракать?

— На ходу. — Иван запустил двигатель. — Еленка покормит по очереди.

До десяти они без отдыха сновали по реке: ходили в Красногорье, возили приказ в контору, проволоку на вторую сплоточную, монтеров в самые верховья: там открывался хлебный ларек. Хлопот было много, а еще больше — криков и недовольства, потому что всем было некогда, а старенький катерок никак не мог одновременно поспеть в разные концы.

— Вот глупость-то! — сердился Сергей. — За каждым нарядом к диспетчеру мотаться — это ж придумать надо!

Катер стоял у причала: надобность в нем вдруг схлынула. Из кубрика появилась Еленка. Выплеснула помои, сказала ворчливо:

— Люльку бы забросили, что ли.

Иван снял с крыши рубки снасть, вместе с Сер-

геем собрал дуги в крестовину, натянул сеть.

— Маловата люлька-то, — сказал Сергей.

— В норме, — пояснил Иван. — Полтора на полтора, больше инспекция не велит.

Он закинул люльку с кормы, подождал, пока она ляжет на дно, закрепил веревку за леер.

— И ловится? — спросил Сергей.

— На еду хватало.

Помолчали. Сергей, покурив, кинул окурок за борт, спросил:

— Поглядеть?

— Погляди, — сказал Иван.

Сергей прошел на корму, намотал на руку веревку, рывком поднял из воды. Край зацепился за обшивку, дуги спружинили, подбросив в воздух брызги и двух небольших подлещиков, серебряно блеснувших на солнце.

— Я ж говорю, мала сеть!..

— Не рви, — сказал Иван. — Тащи спокойно, рыба целее будет.

За сорок минут поймали полтора десятка окуней и подлещиков — мелких и тощих. Иван не удержался:

— Федор на это дело мастак был…

— Трофимыч! — крикнули из окна диспетчерской. — Давай пока к нефтянке!..

— Ну, считай, еще пятьсот литров на мою шею, — вздохнул Иван.

Сергей вытащил люльку, положил ее на корме, отдал чалку. Иван завел двигатель, стал отводить катер кормой вперед, разворачиваясь. Сергей заглянул в рубку:

— Дай постоять.

— Становись. — Иван отошел в сторону, сдвинув к стенке высокий табурет на трех ножках. — Держи пока на створы.

Сергей стоял за штурвалом, чуть расставив ноги, ссутулившись. Поначалу он нарочно повалял катер с борта на борт, проверяя, как он слушается руля и велик ли свободный ход. Катерок рыскнул несколько раз, но выровнялся и точно, как по нитке, пошел на створы. Иван молчал, приглядываясь к помощнику: все в нем, начиная с позы, убеждало, что парень ходил по воде.

— Клади направо, к мыску.

Сергей заложил так, что катер не пришлось подравнивать.

Иван одобрительно улыбнулся:

— Ловко.

— На том и держимся! — весело ответил Сергей.

Он мягко причалил к нефтянке — чистенькой,

выкрашенной в красную краску нефтеналивной барже. Передал штурвал Ивану, спрыгнул на баржу, зачалил катер.

На шум вышла приземистая молодуха в платке и телогрейке. Из-под короткой юбки выглядывали ярко-синие рейтузы.

— Не курить, мужики! — привычно крикнула она.

— Здорово, хозяйка, — весело сказал Сергей, с удивлением разглядывая толстуху. — Ты чего это вырядилась, как Дед Мороз?

— А ты посиди здесь восемь часов, так узнаешь. — Она встретила его взгляд, с готовностью заулыбалась, сразу порозовев всем скуластеньким, некрасивым лицом. — Новенький, что ли?

— Вместо Никифорова, — сказал Иван. — Вот наряд, Шура.

— Пьете вы горючку, что ли? — удивилась Шура, взяв наряд. — Идем, распишешься.

Она еще раз глянула на Сергея, хихикнула и пошла к каюте. Сергей метнулся к катеру, зашептал:

— Погоди тут, капитан…

Торопливо прошел в каюту. Иван открыл горловины баков, промыл фильтры, подтащил рукав от третьей помпы (он всегда заправлялся от нее),

подсоединил.

— Ой, щекотно!.. — громко взвизгнула толстуха. Из каюты вышел Сергей. Подошел к Ивану, давясь от смеха:

— Ну, дура! Страшное дело… Ты какой подсоединил?

— Третий.

— Ну и держи его покрепче.

Кинулся к первой помпе, сунул рукав в вентиляционное отверстие, включил: топливо туго побежало по рукаву перекачиваясь из отсека в отсек. В дверь выглянула Шура:

— Ты чего колдуешь?

— В порядке! — Сергей шагнул к ней, оттесняя в каюту. — Давай-ка, девочка, документики проверим…

— Ну, ты, медведь! — Шура крепко ударила его по спине. — Ты руками-то не очень, слышишь?

Дверь за ними закрылась. Иван хмуро держал пустой рукав. Рядом мерно работала помпа, гоняя топливо по замкнутому кругу. Щелкала стрелка, отсчитывая литры. Из рубки вышла Еленка.

— Скоро?

— Скоро… — Иван помолчал. — Обманываем, Еленка.

— Как так?

— Он другую помпу включил. Переливает из пустого в порожнее.

— Молодец! — улыбнулась Еленка. — Давно бы так.

— А у Шурки лишнее окажется.

— Вы за Шурку не беспокойтесь, Иван Трофимыч. Шурка лишнее колхозу за полцены продаст и вам же спасибо скажет.

Из каюты выскочил Сергей, глянул на счетчик.

— Шестьсот нащелкало.

— Хватит, Сергей.

— Давай уж до тысячи, капитан. До тысячи я, пожалуй, выдержу.

Улыбнулся Еленке, подмигнул шальным, победным глазом, опять скрылся в каюте.

— Хват, — неодобрительно заметил Иван.

Еленка промолчала. Посидела немного, ушла в кубрик.

Пришел Сергей. Усмехаясь, быстро отключил помпу, смотал рукав. Шуры не было.

— А масло? — спросил Иван.

— Двойная норма. По знакомству.

Вдвоем накачали масла в бак. Иван прошел на катер, закрыл горловины.

— Готово, Шурочка! — крикнул Сергей.

Вышла Шура. Остановилась в дверях — непри-

вычно тихая, с застывшей улыбкой:

— Дом пять. С палисадничком.

— Угу, — кивнул Сергей, отдавая чалку.

— Обманываешь, поди? — тихо спросила она.

— Ровно в восемь, как договорились. До встречи, курносая! — Прыгнул на катер, не оглядываясь, прошел в рубку. — Дура стопроцентная.

Иван молчал. Он отводил катер кормой и сквозь стекло рубки видел толстуху. Она стояла у борта, держась за леер, и глядела им вслед.

— Веди, — сказал Иван, отходя от штурвала. — К диспетчерской.

Сергей посмотрел на него, усмехнулся:

— Мне еще противнее, капитан. А что сделаешь? Жизнь такая, что только поворачивайся побойчей, а то затолкают.

У диспетчерской их ждала высокая худая женщина в белом платочке, повязанном вровень с бровями. Она выхватила у Сергея канат, неумело зачалила, приговаривая:

— Да сама я, сама… Не беспокойтесь.

— Паша?.. — Иван торопливо прохромал к носу. — Ну, давай шагай на катер. Как Федор?

— Да все так же, Иван Трофимыч, все так же. Кланяться вам велел, благодарил. И я вам благодарная, Иван Трофимыч, так я вам благодарная…

Она тихо заплакала, утирая слезы концом платка.

— Будет тебе, Паша, — сказал Иван. — Садись вот сюда.

— А Федя лежит, — совсем тихо сказала Паша. — Не шевелится, тихо лежит, спокойно…

— Да… — Иван вздохнул, присел рядом, вытянув хромую ногу. — Была в кадрах?

— Была, Иван Трофимыч. Оформили меня. Вот. — Паша достала новенькую трудовую книжку. — Я ведь работать пришла, Иван Трофимыч. Я за Федю моего.

— Домой ступай, — сказал Иван.

— Да как же, Иван Трофимыч? Ведь матросом я к вам. Пятьдесят рублей положили мне…

— Двадцатого приходи. Получка у нас двадцатого и пятого каждого месяца.

— Вы позволите, Иван Трофимыч, хоть постираю с вас. Рубашечки, может, бельишко. И товарища вашего.

— Не надо, Паша, спасибо. Ступай домой. Вовке скажи, что жду его к семи, как условились.

Потом их срочно отрядили тянуть плот — «воз», как это именовалось здесь. Многотонная громадина длиною в четверть километра медленно ползла сзади, катерок, задыхаясь, волок ее, дрожа

корпусом и глубоко осев кормой. Трос звенел, как струна.

— Сдадим и пообедаем, — сказал Иван. — Пора уж.

Он сидел перед рубкой рядом с бригадиром плотовщиков — рослым, угрюмым мужиком, ехавшим на буксир оформлять акт о сдаче плота. Бригадир всю дорогу радовался, что работа идет без перебоев, и этот плот — уже сверхплановый.

— Премию дадут, Трофимыч. Рубликов, думаю, полтораста. Может, сена раздобуду: лето уже за половину зашло…

Навстречу шел «Быстрый» — катер сплавконторы. Сергей дал отмашку по борту, но «Быстрый» с ходу подошел почти вплотную.

— В два митинг!.. — прокричал в рупор капитан. — У конторы! Понял, Трофимыч?

— Понял, Антон Сергеич! — крикнул Иван, и катер ловко отвалил в сторону.

— Точно, говорили насчет собрания, — подтвердил бригадир. — Ну, Трофимыч, кажись, с тебя причитается…

Сдав плот, они ходко пошли к конторе. Причал был весь забит катерами, и Иван отшвартовался у борта самоходного топлякоподъемника.

— И вас с работы сняли? — удивился он.

— Приказ такой, — ответил капитан подъемника, совсем еще молодой, плавающий самостоятельно первую навигацию.

Через топлякоподъемник к ним пробирался председатель месткома Володька Пронин — в белой рубашке, при галстуке, с папкой.

— Ну, быстренько, быстренько, люди ждут. Значит, повестка такая: я информирую о вашем трудовом подвиге, затем…

— Ох, Володя, не надо!..

— С воспитательной целью…

Тут из рубки вылезла Еленка. Пронин пронзительно глянул на нее.

— Товарищ Лапушкина, вы бы приоделись. Перед народом стоять будете.

— Не пойду я, Иван Трофимыч…

— Живо, живо, товарищ Лапушкина! — крикнул Володька.

Еленка завозилась, переодеваясь, и вышли они на площадь, когда народ уже собрался.

Володя шел впереди, пробираясь к спешно сооруженной трибуне. Люди с готовностью уступали дорогу.

— Здорово, Иван Трофимыч!

— Гляди, Еленка-то, Еленка-то сияет!..

— Трофимыч, магарыч не зажми!..

Вслед за Прониным они поднялись на трибуну, где уже стояли директор Юрий Иванович, парторг Пахомов и Николай Николаевич. Володька прошел к перилам трибуны, на ходу доставая из папки исписанный лист.

Иван не слушал, о чем кричал Володька. Он стоял неуклюже вытянувшись, не зная, куда девать ставшие вдруг ненужными руки. Впопыхах он забыл палку, нога замлела, но он не решался шевельнуться. Он был оторван от своих и мучительно стеснялся и хромой ноги, и небритых щек, и мятых, давно не глаженных брюк.

Володька говорил до того плавно, что никто уже не слушал его. Голубой папиросный дымок вился над толпой, она беспрестанно двигалась, словно переминаясь с ноги на ногу, и приглушенно шумела.

— Вот они, герои затона! — продолжал Пронин уже слегка осевшим голосом. — Капитан Иван Трофимыч Бурлаков, матрос Елена Лапушкина!..

Он громко зааплодировал и предоставил слово директору. Директор достал из кармана бумагу, расправил ее и начал читать строгим, ровным голосом. Шум сразу стих.

— «...В ознаменование трудового подвига, совершенного экипажем, с сего числа присвоить

буксирному катеру номер семнадцать личное наименование “Волгарь” и впредь именовать так во всех видах судовых документов…»

Люди захлопали, а молодой голос спросил:

— А зачем так, товарищ Федоров?

Кричал белобрысый капитан топлякоподъемника.

— А как предлагаете? — спросил директор.

— Предлагаю просто: «Иванов катер». Все равно его так везде зовут. Даже в Юрьевце.

— Точно! — весело крикнул еще кто-то.

— Минуточку, товарищи, минуточку! — Пахомов шагнул к перилам.

Возникшее было оживление потухло. Пахомов продолжал:

— Мы знаем, как называют «Семнадцатый» и у нас, на затоне, и на гензапани, и даже на Волге. Только это ведь прозвище, товарищи. Прозвище катера, а не имя. А судно должно иметь имя. Это — высокая честь, товарищи! И лучшего имени, чем «Волгарь», мы не придумаем: специально под капитана подгоняли!

Кто-то неуверенно хохотнул, а Пахомов спросил:

— Как считаешь, Иван Трофимыч?

Вопрос застал Ивана врасплох. Он невольно

шагнул вперед, словно из строя, поднял зачем-то руку, опустил и хрипло сказал:

— Вообще-то конечно. Имя хорошее.

— Вот как отвечает настоящий водник, — сказал Пахомов. — Скажи пару слов народу, Иван Трофимыч.

— Я? — растерялся Иван. — Зачем? Да что ты, Павел Петрович.

Пахомов знал: когда Иван говорил вот так тихо и просто — никакая сила не могла его сломить. Поэтому он только вздохнул и повернулся было к Володьке, чтобы тот закрывал митинг, как Сергей неожиданно предложил:

— Разрешите, я скажу. Как, Иван Трофимыч?

— Давай! — почему-то обрадовался Иван. — Пусти его, Петрович. Он — скажет, он все, что надо, скажет.

— От имени экипажа слово предоставляется новому помощнику капитана катера «Волгарь» Сергею Прасолову!

Народ помаленьку уже расходился, но это объявление вызвало интерес: остановились.

— Я работаю, — Сергей посмотрел на часы, — ровно смену. Конечно, от имени экипажа выступать мне, прямо скажем, рановато: кое-кто решит, что к чужой славе примазываюсь. Поэтому я чуть

поправлю товарища парторга и честно скажу, что выступаю от своего собственного имени.

Сергей говорил без бумажки, весело и напористо. Шумок сразу стих, улегся.

— Мне выпала большая честь: работать на «Волгаре». Получается, вроде я в лотерею «москвич» выиграл, только как бы в рассрочку: теперь платить придется.

— Точно, парень! — крикнули из толпы и дружелюбно засмеялись.

— Тогда разрешите сразу же первый взнос сделать! — Сергей помолчал, спрятал улыбку. — Мотались мы сегодня на «Волгаре» с четырех утра, горючего сожгли что положено, а рабочих ездок, прямо скажем, хорошо, если половина была. Почему? Да потому, что за каждым нарядом, за каждым приказом назад надо идти, к диспетчерской…

— Верно! — крикнули из толпы.

— Сказали мне, что в начале навигации все катера были укомплектованы радиопередатчиками. Так?

— Правильно!

— А мы сдаем их! На склад!

— Морока с ними, парень.

— Морока потому, что специалистов нет. Так

вот, я — специалист. Я действительную на Северном флоте служил, там и курсы кончил. И теперь предлагаю без отрыва от производства подготовить в каждом экипаже радиста. Дело это нехитрое, много времени не займет…

Первым захлопал Федоров. Толпа подхватила, но Сергей поднял руку.

— Погодите хлопать. Хлопать тогда будем, когда диспетчер нас по радио вызывать начнет!..

Но ему хлопали долго и упорно. Сергей засмеялся, махнул рукой, отошел от перил.

Иван толкнул в бок начальника отдела кадров, шепнул:

— А ты говорил!..

— Дай бог, чтоб ошибся, — осторожно сказал Николай Николаевич.

— Спасибо, товарищ Прасолов. — Директор с чувством жал Сергею руку. — Очень, очень ценное предложение.

Пронин закрыл митинг. Толпа повалила к катерам, запрудив пристань. Взревели моторы.

— Вам выписаны премии в размере половины оклада, — сказал директор, прощаясь, — можете получить в бухгалтерии.

— Спасибо. — Иван вздохнул. — Это, конечно, хорошо, и Никифорову очень нужно…

До конца смены они ходили в именинниках. Каждый встречный катер непременно подваливал к борту, команда поздравляла, шутила: Иванов катер был популярен. А белобрысый Вася — капитан топлякоподъемника — привез восемь отборных лещей.

— От нас в подарок. Принимай, Еленка.

В пять стали на прикол, пообедали, и Иван, послав Еленку за червями на такелажку, сел готовить снасти к вечерней рыбалке. Сергей в этом участия не принимал: достал из чемодана книгу по радиотехнике, завалился на диван. Через полчаса он уже похрапывал, уронив учебник на пол.

Иван наладил кольцовки, сшил из куска старой марли мешочки под приваду, разыскал грузы к ним. К тому времени вернулась Еленка, принесла червей, села рядом, долго смотрела, как Иван привязывает к каждому мешочку по массивному звену от якорной цепи.

В семь пришел Вовка с отцовским ватником под мышкой. Перебрался на катер, молча, как взрослый, подал Ивану руку.

— Был у отца-то, Вова?

— Был. — Вовка шмыгнул носом, отвернулся. — Лежит…

Губы его подозрительно дрожали, и Иван сразу

же бодро и неискренне заговорил о другом:

— Кольцовки сделал, Вова. Вот, гляди: в кольцо жилку от привады опустишь, а на крючки, значит, червей…

— Без поплавка? — солидно спросил Вовка.

— А зачем он? На кольцовку крупная рыба идет. Станет брать — заметишь: пружинка задергается.

Из кубрика вылез Сергей. Зевнул, потянувшись:

— Сморила меня радиотехника…

— Сейчас к Никольским островам пойдем, — сказал Иван. — Там рыбачить будем, вернемся утром. Приходи к семи.

— Почему это? — Сергей непонимающе моргал.

— Ты вроде к Шуре обещался.

— Ах, к Шуре! — Сергей расхохотался. — Да на кой она мне.

— А она — ждет, — не глядя, сказал Иван. — Не знаю, конечно.

— Подождет да перестанет, — равнодушно сказал Сергей. — Это, капитан, все равно что с керосиновой бочкой обниматься.

— Не надо, — тихо сказал Иван.

— Чудак ты, Трофимыч! Ну, не буду, не буду,

не хмурься.

Они отогнали катер к Никольским островам, зачалили за плот. Еленка осталась в кубрике, а мужчины и Вовка перебрались на мерно колыхающиеся пучки бревен. Иван выбрал место, показал мальчику, как ловить на кольцовку, забросил ему снасть…

Утром, отправив Вовку с уловом домой, Иван сходил в диспетчерскую, но там велели ждать: должен был прийти художник. Иван вернулся на катер, надел праздничный костюм и пошел к директору.

— У Юрия Ивановича оперативка, — сказала секретарша.

Иван потоптался, хотел было уйти, но тут из кабинета выглянул директор, отдал секретарше какие-то бумажки, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам, — сказал Иван. — Я насчет Никифорова.

— Да, да. — Директор вздохнул. — Большое несчастье, Иван Трофимыч. Проходите.

— Ссуду он брал, когда строился, — еще на ходу начал Иван.

— Сколько, не знаете?

— Да тыщи две, наверно. На десять лет, что ли.

— Так. — Директор сделал пометку на календаре. — В постройкоме?

По одному, по двое собирались на оперативку производственники: начальники участков, мастера, снабженцы. Здоровались с директором, с Иваном, рассаживались вдоль длинного стола, шептались, шуршали газетами. Иван умолкал, потом начинал рассказ снова, сбивался, но все-таки изложил главное: как бы скостить с Никифорова долг.

— Это возможно? — спросил Федоров у главбуха.

— В принципе есть один ход: взять на себя задолженность за счет месткома вашего фонда, премиальных.

— Подработайте. — Федоров опять записал что-то на перекидном календаре. — И скажите Пронину насчет подарков семье.

От директора Иван пошел в бухгалтерию, получил премиальные на экипаж. Настроение у него было почти праздничное, и он тут же решил, что и он и Еленка должны отдать свои премии Федору.

Когда он вернулся на катер, художник уже кончил подкрашивать бортовые надписи. Иван полюбовался новым названием «Волгарь», вы-

веденным на носу и на семи ведрах, стоявших на крыше рубки, — по букве на каждом ведре. Теперь художник выписывал это слово на спасательных кругах. Он пожал Ивану руку и молча протянул свернутые в трубку листы:

— На память.

Иван развернул: это были портреты команды, еще вчера висевшие возле конторы. Скуластые лица сурово глядели вдаль.

Потом они с помощником спустились в моторное отделение и долго возились, регулируя двигатель. Закончив, отогнали катер к затопленной барже и пошли в столовую, потому что Еленка уехала со стариками покупать долгожданную телку.

В столовой было шумно. Потолкавшись в очереди, долго блуждали с подносами, выискивая свободный столик.

— Иван Трофимыч! А Иван Трофимыч!..

Из угла махал незаметный морщинистый мужичонка неопределенного возраста, одетый в старенькую рубаху, аккуратно застегнутую до самого горла. У ног его лежал ватник, в швы которого навеки въелась древесная пыль, и большой ящик с плотницким инструментом.

— Здорово, Михалыч, — сказал Иван, подхо-

дя. — Что-то давно не виделись.

— На запани работал, — очень радостно объявил Михалыч, торопливо глотая второе. — Ты садись, Трофимыч, а я стоя похлебаю: стоя-то скорее выходит.

Он вскочил было, но Иван нажал ему на плечо и усадил на место.

— Успеется, Михалыч, жуй не спеша. Дома-то все в порядке?

— Слава богу, Трофимыч, слава богу. И корова справная, очень справная коровка попалась, так что не внакладе я оказался.

Он торопливо подхватил последний кусок и встал, освобождая Ивану место.

— Игнат Григорьич телка покупает, слыхал? — спросил Иван, садясь. — Козу-то Машку продали они.

— Стало быть, сенцо понадобится, — понизив голос, сказал Михалыч. — А понадобится — так ты, Трофимыч, мне свистни. Я теперь тут работаю, при мастерских: свистни, и я враз прибегу. Я на косьбу гораздый, не гляди, что мослы рубаху рвут. Семижильный я, Трофимыч, право слово, семижильный!

— Может, и свистну, Михалыч. Как шкипер скажет.

— Тебе, Трофимыч, всегда — с дорогой душой. В полночь-заполночь дочку родную отдам.

— Вот и столковались! — улыбнулся Иван, пожимая Михалычу руку. — Жене поклон, Михалыч. Заходи.

Михалыч ушел, волоча тяжелый ящик. К этому времени стол освободился, Сергей расставил тарелки и отнес поднос к раздатке.

— Смешной мужик, — сказал он, воротясь.

— Тихий, — улыбнулся Иван. — Тихий да невезучий — горемыка, словом. А плотник — золотые руки. Прямо артист.

— Глядел на тебя, как на икону. Должен, что ли?

— Нет, — сказал Иван. — Просто вышло так. Этим мартом медведь у него коровенку задрал: словно нарочно искал, кого побольнее обидеть. Ну, мужик и руки опустил: вроде пришибленный ходит и молчит. Расспросил я его, а он — заплакал, представляешь? Ну, мы и скинулись с получки, кто сколько мог, по совести.

— Ты все и провернул?

— Ну, при чем я? Работяги…

— Здоров, Бурлаков!

К столу, косолапя, шел Степаныч. Тарелка с борщом пряталась в огромных ручищах. Сел,

расставил ноги, хлебнул.

— Дерьмо. Воруют, поди, гады! — Он вдруг подмигнул Сергею. — Вместо Никифорова, что ль? Подвезло.

Иван молчал. Сергей глядел равнодушно, но когда Степаныч бесцеремонно передвинул его тарелку, он спокойно вернул ее на место.

— Ну, как там Никифоров? — спросил Степаныч. — Все пластом, да? Дура Прасковья-то: в суд подать надо. А что? Точно, в суд. Пострадал на производстве, — значит, производство обязано деньгу гнать по гроб жизни. Я ей говорил, а она, дура, боится. А чего бояться-то, Бурлаков? Верно я говорю?

— Не знаю, может, и верно, — сказал Иван.

— Суд — милое дело. Никто не отвертится.

— Пойдем, капитан, — сказал Сергей, вставая. — А ты, рожа, когда меня в следующий раз за столом увидишь, лучше загодя у крыльца обожди.

— Чего-чего?.. — тоненько начал Степаныч.

— Борщ за шиворот вылью, — отчеканил Сергей и следом за Иваном пошел к выходу.

— Ты что это его, а? — спросил Иван, когда они шли к катеру.

— Нахалов не люблю. Бил, бью и бить буду — вот моя программа!

После обеда Иван прилег вздремнуть: он неделю недосыпал, за штурвалом клонило в сон. Сергей за столом тихо шуршал страницами, нещадно курил, разгоняя дремоту. Катерок тихо покачивало на волне, Иван сразу же уснул и проснулся только от женского голоса:

— Можно, что ли?

Голос был жеманным и незнакомым. Иван сел, оторопело оглядываясь:

— Кто?..

По палубе звонко цокнули каблуки, скрипнула дверь рубки, и на крутом трапе появились полные ноги. Ноги переступили на ступеньку ниже, вздрагивая круглыми коленками, и из люка выглянула Шура, стянутая шуршащим негнущимся платьем.

— Привет! — насмешливо сказал Сергей.

Вместе с Шурой в кубрик вполз удушливо-сладкий запах. Сергей повел носом.

— «В полет»!

— Угадал, — улыбнулась Шура, обмахиваясь платочком. — Жара! Погуляем?

— Занимаюсь я, между прочим. Радиотехника.

— Ну, занимайся, я обожду. — И Шура с готовностью уселась на свободный диван.

— Да чего уж… — Сергей с сердцем захлопнул

книгу. — Пошли.

— Пиджак бы захватил, — сказала Шура, вставая.

— Жара — сама говоришь.

— А если посидеть захотим?

— Не захотим, — буркнул Сергей и первым полез из кубрика.

Шура вздохнула и покорно полезла следом. Иван ошалело проводил ее глазами и долго сидел на старом диване, испытывая смутное чувство гадливости и досады.

Чувство это оставило его только возле баржи-такелажки, когда еще на подходе он увидел на ней Еленку: она, тихо смеясь, играла с Дружком. Пес притворно рычал, стараясь лизнуть ее в лицо, но она ловко увертывалась. Иван остановился, любуясь ее мягкими движениями, и на душе сразу посветлело.

— Купили!.. — торжествующе закричала Еленка, увидев его. — С белой лысинкой!.. Да погоди же, Дружок!..

Она стремительно повернулась, уходя от собачьих лап, и легкое платье раздулось куполом.

Он вдруг захотел сказать, что любит ее, что она самая высокая его награда, что… И опять не сказал. Взошел по гибким сходням на баржу,

подавил вздох.

— Ну, пойдем. Показывай.

Они открыли тяжелую дверь, но сразу же свернули вниз, в глухой, огромный трюм, где в полутемной выгородке стояла чистенькая рыжая телочка с белой отметинкой на лбу. Перед нею была бадейка с пойлом, но телочка уже не ела, а только меланхолически двигала мокрыми добрыми губами и вздыхала. Старуха стояла подле, то оглаживая ее, то поправляя бадью, а шкипер сидел на ящике и курил, усмехаясь.

— Вот красавица-то моя, гляди, Трофимыч!.. Вот умница-разумница, вот звездочка моя ясная!.. — запричитала старуха.

— Сподобились, Трофимыч, — улыбнулся шкипер. — Сподобились мы, значит, счастья в коровьем образе.

— Молчи, балабон, прости господи!.. — зыркнула на него жена и снова начала оглаживать телочку. — Ну, скушай, ясынька моя, ну, хлебца…

— Сказали бы мне лет сорок назад, что старуха моя от телка спятит, я бы ни за что не поверил, — улыбаясь, сказал шкипер.

— Наверх бы шли, дымокуры! — сердито сказала Авдотья Кузьминична. — Нечего тут курить, непривычная она.

— Видал?.. — хитро подмигнул шкипер. — Пойдем, Трофимыч, от греха…

— Вовремя ты пожаловал, — сказал старик, когда они выбрались на палубу. — Встретил я, когда телушку-то торговал, лесника нашего Климова Константина. Закинулся насчет сенца, а он и говорит: Луконина топь. Там, говорит, сроду никто не косил, потому что дорог нет и далеко. Осока, конечно, но добрая. Коси, говорит, на здоровье, но выдергивай разом, а то колхоз заметит, и пропала твоя косьба. Вот я насчет завтра и подумал. Там до берега — версты три, даже и того меньше. На катер бы сволокли, а уж здесь-то, на барже, я частями высушу да и приберу.

— Косцов надо, — сказал Иван. — Ты да я — много ли наработаем?.. Ты вот что, Игнат Григорьич, ты Еленку за Пашей направь. За Пашей да за Михалычем: он сам помощь предлагал. А я на топлякоподъемник смотаюсь, Васю с Лидой попрошу. Да пусть Еленка косы у Никифоровых возьмет: у них есть…

Договорившись, Иван торопливо вернулся на катер. Сергей сидел в кубрике и прилежно трудился над радиотехникой.

— Ты чего… тут? — удивился Иван.

— А где мне быть?

— А Шура?

— Ах, Шура! — Сергей встал, с хрустом, с вывертом потянулся. — Черт ее знает. Может, дома ревет, может, на чужом пиджаке сидит… — Он поглядел на Ивана, засмеялся: — Чудак ты, капитан, честное слово, чудак! По-твоему, если девке чего на ум взбрело, так сразу надо поддакивать, да? Нет уж, сроду они мной не командовали и командовать не будут.

— Дело ваше, — сказал Иван. — Сейчас к Васе сходим, на топлякоподъемник.

По пути Иван рассказал о покупке и о том, что завтра надо косить на Луконинoй топи.

— Надо так надо, — сказал Сергей. — Правда, косец из меня плохой.

— Затемно пойдем.

— Ну?

— И назад — затемно. Весь день с комарами.

— Ну?

— Все-таки выходной завтра…

— Что ты меня отговариваешь?.. — усмехнулся Сергей. — Ты прямо скажи: нужно — поеду, не нужно…

— Нужно, — улыбнулся Иван.

— Ну, и кончен разговор!..

Вышли, когда чуть просветлело. В предутрен-

ней тишине особенно громко стучал мотор. Иван стоял за штурвалом, Сергей курил, сидя на высоком комингсе рубки.

— А ничего, что катер без спросу взяли? — спросил он вдруг.

— Ничего, — сказал Иван.

Шкипер, Михалыч и Вася курили на корме, прячась от ходового ветерка. «Волгарь» бежал на полных оборотах, носовые волны елкой расходились по сонной реке. Иван придвинул табурет, сел.

— Странно, — сказал Сергей. — Сидишь за штурвалом. Непривычно.

— А-а. Знаешь, сколько я порогов обил, пока за штурвал пустили? Медкомиссия отказала вчистую: только на берегу.

— Заново комиссовали?

— Нет. Просто само собой, вроде все в порядке. Врачи молчат, начальство молчит, и я молчу. Молчком и работаю.

Из-за рубки вышел шкипер:

— Держи на стрежень, Трофимыч. Протокой не пройдешь: мель.

Катер повернул за мыс, и сразу берега расступились, исчезнув где-то за туманной линией горизонта, и вокруг разлилась вода. Желтая, по-

чти неподвижная, она затопила все низины, все ложки, и мертвые березы по пояс торчали в ней.

— Гиблое место, — вздохнул шкипер. — Даже птица стороной облетает.

— Одна береза, — сказал Сергей.

— Ель первым же ледоходом свалило, — пояснил шкипер. — А береза все держится: корни глубокие.

— Береза — русское дерево, — улыбнулся Вася.

— Вот это ты верно сказал, Василий, верно, — подхватил Михалыч. — Я в Германии воевал, город Штеттин. Ранило меня там, осколком ранило. В госпиталь там поместили, так уж я насмотрелся. Не та береза, нет, не та! Духу нету, совсем духу нету, поверишь ли? Весна была, цветень самая, а — не пахли. Ничем не пахли.

— В Сибири тоже не пахнут, — сказал Сергей. — Может, порода такая.

— А почему она белая? — спросил Вася. — Смысл ведь какой-то должен быть, правда? У всех кора темная, а у нее — белая. Как тело. Зачем?

— Для красоты, — убежденно сказал шкипер. — Природа все для красоты делает, сама себя украшает. Смысл у нее в красоте.

— Ну? — усомнился Вася. — Это ты, Григорьич, того…

— Нет, брат, точно говорю. Возьми ты дерево любое, травинку, былиночку какую: красота! Ведь красота же, ведь человек сроду ничего лучше не придумал и не придумает.

— Чепуха, — сказал Сергей. — Целесообразность — вот что в природе главное. Целесообразность! Для пользы жизни.

— Целесообразность? — переспросил шкипер. — Ну, а зачем лисе хвост? Для какой такой целесообразности?

— Может, следы заметать? — засмеялся Михалыч.

— А рога сохатому? — не слушая, продолжал шкипер. — Ведь как мучается с ними, как бедует! А птичкам тогда как же с целесообразностью-то твоей?.. По целесообразности им всем серенькими быть полагается, а они — радостные!..

— Или — бабочки, — вставил Иван. — Прямо как цветы полевые.

— Нет, парень, природа-то помудрее нас с тобой будет. Куда помудрее! Это мы, люди то есть, еле-еле до целесообразности доперли и обрадовались: вот он, закон! И хотим, чтобы все в мире по этому закону строилось. А есть законы повыше этой самой целесообразности, повыше пользы. Просто понять мы их не можем, только и всего.

Клади направо, Трофимыч: вон там, к обрывчику, и пристанем.

У обрыва они зачалили катер за корявый березовый пень и по сходням сошли на берег.

Шли по травянистому болоту, узко сдавленному черным непролазным осинником. Холодная сырость вызывала озноб, липла к телу, затрудняла дыхание. Почва мягко чавкала под ногами, и вода подступала к голенищам кирзовых сапог.

Сонные болотные комары, потревоженные шагами, тучами поднимались с земли. Еще не согретые солнцем, вяло оседали на одежде, заползали в швы. Женщины наглухо завернулись в платки, оставив только узкие щелки для глаз.

— Чуешь, как пахнет? — спросил вдруг Иван.

Влажный застоявшийся воздух был пропитан густым, приторно-тяжелым запахом.

— Багульник, — пояснил Иван. — Дурман тайги.

— Моль его не выносит, — сказал шкипер. — Моль, клоп — вся нечисть домашняя. Старуха моя пучки по всем углам держит, и на барже у нас — как в больнице.

Они все шли и шли, и болоту не видно было конца. Так же грузно оседала под ногами почва, так же хлюпала вода и чуть слышно позванивала

жесткая осока. Шкипер убирал с дороги сухие ломкие сучья осин.

Так протопали они километра три, а потом лес расступился, и перед ними открылась заросшая осокой поляна. Воды здесь было поменьше и осока повыше, но сапоги все равно утопали по самые голенища.

— Луконина топь, — сказал шкипер. — Вот с того угла и почнем, пока не жарко. А вы, бабоньки, палите костер да варганьте косцам еду.

Еленка, Лида и молчаливая Паша пошли к опушке, а мужчины начали отбивать косы. Вздрагивающий звон поплыл над болотом.

— Ты к жалу тяни, к жалу!.. — суетливо подсказывал Михалыч Сергею. — От пяточки с наклоном да вперед, вперед, к носку…

— Ну, с богом, мужики! — торжественно сказал шкипер и широко, от плеча махнул косой.

С жестким хрустом осела под взмахом осока и, подхваченная пяткой, отлетела влево. Еще взмах — и следующая охапка пристроилась к первой, образуя начало валка.

— Пошли!.. — в восторге закричал Михалыч, взмахивая косой. — Раз!.. Раз!..

Он шел чуть согнувшись, прямо ставя ступни и приседая при каждом взмахе. Коса ходила легко,

и так же легко, похрустывая, рушилась осока и ровным валком укладывалась слева от косца. Он на шаг продвигался вперед, одновременно вынося косу, и с каждым махом рос валок, а по голой, начисто выбритой топи потянулись две параллельные полосы пробороненной ступнями почвы. Полосы эти быстро наполнялись водой.

Иван и Вася тоже начали косить. Движения их были плавны и свободны, и со стороны казалось, что труд этот прост.

«Подведу я их, — подумал Сергей, примериваясь для первого маха. — Широко шагают, черти...»

Он с силой полоснул косой и обрадовался, когда осока покорно легла, срезанная остро отточенным лезвием. Шагнул, полоснул снова — и снова она рухнула, устилая путь. Ему пришлось подбирать ее полотном косы и оттаскивать в сторону, но он не останавливался, а шел и шел вперед.

— Хорошо!.. — крикнул Михалыч. — Ах, хорошо!..

— Погоди, не то к вечеру запоешь! — отозвался Вася.

— Знаем мы эти песенки, Вася! Певали!.. — Михалыч воткнул держак в болото, торопясь, стащил с себя сырой ватник.

Шкипер уже заново отбивал косу. Иван оста-

новился тоже, вытер полотно пучком осоки, проверил пальцем.

— Наждак, а не осока.

— Осока добрая, — сказал шкипер. — До кустов дойдем — перекурим. Так, мужики?

Никто не отозвался. Косцы неторопливо двигались вперед, и осока с размеренным хрустом укладывалась в ровные, строгие валки.

Шкипер первым дошел до кустов, отбил полотно, не торопясь вернулся по прокосу назад, к началу. За ним по одному вернулись остальные; только Сергей еще топтался где-то в середине, и извилистые рельсы его пути были густо усыпаны осокой. Косцы закурили из Васиной пачки, а Михалыч прошел к Сергею. Постоял сзади, посмотрел, тронул за плечо.

— Погоди, парень, погоди. Тужишься ты, косу таскаешь — не надо. Ты свободней держи. И пяточку к земле клони, пяточку самую. Она тебе травку и подберет, и в валок снесет. Гляди.

Он оттеснил чуть задохнувшегося Сергея, сделал несколько махов, не переставая поучать:

— В замах идешь — силу отпускай, не трать попусту. А вниз повел — на себя резче прими. Тогда коса сама и срежет и уберет.

— Иди, покурим!.. — позвал Иван. — Слышь,

Сергей!..

— Не заработал еще! — отозвался Сергей, вновь становясь на место. — Докошу — покурю.

— Не гони, — сказал шкипер. — Здесь призов не дают.

Покурив, они снова взялись за косы, и вскоре Михалыч догнал Сергея. Они почти не разговаривали: пройдя гон, возвращались, курили, отбивали косы и снова шли косить. Выбившись из их ритма, Сергей так и остался в одиночестве. Теперь он и косил один, и курил один, с каждым заходом ощущая, как наливается усталостью отвыкшее от таких нагрузок тело.

Взошло солнце. Косцы разделись до пояса: комары щадили в работе, атакуя только на перекурах. Зато пестрый злой овод все чаще жалил потные спины.

Женщины развели костер. Паша готовила завтрак, а Еленка и Лида уже сгребали осоку в копны, чтобы она зря не мокла в воде.

— Завтракать, мужики!.. — крикнула Паша.

Косцы враз остановились, обтерли мокрые косы и воткнули держаки в топь. Только Сергей продолжал косить. Шкипер подошел, положил руку на его голое потное плечо:

— Отдышись, парень.

— До кустов дойду…

— Весь день впереди. Намахаешься.

Сергей покорно воткнул косу и пошел к костру, чувствуя, как плывет и качается под ногами топь. У опушки Вася и Михалыч умывались в глубокой луже.

— Ополоснись, Серега, — сказал Вася. — Сразу посвежеет.

Сергей подошел, нехотя зачерпнул пригоршню холодной желтой воды, протер лицо.

— Зла мужицкая работка? — улыбнулся Михалыч.

— Приспособится, — сказал Вася. — Тут хитрости нету.

— Есть хитрость!.. — возразил Михалыч. — В городе все быстрей норовят, все наскоком, все нахрапом. Нетерпеливые вы. А у нас так нельзя, не-ет, нельзя! У нас силу сберечь надо. Но — умеючи, умеючи, значит. Вот это и есть мужицкая хитрость.

Паша сварила ведро картошки с тушенкой, и они начисто выскребли ведро, напились чаю и сразу вернулись на недокошенные полосы.

— Ну, мужики, до обеда должны все скосить, — сказал шкипер. — Если осилим — значит, выхватим это сенцо у бога из самой запазушки.

— Не у бога, а у колхоза имени Первого мая, — улыбнулся Вася.

— Сроду здесь колхоз не косил и косить не будет, — сказал Иван. — А траве зря пропадать не положено.

Солнце вставало все выше, топь звенела полчищами слепней. От болота поднимался пар, пот струйками тек по спинам косцов; они все чаще отходили к опушке, где бил родник, и пили холодную желтую воду.

— Как нога? — спросил шкипер. — Отдохнул бы.

— Ничего. — Иван сполоснул лицо, улыбнулся: — Погодка-то, а? Как заказанная…

Он врал, когда улыбался. Ногу ломило до пояса, он давно уже косил, стараясь не опираться на нее, но боль росла. Лечь бы сейчас, вытянуться — тогда отпустит. Но он не давал себе спуску. Никогда не давал: только начни болеть — и тело припомнит все осколки и пули, все контузии и ржавые сухари с болотной водой. Только распусти вожжи — не встанешь.

Поэтому он деловито ел за обедом пропахшую горьким осиновым дымом похлебку. Ел насильно: его мутило от боли и усталости.

— Не могу, — сказал Сергей и бросил ложку. — В

глотку не лезет.

Он откинулся на кучу ломкого хвороста и закрыл глаза. Плыло, качалось болото…

— Попей.

Он открыл глаза: Еленка протягивала большую эмалированную кружку.

— Выпей, — повторила она. — Нельзя же ничего не есть.

— Ослабнешь, — сказал Иван.

Сергей хлебнул: в кружке было молоко. Прохладное, густое, почему-то чуть горьковатое.

— Больше не коси, — сказал Вася. — Что осталось, мы с Михалычем подберем, а вы копешки готовьте. Пудика по три потянем, Михалыч?

— Потянем, чего же не потянуть?..

Поначалу сгребать мокрую осоку показалось делом почти пустяковым. Но осока была не просто тяжелой; она была цепкой, как колючая проволока, пласты ее упорно свивались в большие вязкие комья, в которых намертво запутывались грабли.

— Ты руками, Сережа, — сказала Еленка.

Руки ее уже были порезаны в кровь, до волдырей искусаны комарами. Но она двигалась легко и гибко, словно не чувствуя усталости.

— Здоровая ты девка, — сказал Сергей.

— Привычная…

Через час с дальнего конца топи вернулись Михалыч и Вася. Сунули держаки кос в раскисшую землю:

— Готово, Игнат Григорьич.

— Ну что, мужики, отдохнем полчасика, а? — спросил шкипер. — Отдохнем, покурим и — двинем.

— Конечно, отдохните, — сказала Лида. — Нам тут еще грести и грести.

Косцы побрели к костру, а Сергей еще дергал, пинал, волок проклятую осоку. Еленка мягко отобрала у него грабли.

— Покури. Главный труд впереди, Сережа.

Пошатываясь, Сергей подошел к костру и почти рухнул на хворост. Вася протянул ему папиросу, он взял ее и держал в руке, как свечку: не было сил прикурить.

— Воровство — это когда корысть есть, — сказал шкипер, мельком глянув на него. — Украсть, продать да прогулять — вот воровство. Так я мыслю, Трофимыч?

— Мысль с совестью в разладе, — вздохнул Иван. — Я горючее тоннами тащу, Григорьич — траву, Вася…

— Краску! — засмеялся Вася. — Облез наш лай-

нер, как апрельский кот, глядеть невозможно. Лидуха пилит: давай, мол, подновим, давай, мол, выкрасим. Пошел я краску добывать, а мне говорят: не положено. Ремонтные работы — зимой, сейчас средств нет. Я говорю: за мой счет. Все равно, говорят, не положено. Ну, плюнул я, сунул кладовщику на пол-литра, и краска сразу нашлась.

— А я гвозди, гвозди так добывал, — подхватил Михалыч. — Крыша прохудилась, ремонту требует, а гвоздей в продаже нет. Я туда, я сюда — нету! Пришлось со стройки захватить. Несу домой, а душа трясется. Страх ведь, страх!..

— От бесхозяйственности все, — вздохнул Вася. — Почему в Юрьевце, скажем, гвозди есть, а у нас нету? Что стоит завезти их вовремя?

— Расторопности мало, это ты, Вася, правильно говоришь, — сказал Иван. — И расторопности мало, и желания, и умения: вот и выходит, где — завал, а где — нехватка.

— Нет, это не воровство, — убежденно сказал шкипер. — Ну, а внутри-то мышка, конечно, скребет, это ты верно сказал, Трофимыч. Живет в нас эта мышка, будь она трижды неладна, и ворочается, и сна не дает. В старину тоже так случалось, но тогда способ знали, как эту мышку

из души выжить.

— Что за способ? — спросил Вася.

— Каялись.

— Глупость это, Игнат Григорьич!

— Не скажи, Вася. Когда невмоготу — откровение требуется. Груз с души снять нужно, поделиться, очиститься. Без покаяния умереть боялись, очень боялись.

— Перед людьми надо ответ держать, а не перед попом, — сказал Иван.

Все молчали. Михалыч неуверенно улыбнулся.

— Пошли тягать. — Шкипер достал из мешка веревки. — Берите снасть, муравьи.

Женщины помогали увязывать мокрую осоку, рывком подавали на плечи. Веревки намертво вонзались в тело, выламывая спину, и мужчины, оступаясь, медленно брели по болоту.

Иван упал под первой копной: подвела нога. Упал неудачно, не мог встать, а только дергался, шепотом ругаясь. Вася, бросив осоку, кинулся, поднял:

— Оставь вязанку. Потом подберу.

— Ладно, Вася. Допру.

Вася шел сбоку, уголком глаза наблюдая за Иваном и вовремя подставляя плечо, когда Иван оступался. Поэтому они подошли к берегу по-

следними: шкипер и Михалыч уже сматывали веревки, а Сергей сидел на своей ноше, опустив голову.

— Не ходи больше, Трофимыч, — сказал старик. — Отдышишься — тут попрыгай: сходни наладь, с катера все прими.

Иван кивнул: он понимал, что в этом деле не помощник. Выпростал из-под осоки веревку, сел рядом с Сергеем. Михалыч, шкипер и Вася уже скрылись в лесу: чавканье сапог постепенно замирало вдали. Иван закурил, протянул пачку Сергею.

— Живот что-то схватило, — виновато соврал Сергей.

— Иди на катер.

— Ничего. — Сергей встал. — Отпускает вроде.

Пошел назад, сматывая на ходу веревку. Хвост ее долго волочился сзади, подскакивая на кочках.

На подходе встретились Михалыч и Вася: с новыми ношами они шли к катеру. Михалыч разминулся молча, а Вася сказал:

— С дальнего конца копешки бери.

— Портянка сбилась. — Сергей поспешно и неуверенно улыбнулся. — Переобувался там…

Последние охапки несли уже в сумерках. Чер-

ные осины тревожно звенели по сторонам. Сергей шел последним, пропустив вперед Лиду и Пашу.

Почти в темноте перетаскали осоку на катер. Это были последние усилия: даже Вася перестал улыбаться. Иван накрыл старым брезентом сырую, остро пахнущую болотом кучу.

— Отдыхайте.

Они вповалку улеглись на брезенте, и Сергей сразу же провалился в полудремоту. Слышал, как застучал двигатель, как, отваливая, плавно качнулся катер и пошел вверх, натужно гудя мотором.

— Свалили! — выдохнул Вася. — Здорово это, когда своего достигнешь. Вроде уважение к себе самому поднимается.

— Дело вы для меня великое сделали, ребята, — тихо сказал старик. — Я за это…

— Ты нам за это покурить раздобудь, на том и сочтемся, — сказал Вася.

— Держи. — Сергей достал мятую пачку. — Не знаю, целы ли.

— Целые. Закуришь, Игнат Григорьич?

— Можно.

— Катер!.. — крикнул Михалыч.

Сзади нагонял катер. С палубы его кричали что-то, неслышное за шумом двигателя, махали

фонарем.

Теперь уже все толпились возле рубки: колхозный катер вечерами патрулировал по реке.

— Плакала наша работка… — вздохнул Михалыч. — Ах ты господи, вот ведь не повезло, так не повезло…

И опять все замолчали, потому что молчал Иван, а ему одному принадлежало сейчас право решать. Но Иван упрямо держал максимальные обороты: катер дрожал как в лихорадке.

Справа открылся чуть видный в темноте пологий болотистый остров. Иван прижался вплотную к берегу: здесь течение было не таким сильным, но патрульный катер упорно шел в кильватере.

— Далеко? — спросил Иван, не оглядываясь.

— Метров триста, — сказал Вася. — Не уйдем, Трофимыч: у них и мотор посильнее, и катер не нагружен.

— Гаси топовые!.. — крикнул Иван.

Сергей щелкнул выключателем, погасли опознавательные фонари, и тут же Иван стремительно заложил катер вправо, уходя в протоку.

— Куда?.. — закричал шкипер. — Мель там, Иван! Мель!..

— Как крикну, все на левый борт, — сказал Иван, до рези в глазах всматриваясь в черную,

заросшую камышом протоку. — Все — на один борт, поняли?

— Врежемся, Трофимыч, — сказал Вася. — Еще днище пропорешь.

— Все — на левый борт, как крикну, — повторил Иван. — Все — и бабы тоже. Готовьтесь. Только бы травы на винт не намотало…

Патруль чуть отстал: видно, капитан его не хотел рисковать в темноте, понимая, что все равно запер Ивана в ловушку.

— На борт!.. — крикнул Иван, круто кладя руль. — На борт!..

Все кинулись к борту, и «Волгарь», развернувшись, боком лег на волну, задирая винт. Днище скребнуло по грунту, катер дернуло раз, другой, третий, но, дергаясь, он пробивался вперед, поднимая винтом тучи песка и ила. Мокрая груда осоки, дрогнув, медленно поползла к борту, но катер, дернувшись еще раз, прошел мель, и Иван тут же выровнял его и погнал вперед, уходя в темноту.

— Ушли!.. — торжествующе закричал Михалыч.

— Да, Трофимыч… — Старик покрутил головой. — Всю жизнь на воде провел, а о таком не слыхивал. Орел ты, Иван Трофимыч.

— Лещ так перекаты проходит, — смущенно улыбаясь, сказал Иван. — Замечал, Григорьич? Весной, когда на нерест идет. Встретит мель, ляжет на бок, хвостом работает и — вперед, вперед. Вот нагляделся я, значит, и — пригодилось. А вообще это скверно — убегать от закона. Очень скверно…

С перегрузкой на баржу все вышло гладко, и утром «Волгарь» стоял у диспетчерской, как всегда. Начались будни: обеды на ходу в грохочущем кубрике и простой, когда можно было половить рыбу для обеда; нудная буксировка плотов и доставка приказов; проводка барж и перевозка мелких случайных грузов. В понедельник директор отдал приказ, и Сергей начал регулярные занятия по радиотехнике. Он относился к ним очень серьезно, тщательно готовился, чертил схемы.

Вечерами Иван оставался один: Сергей уговорил Еленку заниматься в кружке. Отогнав катер к затопленной барже, Иван уходил к старикам и сидел там допоздна: помог шкиперу убрать сено, расширил закуток для телки, а когда не было работы, беседовал со шкипером или просто молча курил. Он не спешил теперь на катер.

На неделе зашла Паша: Федору стало лучше,

он просил Ивана навестить его. В среду занятий не было, и они пошли втроем: Иван считал, что Сергей должен познакомиться с бывшим помощником.

— Должен так должен, — нехотя согласился Сергей. — Не знаю, капитан, будет ли ему приятно.

Никифоров лежал в отдельной палате. Лежал на животе, неудобно вытянув подвешенную на шнурах руку в гипсе. Худое лицо его заросло щетиной, глаза ввалились. Он встретил их приветливо, но говорил так мало и неохотно, что они вскоре заторопились.

— Погоди, Иван Трофимыч, — вдруг спохватился Федор, когда они уже подошли к дверям. — Останься на два слова, а?

Сергей и Еленка вышли, а Иван вернулся к Никифорову и сел на табурет возле его головы. Федор молчал.

— Может, лекарство какое нужно или еще что? — спросил Иван.

— Да не в этом дело, — вздохнул Федор. — Тут, понимаешь, баба моя в суд подавать надумала. Нажужжали ей, понимаешь.

— Не знаю, — сказал Иван, подумав. — Может быть, правильно.

— Да что правильно, что? — зло дернулся Фе-

дор. — Ты меры прими, понял? Она у меня дура, ей что наговорят, то она и делает. А я позора такого…

— Ты, Федя, взвесь все, — мягко перебил Иван. — Ты подумай.

— Так ведь на тебя же — в суд-то!..

— Ну и что? — Иван помолчал. — Если б я преступление совершил, тогда… И тогда было бы правильно, Федя.

— Дурак ты, капитан!.. — Федор дернулся, скрипнул зубами. — Ты, это, не сердись. Не давай ты ей воли, Трофимыч. Позор выйдет. Один позор.

— Посоветоваться бы надо, Федя. С юристом.

— Не надо. Не хочу я этого. Не хочу!.. Обещаешь?

— Ладно, Федя.

— Ну, затем и звал. А сейчас иди. Сестру покличь: боли, мол, начались…

В Юрьевец для консультаций приехал профессор из самой Костромы. Иван случайно узнал об этом и кинулся в больницу. Главврач, недовольно хмурясь, написал записку, предупредив, что профессор — человек занятой и вряд ли согласится ехать в такую даль. И Иван тут же решил, что уговорить заезжую знаменитость сможет

только Сергей.

— Понимаешь, я две недели Сашка не видал…

— Что за вопрос, капитан! — улыбнулся помощник. — Надо — значит, надо.

Иван выправил документы на рейс, долго объяснял, как идти, куда швартоваться, где искать профессора. Потом отдал чалку и стоял на берегу, пока катер не скрылся за дальним поворотом.

Налегая на палку, он медленно взбирался по крутой тропинке к поселку. Конечно, можно было пройти до лестницы и подняться по ней, но Иван всегда ходил только здесь. Это была тропинка его детства — узкая, утоптанная до бетонной твердости: даже палка не оставляла следов. Когда-то он на одном дыхании взлетал наверх, а теперь полз с остановками, приволакивая хромую ногу.

Наверху он оглянулся, но катера не увидел даже за первой излучиной: видно, шел «Волгарь» куда ходче своего капитана.

У ворот бревенчатого, в три окна дома он остановился. Низкий штакетник захлестнула малина, и с улицы двор не проглядывался. Иван одернул пиджак, застегнул на горле ворот рубахи, пригладил волосы и распахнул калитку.

За столом в палисаднике полная женщина перебирала клубнику. Она без улыбки посмотрела

на Ивана, неторопливо заправила под косынку подбитую проседью прядь.

— Здравствуй, Иван.

— Здравствуй, Надя. — Иван присел, вытянув усталую ногу. — А где же Сашок?

— Сынок! — крикнула женщина. — Сынок, папа пришел!..

Прибежал Сашок, и они долго и старательно мастерили планер, руководствуясь крохотным чертежиком из «Юного техника».

— Ты, сынок, когда с мелочью какой работаешь — клеишь, к примеру, крючок к леске привязываешь или еще что, — языком зубы считай, — говорил Иван, оклеивая бумагой легкие крылья.

— А зачем?

— Для порядка. Сосчитал в одну сторону, тогда считай в другую. Глядишь, и не порвешь ничего, не сломаешь. Работа, Сашок, терпеливых любит, слушается их.

Это был его день. Он выторговал его, когда сын еще ползал по полу, и в такие дни они были только вдвоем: строили, чинили, бродили по лесу или ловили рыбу. Он просто учил сына тому, что знал сам. Поначалу казалось, что знаний этих много — целая жизнь, — но год от году становилось все

труднее, и Иван с горечью чувствовал, как гаснет в сыне восхищение его рабочей сноровкой…

Профессор долго читал записку, все время нервно встряхивая листок.

— Это далеко?

— Шесть часов ходу, — сказал Сергей. — Против течения.

— Против течения — это очень хорошо, — неожиданно усмехнулся профессор. — В девять вечера зайдите за мной. Сюда.

Он сунул записку в карман и пошел наверх: на лестничной площадке ждали двое в белых халатах.

— Спасибо! — с опозданием крикнул Сергей, а Еленка испуганно дернула его за рукав:

— Тише!..

Они вышли на улицу.

— А вдруг поможет? — вздохнула Еленка. — Знаешь, мне Пашу жалко. И Федю, конечно, но Пашу — жальче.

— Она и сама жалкая, — сказал Сергей. — Живет, голову втянув, словно вот-вот кто-то ударить должен.

— Так оно и есть, Сережа… — Еленка по-бабьи поджала губы. — Доля у баб такая — каждую минуту удара ждать.

Сергей посмотрел на нее, расхохотался, вдруг шутливо обнял.

— Пусти… — Еленка высвободилась и, чувствуя, что краснеет, поспешно отвернулась. — Может, в кино пойдем?

В кассах широкоэкранного кинотеатра толпились люди. Сергей быстро разобрался, в каком окошке дают на текущий сеанс, занял очередь. Еленка стояла рядом, искоса остро, изучающе поглядывая на соседей.

— Смотри, смотри! — не выдержав, зашептала она. — Чулки красные, а туфельки — черные…

— Ну и что? — спросил Сергей, бесцеремонно оглядев проходившую мимо девушку.

— Смешно. Как гусыня.

— Ты бы не надела?

— Да что ты!.. — Еленка тихо рассмеялась. — Что же тут хорошего?

— Мне нравится, — сказал Сергей.

— Красные ноги?.. — поразилась она.

— Красивые ноги, — поправил он.

— А-а… — смущенно протянула Еленка и замолчала. Потом спросила вдруг: — А когда коленки торчат, тоже нравится?

— Если красивые?

— Что же в них может быть красивого? Колен-

ки и коленки…

— У тебя, например, красивые, — улыбнулся он.

Еленка поспешно отвернулась. Сергей усмехнулся: ему нравилось вгонять ее в краску.

Очередь двигалась медленно, и Сергей уже начал поглядывать на часы: до сеанса оставалось десять минут.

— Там без очереди не пускайте! — крикнул он.

— Все нормально, — лениво отозвались от кассы.

У дверей раздался шум, очередь заколыхалась, и хриплый бас пьяно и весело прокричал:

— Кто последний, что дают?..

Сквозь толпу ломился лохматый рослый мужик в серой, вольно распахнутой на груди рубахе.

— Расступись, народ!..

— Рычало… — прошелестело в очереди, и люди начали вжиматься в стенку.

— Пьяный…

— А он и не просыхает…

Рычало пролез к кассе, загородил окошко:

— Что осталось, красавица?

Очередь послушно молчала. Что-то неразборчиво ответила кассирша, и вновь пророкотал хриплый бас Рычалы:

— А интересно?

Сергей вдруг шагнул вперед, схватил за плечо Рычалу, рванул к себе:

— А ну, убирайся отсюда!..

— Я?.. — Рычало непонимающе моргал пьяными глазками. — Это ты — мне?.. — Он чуть ворохнул плечом, сбросил руку, повернулся, огромный, уверенный. — Ах ты, морячок-дурачок!..

Сергей подобрался и, нырнув под руку, что есть силы ударил кулаком в живот. Рычало охнул и стал оседать на пол, хватая воздух.

Очередь молчала, скорее с удивлением, чем с восторгом глядя на него. Еленка сжала локоть, ткнулась лбом в грудь:

— Напугалась я…

— Ладно. — Он закурил, хотя в помещении курить воспрещалось, улыбнулся.

Прозвенел третий звонок, но они успели войти в зал и разыскать свои места. Почти полкартины Сергей глядел на экран, не понимая, но потом успокоился, отвлекся и к концу успел посочувствовать герою, попавшему в неприятную историю. Еленке фильм очень понравился, потому что был без стрельбы и герои обретали счастье.

Они сидели далеко от выхода и попали на улицу с последними группами зрителей.

— Солнышко-то какое!.. — радостно улыбнулась Еленка.

— Надо на катер глянуть, — озабоченно сказал Сергей.

Пошли к пристани напрямик, через пустырь. Еленка задирала голову к солнцу, щурилась, морща нос. Сергей усмехнулся:

— Щуришься, как котенок.

— Эй, морячок!..

Они оглянулись: нагонял Рычало.

— Отойди, — тихо сказал Сергей Еленке.

— Сережа… — Беспомощно оглядываясь, она схватила его за руку. — Тебе совестно, так я закричу, а?.. Закричу, Сережа. Может, с ножом он…

— Отойди!.. — резко повторил Сергей и пошел навстречу Рычале.

Они остановились в двух шагах друг от друга. Рычало тупо моргал красными глазками и молчал.

— Что надо? — спросил Сергей.

Рычало упорно молчал, шмыгая толстым бородавчатым носом. Ветер шевелил его редкие седые волосы.

— Что надо? — повторил Сергей.

— Зачем ударил?.. — тихо спросил Рычало. — Зачем, а?.. Не трогал ведь тебя, никого не трогал. А что пошумел, так ведь без злобы. Все знают. Инвалид я, осколок у меня в брюхе. Немецкий осколок. А в него — кулаком. За что же так, а?..

— Еще хочешь?

— Эх ты… — Рычало тяжело вздохнул и опустил голову.

— Пошел прочь, пьяная морда, — брезгливо сказал Сергей и, не оглядываясь, вернулся к Еленке.

— Что? — с тревогой спросила она.

— Так, — усмехнулся Сергей. — Прощения просил.

Она засеменила рядом, сбоку заглядывая в лицо Сергею.

— А ты — смелый.

— Приходилось, знаешь, — нехотя сказал он. Катер сиротливо стоял в дальнем углу причала.

Сергей проверил запоры, чалку, вернулся на пристань.

— Пошли в ресторан.

— В ресторан?.. — Еленка никогда не была в ресторане и испугалась: — Что ты, Сережа!

— А что? Выходной — вроде праздника.

— Нет, нет. Совестно как-то. И дорого, поди.

— Да что там дорого, совестно! Мы хозяева, по-

нятно? Для нас — все: и кино и рестораны. Земля для нас вертится, а ты — совестно!.. — Он взял ее за руку. — Пошли.

— Нет. — Она решительно высвободила руку. — Я обед сготовлю. Любишь окрошку? На рынке квас продают.

— Ну крой. — Он чуть сжал ее руку и улыбнулся, и она в ответ смущенно и радостно заулыбалась.

Еленка вернулась с рынка бегом. Перебралась на катер, открыла дверь рубки хитро загнутой проволокой, спустилась в кубрик. На столе стояли три бутылки жигулевского пива, лежал кулек с конфетами и полкило чайной колбасы. Еленка съела довесок и начала готовить зелень для окрошки: ей очень хотелось, чтобы обед получился не хуже, чем в ресторане.

Вскоре пришел Сергей. Положил на стол две банки консервов, пощупал пиво.

— Пивко-то я не сообразил за борт опустить!

— А консервы зачем? — Еленка неодобрительно покачала головой: — Это же так, баловство, а я мяса купила.

— Мясо — к ужину, — сказал он, вскрывая перочинным ножом консервы. — Профессора кормить будем: путь неблизкий.

— Верно, Сережа. — Еленка разложила по та-

релкам зелень, нарезала хлеб, колбасу. — Садись.

— Ну, ты прямо шеф-повар! — улыбнулся он. — Доставай стаканы, я сейчас.

— Чего забыл?

— Утопленника!.. — весело крикнул он с трапа.

Еленка достала стаканы. Вернулся Сергей, неся мокрую бутылку. К горлышку была привязана бечевка.

— Час в воде полоскал, а все — теплая.

— Напрасно. — Еленка строго поджала губы. — И не к месту и не ко времени.

— Ее всегда ко времени! — Сергей зубами надорвал пробку, разлил по стаканам. — Давай, матрос. Чтоб плавалось.

— Ой, много…

— Пивком запьешь. — Он открыл пиво, принес стакан, налил. — Ну, залпом, по-флотски.

Водка была теплой, противно перехватывала дыхание, липла к горлу. Еленка вообще не любила ее, пила только в компании, да и то для виду, но Сергей был так настойчив, так заглядывал в глаза, что Еленка совсем закружилась. Она чувствовала удивительную свободу и легкость, охотно смеялась его шуткам, а после обеда даже закурила, держа папиросу в кулаке и шумно выдыхая дым.

— Вот ты, девочка, и осовременилась, — весело сказал Сергей. — А то такой монашкой живешь, что аж злость берет: тихая да серенькая, как мышка.

— У мышки хвостик есть. — Еленка старательно выговаривала слова. — Хвостик да домик. А у меня, Сереженька, ничего: ни хвостов, ни домов.

— Да и я такой же, — вздохнул он. — Отца на фронте убили, мать померла, когда я еще в техникуме учился. Вот и выходит, что мы с тобой как брат с сестрой… Ты откуда в этих краях вынырнула?

— Издалека, Сереженька, издалека, — нараспев сказала Еленка.

Она уже не смеялась, и улыбка, забытая на лице, казалась заученной и потому жалкой. Сергей пересел ближе.

— Ну, ты что? Брось. — Он обнял ее за плечи, прижал к себе. — Слышь, матрос, гляди веселей!

— Было ведь, все было, Сереженька, — тихо всхлипывая, говорила Еленка. — И дом был, и подружки, и парнишечка. И любовь была, Сереженька… Та, что нам только разик дается. Вот я себя и не пожалела, когда в армию он уходил. Все ему отдала, а написали, что гуляю, и — поверил. Вернулся, насмеялся надо мной, перед всеми вы-

ставил да и бросил. Бросил, как окурок, бросил!..

Она залилась слезами, уже не сдерживаясь. Сергей, торопясь, целовал мокрое лицо. Еленка не отталкивала его, то ли не понимая, то ли по-детски зайдясь в плаче.

— Зачем? — перестав вдруг плакать, тихо сказала она. — Не надо этого, милый, не надо… Слышишь?..

Она бормотала эти привычные женские слова, а руки сами собой уже гладили его плечи.

— Оставь… Оставь, Сережа, милый… Ну, что ты делаешь со мной, что?..

…Вася третий час выбирал подвесной лодочный мотор. Ощупывал каждую деталь, осматривал крепления, по буковкам сравнивал паспорта. Продавец давно перестал обращать на него внимание, и Вася очень страдал, что не может ни с кем посоветоваться.

— Скажите, товарищ продавец, а можно обменять, если что? — набравшись смелости, спросил он.

— Ну а что может быть? — лениво спросил продавец. — Завод гарантирует, что тебе еще надо?

Вася вздохнул, еще раз сличил паспорта и вдруг решил, что загадает: если мотор будет хорош, то Лидуха родит ему парнишку, а если, не дай бог,

сломается, то девчонку. А загадав, сразу повеселел и протянул продавцу паспорт:

— Этот. Выписывайте.

Расплатившись, Вася взвалил на плечо покупку и пошел к пристани. Местный пароходик, курсирующий между Юрьевцем и их затоном, отходил вечером, но Вася надеялся, что подвернется какой-нибудь буксир. Еще издали, оглядывая пристань, он увидел притулившийся в уголке знакомый катер.

— Трофимыч!.. — крикнул он, бережно сняв с плеча «Стрелу». — Иван Трофимыч!..

Никто не отозвался. Дверь рубки была открыта, и Вася, перетащив ящик на палубу, заглянул в кубрик: там было темно, но слышался негромкий храп.

Сгорая от нетерпения похвастаться покупкой, Вася тихо спустился по трапу. Нащупав пол, остановился и деликатно кашлянул, рассчитывая, что спящий проснется.

— Кто?.. — испуганным шепотом спросила Еленка.

— Это я... — растерянно сказал он. — А Трофимыч?

— Нет его, нет, — испуганно бормотала Еленка, торопливо натягивая платье. — Кто тут? Зачем?

— Да это я, Василий… — Он увидел голого по пояс Сергея, разбросанную одежду, бутылки на столе и замолчал.

Еленка перелезла через спящего, спрыгнула на пол. Отвернувшись, застегивала платье.

— Заснула я, — жалко бормотала она. — Мы за профессором тут. Жара такая…

— Да. — Вася растерянно топтался у входа. — Жарко, конечно. Домой скоро ли пойдете?

— Нет, не скоро, нет… — Еленка стояла к нему спиной, лихорадочно поправляя волосы. — Ночью пойдем. А то и утром.

— Я на рейсовом тогда, — сказал Вася и полез наверх.

Он вышел на палубу, взвалил на плечо «Стрелу».

— Стерва!.. — громко сказал Вася и плюнул.

Профессор не помог Федору. Осмотрел, посоветовал не отчаиваться. Федор выслушал это молча, а сестру послал длинным матерком и потребовал, чтобы немедля отправляли домой. Доктор с трудом успокоил его.

На «Волгаре» все вроде бы шло заведенным порядком. Только Еленка вдруг перестала ходить на занятия, два вечера проторчала на катере: перестирала Иваново бельишко, починила рубашки.

Иван звал ее к старикам, но она отказалась.

— Зря Еленка курсы бросила, — сказал за ужином Сергей. — Сил на это особых не надо, а бумажку получить всегда полезно. Поговорил бы ты с нею, капитан.

Иван поговорил. Еленка долго и как-то странно смотрела на него, а потом сказала:

— Раз велите — буду ходить.

— Надо, Еленка, — сказал Иван.

Еленка покивала и ушла в свой угол. Она вообще стала какой-то тихой, вялой, покорной. Иван все приглядывался к ней, хотел расспросить, что случилось, да так и не собрался.

С Сергеем капитан виделся только на работе. Даже в свободные от занятий вечера Сергей куда-то уходил, возвращался поздно и сразу заваливался спать. Как-то Иван видел его с Шурой, подумал, что завертела-таки помощника девка, но как раз в тот вечер Сергей вернулся злой, а когда курили перед сном на палубе, сказал:

— Давай, капитан, в те дни заправляться, когда этой заразы на нефтянке не будет.

Завелись у него и друзья: ходил играть в карты к инспектору рыбоохраны, выходные проводил на гензапани. Но занятия не пропускал, по-прежнему тщательно к ним готовился, да и на работе

неизменно был улыбчив и безотказен.

Только в субботу он решительно отказался везти на гензапань проволоку.

— В понедельник отвезем, — сказал он диспетчеру. — Закон есть закон: короткая суббота.

— Сходим, Сергей, — не очень уверенно сказал Иван. — Все равно делать нечего.

— Вечерок у меня занят, капитан. — Сергей покосился, помолчал, потом спросил: — К старикам не собираешься?

— Можно.

— Еленку с собой прихвати, — приглушенно сказал Сергей. — Понимаешь, друзья придут, ну и… Словом, помещение нужно.

— Можно, — еще раз согласился Иван: ему не понравились подмигивания Сергея. — Пойдешь куда на катере-то?

— Не сомневайся, капитан: в двенадцать буду на месте.

Идти к старикам Еленка наотрез отказалась, и Ивану пришлось прикрикнуть на нее. Она испуганно глянула, торопливо закивала:

— Иду, иду, не надо…

Было в ней что-то пришибленное. Иван крякнул с досады, но промолчал, а спросил уже по дороге:

— Ты вроде боишься меня?

— Нет, что вы. — Еленка опустила голову.

— Тихая ты что-то больно. Здорова ли?

— Здорова.

— Может, обидел кто? — не унимался Иван.

— Да что вы, Иван Трофимыч! — Еленка остановилась, глядя в сторону. — Говорю вам, что все в порядке, а вы — свое. Так лучше уж вместе не ходить…

— Ну, ладно, — проворчал Иван. — Не такая ты какая-то, вот и спрашиваю.

Больше они не разговаривали.

За тяжелым рубленым столом на барже удобно было молчать.

— Ну, чтоб ходилось вам и плавалось.

Раздался стук, и в комнату вошли Лида и Вася.

— Можно, что ли, хозяева?

— Ну, пойдет теперь музыка! — радостно крикнул хозяин, углядев в руках у Васи бутылку водки. — Теперь разговеемся!..

— Здравствуйте, — сказала Лида и чинно подала старухе кулек с конфетами.

Еленка вдруг вскочила, точно собираясь бежать, но Авдотья Кузьминична мягко потянула ее на место. Еленка затравленно оглянулась, схватила стакан и залпом выпила водку. Закашлявшись,

опустилась на стул, пряча запылавшее лицо.

— Вот это да! — удивленно сказал шкипер. — Только чего вспыхнула-то? Чего застеснялась?

— Задохнулась она, — сказала старуха. — Пол-стакана хватила враз. Отдышись да закуси, а то спьянишься. Возьми, Лидуха, стаканы в шкапике, да садитесь к столу, гости дорогие.

— Поспел ты, Василий, к самому почину. — Шкипер налил Васе, опять поднял стакан. — Ну, волгари, за Волгу-матушку!

— Ох, балабон! — вздохнула старуха. — Галах ведь был, голь перекатная, босота волжская, а меня, единственную дочку, так заговорил, так забалабонил, что из отчего дома в угон взял.

— В угон? — удивилась Лида. — Это как же?

— А так: нанял тройку, усадил да и махнул на удалых сорок верст без передыху. Поп-пьянчужка обвенчал в селе Кудимове, да с тем и стали мы жить: по Волге мотаться из конца в конец.

— Хорошо, мать, жили, — улыбнулся шкипер. — Не было у нас ни кола ни двора, а морщиночки у тебя все-таки от смеха появились.

— Жили-то хорошо, а доживаем как?

— Ничего, Авдотья Кузьминична: нашего от нас никто не отымет, корня то есть. Добрый у нас с тобой корень: от босоты волжской мы идем, и

нет нам ни сносу, ни износу.

— Корень, — вздохнула она и нахмурилась. — Изведут этот корень, и чихнуть не поспеем.

— Это кто же изведет-то? — поинтересовался старик.

— А бабы нынешние, вот эти вот. — И Авдотья Кузьминична сердито ткнула в плечо Еленку.

— Да что вы, Авдотья Кузьминична? — удивилась Еленка. — Да за что же вы меня так?

— А чего не рожаешь? — строго спросила старуха. — Чего не рожаешь-то, бабонька?

— Ой, ну что вы… — Еленка еще ниже опустила голову, то заплетая, то расплетая бахрому льняной скатерти.

— Кабы ты одна была, то и бог с тобой, — все так же строго продолжала старуха. — А ныне, куда ни глянь, все такие!.. Ездила я прошлой зимой к Зинке, дочке своей. Отдельная квартира, мужик собственный, а детишек — ровнехонько один Андрюшечка. Я глянь-поглянь: у всех так, у всех по одному, а двое — так совсем редко. Ровно мода какая или указ… — Она вздохнула, глянула на Еленку. — Вот и ты, бабонька, такова ж. А жизнь знаешь что такое? Верть-поверть — и смерть. Спохватишься — выть будешь, локти кусать, да поздно, прошел твой час…

Еленка вдруг вскочила, крепко уцепившись за край стола.

— Разошлась ты, мать, — сказал старик.

— Все тут, Григорьич, к месту говорено, — вздохнула Авдотья Кузьминична. — Или не к месту, Иван?

Иван промолчал, а шкипер поднял стакан с остатками водки.

— За это и выпьем, Иван Трофимыч. Вот за это самое. Чтоб, значит, и тебе ветер переменился. Не все чтоб в лицо дул, а хоть изредка да в спину подталкивал.

— За это и я выпью! — громко сказала Еленка. Она взяла стакан, шагнула к Ивану. — За вас, Иван Трофимыч.

Выпила не отрываясь, опрокинула стакан вверх дном и только после этого села на место, слепо тыча вилкой в скользкую сыроежку.

— Будьте здоровы. — Вася чокнулся.

— Спасибо, люди добрые, — тихо сказал Иван. — Дай вам бог, как говорится.

Некоторое время они закусывали молча, не решаясь нарушить вдруг возникшую тишину. Старик недовольно крякнул:

— Сбила ты, мать, со здравия на упокой!

— Так ведь не все же ай-ай-ай, надо и ой-ой-

ой, — сказала старуха. — Теперь почаевничаем да и поговорим.

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя…» — затянула Лида.

Старик подхватил, остальные молчали.

— Не идет, — вздохнул шкипер. — Без тебя, Еленка, ничего не вытянем.

— Не смогу я, Игнат Григорьич, — сказала Еленка, наливая чай. — Не тянет что-то на песни.

— А на танцы тянет? — вдруг громко, зло спросил Вася, в упор уставившись на нее.

Еленка неторопливо передала стакан с чаем, повернулась, глянула в глаза.

— Может, спляшем?

— И то дело, и то! — обрадовался старик. — Тащи, Лидуха, гитару, ежели не рассохлась она от тихой жизни!

Лида подала гитару. Шкипер подстроил ее, рванул струны, и Еленка, выбив дробь, пошла по комнате:

Милый мой по Волге плавал,
Утонул, проклятый дьявол!
Я одна, одна, одна:
Не достать его со дна!..

Она лихо отбила приглашение, но Вася не

шевельнулся: сидел, набычившись, недобро поглядывая.

— Что, Васенька, коленки слабы? — пригнувшись к нему, вздохнула Еленка.

Ноги ее безостановочно дробили пол. Вася отвел глаза, буркнул:

— Напилась?

— А ты видел? Видел?.. — почти выкрикнула она. — Ну, так и молчи. Молчи!..

Она вызывающе тряхнула головой и в полный голос неожиданно завела:

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя!..»

— «Золотою казной я осыплю тебя», — вмиг пристроившись, осторожным басом подхватил шкипер.

Пели долго, пока не ушли Вася с Лидой. А как захлопнулась за ними дверь, Еленка оборвала песню.

— Ну, и нам пора, — сказал Иван, вставая. — Спасибо, хозяева дорогие…

Было темно и очень тихо, когда они вышли на палубу. Теплым комком ткнулся в ноги Дружок и сразу же убежал на край баржи, где ударил топляк о замшелый борт. Черная вода чуть плескалась в сходни.

— Качается все, — шепнула Еленка, прижав-

шись к Ивану. — Я держаться за вас буду.

Он осторожно провел ее на берег, но и здесь она не отодвинулась, а все так же, путая шаги, прижималась к боку, и он обнял ее за прохладные, узкие, как у девочки, плечи.

— Не замерзла?

— Ножки не идут, — тихо засмеялась Еленка. — Не идут ножки домой.

Иван молчал, бережно поддерживая ее. Ему было хорошо и покойно, и он готов был идти вот так целую ночь по заваленному бревнами берегу, слушать ее бестолковый, ласковый шепот и молчать. Но прошли они всего несколько шагов, как Еленка остановилась, и он совсем близко увидел ее лицо: глаза казались огромными.

— Пойдем к деревне, — торопливым, очень деловым шепотом сказала она.

— Зачем?

— Пойдем, пойдем. Там тихо. Там нет никого, там...

Шли в темноте, спотыкаясь о бревна, путаясь в клубках ржавой проволоки. Еленка предупреждала, не оглядываясь:

— Бревно. Шагай левей. Проволока тут. Осторожно.

Заваленный бревнами берег кончился, под

ногами мягко оседал песок. У обрыва Еленка остановилась, обняла, отстранилась вдруг…

— Сядь.

Он покорно сел, неудобно вытянув хромую ногу. Еленка лежала на спине, согнув колени: платье соскользнуло, и он все время видел эти белые колени, тесно прижатые друг к другу. Сердце его билось тяжело и неровно; чтобы успокоиться, он закурил.

— Куришь зачем?

Он промолчал: ему не нравилось, что они сидят здесь, точно двадцатилетние, очень не нравилось. Но не было сил ни встать, ни сказать ей, что лучше уйти отсюда.

Легкие пальцы коснулись лица. Он вздрогнул: совсем как там, на катере. Она ласково отобрала папиросу, взяла его за руки, потянула к себе:

— Ну иди же, иди ко мне, иди…

Иван скорее угадал, чем расслышал эти слова: в висках стучало. Он качнулся к ней, выворачивая непослушную ногу. Еленка тянула за руки, и костыль, который лежал между ними, вдруг острым концом уперся в ребро, а она все тянула и тянула, шепча что-то…

Он опомнился. Рванулся, тяжело вскочил, поднял палку.

— Не звери мы, понятно? Не звери!..

Спотыкаясь, он бежал по берегу. Упал, налетев на бревно, поднялся, снова, не оглядываясь, спешил вперед, с силой налегая на костыль…

Катер уже стоял у затопленной баржи. Иван, оступаясь, спустился в кубрик. Сергей убирал со стола, складывая грязную посуду в ведро.

— Прибыл по расписанию, капитан.

Иван молча прошел в свой угол, вытащил одеяло, швырнул в изголовье подушку. Потом вдруг, грохоча, полез наверх.

Сергей вытер стол и, взяв ведро, вышел на палубу. Иван, сгорбившись, курил на моторном люке. Сергей зачерпнул воды, неторопливо перемыл посуду. Уже уходя, спросил:

— А Еленка где же?

Иван промолчал. Сергей спустился в кубрик, расставил посуду в шкафчике, постелил и лег, а Иван все не возвращался…

Проснулся Сергей от грохота.

— Ты, капитан?

— Я… — негромко, с длинной паузой отозвался Иван: он, согнувшись, шарил на полу костыль.

Сергей потянулся к лампочке, включил: Еленки не было.

— Еленка у стариков ночует, что ли?

Иван подобрал палку, полез наверх. Высунулся вдруг уже из рубки:

— Искать пойду.

— Кого?.. Да погоди же, капитан!

Сергей торопливо оделся, нагнал уже на берегу: Иван спешил, налегая на палку.

— Еленку искать? Ты чего молчишь-то?

— Обидел я ее, — глухо отозвался Иван. — За что обидел, а?..

— Где она? — помолчав, спросил Сергей.

Иван не ответил. В ночной тишине пронзительно громко скрипела палка, вонзаясь в песок. С низин в реку сползал туман. Сергей зябко передернул плечами.

— Выпил я вечером, только уснул, пригрелся…

— Жена ведь она мне, — вдруг точно самому себе сказал Иван. — Жена, а я — обидел. Зачем, а?.. Это же все равно что ребенка ударить, это же невозможно. Сердце у нее простое, открытое, а я — сапогом по нему, сапогом!.. Где же искать-то ее теперь, в реке?

— Да что ты, капитан. — Сергею вдруг стало страшно. — Да опомнись, что ты… Где расстались-то?

— Там. — Капитан ткнул палкой в рассветный полумрак: нагромождение бревен, старых пачек

сплоточной проволоки. — Как к деревне подниматься.

— Еленка! — крикнул Сергей. — Еленка!..

Прислушались: ответа не было. Иван снова зашагал — напролом через завалы сохнувших на берегу топляков.

— Еленка! — еще раз крикнул Сергей. Послушал, догнал Ивана. — Может, она на баржу спать ушла, к старикам?

Иван молча шел впереди, больше обычного приволакивая ногу. Сергей еле поспевал за ним.

Старики уже поднялись. Хозяйка растапливала печку, шкипер шуровал наверху: к началу рабочего дня приходили к барже катера за тросами, сплоточной проволокой, цепями.

— Куда спешишь, Иван Трофимыч? — весело окликнул он. — Старые троса я без очереди выдаю.

— Еленка не у тебя, Григорьич?

— Потерял? — рассмеялся шкипер. — Ну, Иван, ну, орел.

— Пропала она, Игнат Григорьич, — тихо сказал Иван, обессиленно опустившись на кнехт. — Ночью-то обидел я ее…

Дружок, повизгивая, радостно тыкался в колени. Рыжий, злой как черт кот Васька лениво

дремал на крыше, одним глазом наблюдая за собакой.

— Вот дела, — растерянно протянул шкипер. — Лишку она вчера хватила, это точно.

— Может, заявить куда? — Иван вскочил, прошелся. — Может, в реке искать?

— Не дури, Иван, и голову не теряй, — строго сказал старик. — Заводи катер да сбегай к Василию: там она может быть. А нет…

— Ясное дело, у Лиды она! — радостно крикнул Сергей. — И как это мы сразу не сообразили.

Возвращались — затон уже работал. Первые катера требовательно сигналили, отваливая от причалов; грохотали цепи на подъемном кране — «Гансе», как его называли здесь; сиплыми, сорванными голосами костерили кого-то плотовщики.

— Иван Трофимыч, за баржой давай! — крикнули из диспетчерской. — Под погрузку просят!

— Погоди! Тридцать минут погоди!..

Еленки на катере не было. Иван завел мотор, крикнул помощнику, чтоб отдал чалку. Сергей спрыгнул на затопленную баржу и тут увидал Еленку: она стояла на берегу, словно раздумывая, идти ли на катер.

— Есть пропажа, капитан! Нашлась!..

Иван выскочил из рубки, больно ударившись ногой о высокий комингс. Увидел, полез закуривать, смахнув со лба выступивший вдруг пот.

— Где гуляла? — сердито спросил Сергей.

Еленка незряче глянула, прошла мимо. Платье было измято, лицо осунулось, синие круги легли под глазами. Мужчины переглянулись.

— Иди за нарядом, — устало сказал Иван.

Спустился в кубрик. Еленка сидела в углу, сгорбившись, сунув ладони между колен. Глядела в пол, в одну точку, и Иван, как ни старался, не мог поймать ее взгляда.

— Ты где была?

Еленка не ответила, не шевельнулась. Иван потоптался, буркнул:

— Ладно, завтрак готовь. Сейчас за баржой пойдем.

Она подошла к печке, присела перед ней да так и застыла, словно забылась.

— Мы, понимаешь, всю ночь с Сергеем бегали.

— С Сергеем?

— Тебя искали!.. — Иван обрадовался, что она заговорила, заулыбался. — Весь берег обскакали, наорались до хрипоты. У стариков были.

— Зачем?

— Думали, у них ты.

— Бегали зачем, спрашиваю? Не надо за мной бегать, не маленькая.

Она говорила устало, равнодушно, словно не с ним, а с кем-то посторонним. Он больно почувствовал это, замолчал. Еленка медленно — щепочку за щепочкой — клала растопку. Много клала: больше, чем надо.

— Ты это… не сердись, — тихо сказал он. — Нельзя так, понимаешь, не дети.

Она подожгла растопку, прикрыла дверцу.

— Не пойму: прощения просите, что ли?

— Ты где ночевала? — нахмурившись, спросил он.

— А вам что за дело, Иван Трофимыч? — Она впервые посмотрела на него, и он увидел ее пустые, словно высушенные глаза. — Вы мне не свекор, не отец. Что вам-то за интерес?

— Я тебе… муж, — с трудом сказал он.

— Муж? — Она усмехнулась. — Не-ет, не муж. Муж женой не побрезгует, а вы побрезговали. А теперь спрашиваете, где ночевала. Так нашлись добрые люди, приютили, не побрезговали.

В печке с шумом прогорала подтопка. Они оба забыли про нее, они видели только друг друга.

— Зачем ты врешь? — тихо спросил Иван. — Зачем ты выдумываешь, опомнись.

— Выдумываю? — Еленка улыбнулась. — Не-ет, не выдумываю. Адресок могу дать, если хотите…

— Замолчи!.. — крикнул он, что есть силы треснув палкой о стол.

Отскочивший конец со свистом пронесся мимо Еленки. Она еще выше вздернула голову, шагнула к Ивану, уже не помня себя:

— Жалела я вас, убогого! Жалела, понятно? Вы же всех обидеть боитесь, всего боитесь, а туда же: муж!.. Жалкенький вы, блаженненький, только что на коленях не стоите. А ведь стояли бы, если б захотела, стояли бы как миленький, стояли бы!..

Она кричала что-то еще, но Иван уже ничего не слыхал. Кровь отхлынула вдруг от сердца, туго ударила в голову, розовые круги поплыли перед глазами.

— Готово, капитан! — крикнул с палубы Сергей. — Отваливай!

— Веди сам, — тихо сказал Иван, из последних сил держась на ногах. — Я покурю. Покурю только…

Курил он долго. Сергей несколько раз заговаривал с ним, но Иван отвечал односложно, и помощник оставил расспросы. Зачалил катер, спустился в кубрик.

— Что с Иваном?

— Что? — спросила Еленка.

— С Иваном что, спрашиваю?

— А-а. Не знаю.

Сергей посмотрел на нее, пошел к трапу.

— А со мной что? — вдруг спросила она. — Не спрашиваешь? Неинтересно?

— Интересно, — сказал он и полез на палубу.

Иван сидел сгорбившись, опустив плечи. Сергей окликнул его, но тут послали тянуть воз, и Сергей пошел чалиться и до обеда совсем позабыл про капитана. Вспомнил, когда Еленка крикнула снизу:

— Обедать!..

— Обедать?.. — переспросил Иван. — Да, да. Иду.

Он спустился в кубрик, сел на свое место. Еленка поставила перед ним миску, но он отодвинул ее и спросил чаю. Выпив две кружки, впервые поднял на Сергея глаза:

— Я полежу, а? Справишься один?

— Конечно! — Сергей метнулся к дивану, раскинул постель. — Что за вопрос, капитан. Отдыхай.

Он лег, отвернулся к стене и так, не шевелясь, лежал, пока не кончился рабочий день. Слышал, как Сергей чалился, как шепотом уговаривал Еленку идти на занятия, как звенели под их но-

гами ступени трапа, как наконец затихло все; он остался один. Тогда он вылез на палубу и послал за водкой парнишку, что рыбачил с затопленной баржи.

Парнишка смотался мигом. Иван спустился вниз, сел к столу, налил полный стакан и заплакал.

Наутро он с трудом поднялся с постели. Сергей глянул на его серое лицо, свистнул:

— Лежать, капитан. Лежать пластом. Сам справлюсь.

Несколько дней он отлеживался, ничего не ел. Еленка бегала за молоком, Сергей раздобыл где-то меду. Отпаивали его, уговаривали, Сергей гнал к врачу — Иван только тряс головой.

А потом прошло. И ночью Иван сам выбросил за борт поломанный костыль.

…Утром в диспетчерской Ивану сказали, что его срочно просили зайти к юрисконсульту. Зачем, почему — никто не знал.

— Видно, насчет ссуды Никифорову, — предположил Иван. — Директор при мне обещал разобраться.

— Хорошо, если не насчет сена, — тихо сказал Сергей.

Старшего юрисконсульта Ефима Лазаревича

Иван знал с войны: кругленький, седенький, чрезвычайно живой юрист и тогда был точно таким же, как и сейчас.

— Здравствуйте, Иван Трофимович. — Он обеими руками пожал жесткую руку Ивана, подождал, пока тот сядет. — Оторвал от работы — извините великодушно. Служба, знаете!..

Он деловито полез в стол. Порывшись, выудил тоненькую папку, раскрыл ее и, нацепив очки, долго читал какие-то бумажки. Иван сидел, не шевелясь: в крохотном кабинетике стояла строгая тишина.

Ефим Лазаревич закрыл папку, снял очки, задумчиво потер переносицу.

— Как дела у вас, Иван Трофимович? Как «Волгарь» бегает? Вы курите. Курите, бога ради, не стесняйтесь.

Иван закурил, коротко рассказал новости, упирая больше на то, что положение Федора безнадежно и что в семье — семь ртов. Юрист вздыхал, поддакивал, качал круглой, поросшей седым пушком головой.

— Да, Иван Трофимович, да. Большое несчастье, очень большое. А как все это случилось? Знаете, с подробностями, если припомните. Очень важно — с подробностями.

— С подробностями?.. — Иван не помнил никаких подробностей, а то, что помнил, считал незначительным. Передал коротко, как рвануло запань, как удалось ему аккуратно сдать воз: благо, случилось все на развороте и плот сам пошел в Старую Мельницу. — …Ну а Федора — как подрезало…

— Да, — сказал юрист. — Жаль, что подробностей не помните… Значит, у борта стоял Никифоров?

— У самого борта, — подтвердил Иван. — За плотом следил, знаки мне подавал: мне из рубки назад плохо глядеть, не видно.

— А по инструкции где должен стоять?

— По какой инструкции?

— Ну, есть же инструкция по технике безопасности?

— А-а… — Иван силился вспомнить, что сказано в инструкции на этот счет. — Ничего там не сказано.

— Правильно, — почему-то с удовлетворением сказал юрист. — Но, может быть, есть какие-нибудь добавления, приказы?

— Ничего такого нет, — сказал Иван. — А в чем дело, Ефим Лазаревич?

— Дело?.. — вздохнул юрист. — Дело, дорогой

мой, в том, что Никифоров подал иск на возмещение убытков, которые он потерпел.

— Подал все-таки? — Иван растерянно улыбнулся. — А ведь не хотел…

Он замолчал. Ефим Лазаревич опять нацепил очки, раскрыл папку, долго перебирал бумаги. Потом снял очки, потер переносицу и откинулся от стола.

— Иск этот может иметь ход в случае, если вы, лично вы, Иван Трофимович, нарушили соответствующие правила эксплуатации. Поскольку в правилах ничего не сказано, как поступать при прорыве запани, то остается последнее. — Он щелкнул пальцами и опять потер переносицу. — Никифоров, выполняя ваш приказ, находился в опасном, особо оговоренном в инструкции месте. Был такой приказ?

Иван пожал плечами: слово «приказ» как-то не вязалось с теми отношениями, которые были на катере. Каждый делал свое дело, знал его, не отлынивал, и надобности в приказах никакой не было. Он сказал об этом Ефиму Лазаревичу.

— Ну, не приказ, Иван Трофимович, не приказ: распоряжение, указание, совет. Устно, разумеется, устно. Вы не сказали, например, Никифорову: «Стой здесь», когда пошел лес?

— Нет… — неуверенно сказал Иван. — Он сам знал, где стоять. Ведь мне-то из рубки плохо глядеть.

— Ну, а идея, сама идея плотом перегородить реку кому принадлежит? Кто первый сказал, что надо сдать плот? Вы или Никифоров?

Иван долго молчал, раздумывая. Идея принадлежала ему, но он боялся, что если скажет об этом, то Федору срежут пенсию или не выплатят ссуду. С другой стороны, дело касалось суда, а к этому органу Иван относился с огромным уважением. Поэтому он сказал дипломатично:

— Все так решили, Ефим Лазаревич.

— Все решили? Значит, и ответственность — пополам?

— Ответственность?.. — Иван насторожился. — Нет, Ефим Лазаревич, вся ответственность — на мне. Я — капитан, я — в ответе.

Юрист улыбнулся.

— Хороший вы человек, Иван Трофимович. Очень хороший, но не думайте вы о других сейчас, бога ради! Вы думайте, как из неприятности выскочить.

— Неприятности?

— Суд — всегда неприятность. По иску Никифорова ответчиком не может быть признано

предприятие, поскольку оно не отдавало приказ спасать лес. Дело происходило на катере — объекте, так сказать, экстерриториальном, где вся полнота власти принадлежит капитану. То есть вам, уважаемый Иван Трофимович. И вам следует не его выгораживать, а подумать о себе самом.

— Так ведь если виноват, что же думать? — тихо сказал Иван. — Виноват — отвечать буду. Как положено.

— Отвечать… — вздохнул юрист. — За исход суда я не беспокоюсь, но тень он бросит. И не только на вас — на весь коллектив. Мы держим переходящее знамя, рассчитываем на крупные льготы, а тут — это дело. Представляете?.. В каких вы отношениях с Никифоровым?

— Друзьями были.

— Уговорите его забрать иск назад. Дела он все равно не выиграет, только попортит кровь и себе, и вам, и нам.

— С сильным, значит, не судись? — тихо спросил Иван.

— В данном случае — безнадежно. От предприятия мы иск отведем, ну а с вас что он получит? В лучшем случае — двадцатку в месяц…

Иван вышел от Ефима Лазаревича в полном смятении. Вначале он почти согласился с ним,

что было бы лучше, если бы Федор забрал иск обратно, но упоминание о двадцатке сильно поколебало его. Двадцать рублей были для Федора суммой, и Иван готов был пройти через любой суд, только бы Федор ежемесячно мог получать с него эти деньги. Так было бы справедливо, если бы иск не коснулся при этом и других людей. Хотел этого Федор или нет, но своим иском он лишал их приработка, и Иван, понимая это, никак не мог прийти к какому-либо решению. Потоптавшись, он решительно свернул в отдел кадров.

У начальника шла летучка. Иван терпеливо дождался конца, ни до чего не додумался, но довольно ловко пересказал все Николаю Николаевичу.

— Так, — сказал начальник. — А в ведомости у тебя Прасковья дважды в месяц расписываться не забывает?

— Не забывает, — подтвердил Иван.

— А о том, что Никифорову пенсию оформили, знаешь?

— Небольшая она…

— А единовременное пособие считал? А премиальные, что ты им отдал, учел? А то, что местком пятьдесят процентов ссуды на себя берет, слыхал? Ну-ка, возьми счеты да подсчитай, что выходит. А

выходит, — Николай Николаевич смотрел колюче, непримиримо, — выходит, что твой бывший помощник — хапуга и прохвост.

— Несчастный он, Николай Николаич. Калека.

— Раз калека, значит, делай, что душа желает? Вали на капитана, дои государство, как бесхозную корову, марай предприятие? Так?

Иван понуро молчал. Николай Николаевич вылез из-за стола, потирая бок, прошел к графину, запил порошок.

— Живот третий день горит, спасу нет, — сказал он, заметив внимательный взгляд Ивана. — И так двадцать лет одну кашку ем, а порой совсем невмоготу. Угостил меня фриц знатно: всю жизнь помню. Ты кури, чего жмешься. Окно открыто, выдует все.

Иван закурил, ладонью старательно разгоняя дым. Николай Николаевич вернулся на место, спросил вдруг:

— А этот… Прасолов как?

— Хороший работник, — твердо сказал Иван.

— Ну-ну, — не без недоверия проворчал начальник. — Мой тебе совет: иди к Федору и поговори начистоту. Пусть поймет, что потеряет, если будет настаивать. От моего имени сказать можешь твердо: Прасковью уволю к чертовой матери.

И местком не поможет. Ты слово мое знаешь, Трофимыч.

— Знаю, — вздохнул Иван. — Ой, неладно получается!..

У Никифорова дома Иван остановился. Переложил кулек с конфетами в левую руку, правой долго вытирал мокрый лоб: никак не мог решиться постучать в эту до трещинок знакомую дверь.

— Можно, хозяева? — ненатурально бодро крикнул он, заглянув в маленькие темные сени.

В доме было тихо. Иван прошел внутрь, нащупал вторую дверь — в комнаты, постучал. Опять никто не ответил, и он открыл эту дверь и еще раз — все так же бодро — спросил:

— Можно, что ли?

— Кто? — спросили из-за перегородки.

— Я, Бурлаков.

Иван прикрыл дверь и старательно вытирал ноги. Он узнал по голосу Федора, хотя голос этот и показался ему странно приглушенным. Федор больше ничего не говорил, и Иван все тер и тер подошвы о старый, грязный половик. С печи, не мигая, смотрели четыре глаза: старики, не шевелясь, сидели там и молчали, как сычи.

— Ну входи, раз пришел, — с неудовольствием сказал Федор. — Чего ты там?

Иван поздоровался со стариками, но они не ответили. Он прошел в комнату: Федор полусидел на кровати, обложенный подушками. На коленях у него лежал лист фанеры, а на нем — пузырек с клеем и стопка исписанных ученических тетрадей. Сбоку, у стены, спал ребенок.

— Здравствуй, — угрюмо сказал Федор. — Ну, что скажешь?

— Да вот… — Иван растерянно развел руками. — Навестить решил. Детишкам гостинца…

— Гостинец?.. — Глаза Федора странно блеснули, он даже приподнялся на локтях, стараясь рассмотреть, что именно положил Иван на стол. — А мне гостинца не захватил? Нет?

— Ты что это, Федя? — с испугом спросил Иван. — Что, худо? Ты лежи, лежи…

— Восемь пудов поднимал, — задумчиво и спокойно перебил Федор. — Восемь пудов. А теперь — вот!.. — Он подкинул в воздух исписанные фиолетовыми каракулями листы. — Вот, видал? Кульки клею. Копейка — кулек. Кто виноват, а? Молчишь?.. За славой все гнался. Получил славу? Тебе, хромому черту, хорошо: ты один, здоров как бык. А у меня — семь ртов. А я — кульки клею. Кулечки — малину продавать. Заработок — ровно на «Байкал». И то спасибо, свояк помог.

Все занятие, артель «напрасный труд»…

В сенях хлопнула дверь. Федор рванулся.

— Кто?

— Да я, я, господи, — устало и безразлично сказала Паша. Вошла в комнату, увидела Ивана, качнулась, прислонилась к косяку и тихо сказала: — Здравствуйте, Иван Трофимыч…

— Принесла? — заглушив Иванов ответ, нетерпеливо спросил Федор.

— Принесла, — сказала Паша и достала из кошелки четвертинку. — Вот, Иван Трофимыч, все, что даете мне, на водку уходит. Каждый день требует. Каждый божий день…

Она опустилась на стул, все еще держа четвертинку в руке.

— Ну?.. Давай, ну?.. — зло и беспокойно закричал Федор.

— А что делать, а? — тихо продолжала Паша, не обратив на него внимания. — Ведь криком кричит от боли, исходит весь. А выпьет — вроде легче.

— Яд ведь, — сказал Иван. — Губишь ведь, Прасковья, опомнись.

— Знаю, — покорно согласилась она. — Врач специально предупреждал: ни капли.

— Ну давай, чего болтаешь?.. — грубо закричал

Федор.

— Зачем же ты… — начал Иван.

— А что делать? — опять спросила она. — Вы крики его послушайте, хоть раз послушайте. Ведь Ольку уже напугал: плачет она ночами, дергается. Ну что делать, Иван Трофимыч, ну хоть посоветуйте…

— Давай, — крикнул Федор. — Давай, а то такой концерт устрою…

Иван нагнулся к столу, взял из рук Паши бутылку, все до капли вылил в большую эмалированную кружку.

— На!.. — Он резко сунул кружку Федору. — Пей!.. Ну?..

Федор взял кружку, но пить не стал. Глядел исподлобья: кружка дрожала в руке, водка выплескивалась на детские тетради.

— А ведь был мужик, — тихо продолжал Иван. — Восемь пудов поднимал. Характер имел.

— Раздавило меня… — опустив голову, сказал Федор. — Как червя, раздавило…

— Гляди, до чего семью довел, гляди, глаза не прячь!.. Старики на печке шевельнуться боятся, девчонка по ночам плачет, Паша — тень одна осталась. А ты все куражишься, Федор, все ломаешься, безобразничаешь… — Он закурил, отошел

к окну. Крикнул, не оглядываясь: — Ну пей, чего дрожишь? Пей при госте один, если уж и мужика в тебе не осталось!..

Тишина стояла в доме. Ворохнулся на кровати ребенок, почмокал сладко губами и затих. У стола плакала Паша, а Федор не поднимал головы.

— Паш, слышь-ко, — вдруг тихо сказал он. — Ты, это… Ты рюмки бы подала, что ли…

— Федя!.. — выкрикнула Паша и, рухнув к ногам мужа, судорожно обняла их. — Федя! Феденька!..

Федор гладил ее по голове и, шмыгая носом, отворачивался: не хотел, чтобы видели слезы.

— Ну, что ты? Ну, Паша? Ну, неудобно: гость пришел, а ты… Дай-ка нам рюмочки лучше. Рюмочки, огурчика…

— Сейчас, Феденька, сейчас, — с торопливой готовностью сказала Паша, вставая.

Всхлипывая и ладонями вытирая слезы, прошла на кухню. Иван молчал.

Федор повозился, то ли устраиваясь поудобнее, то ли от смущения. Сказал:

— Не сердись, Трофимыч. Не выдержал. Жалко себя стало, силы своей… — Он помолчал. — Ты знаешь… Знаешь, в суд я подал.

— Знаю.

— Ну вот… — Федор вздохнул. — Затаскают

тебя, поди.

— Меня-то ладно. — Иван потушил окурок, вернулся к Федору. — Меня-то ладно, Федя. Тут хуже дело получается. Так получается, что работяг ты премии лишишь. Квартальной премии. А ведь они-то ни в чем перед тобой не виноваты.

— Как?

— На первое место по району вышли. А если суд, то, сам понимаешь, срежут. Знамя-то еще, может, оставят, а премию…

Вошла Паша, принесла две рюмки, тарелку с огурцами.

Мужчины молча чокнулись, несколько торжественно выпили.

Федор сунул в рот огурец, сказал деловито:

— Надо, Паша, к Ефиму Лазаревичу сходить и забрать назад то заявление.

Паша молча посмотрела на Ивана.

— Это свояк нам затмение устроил, — виновато улыбнулся Федор. — Хорошо, до позора дело не дошло. Сходишь, Паша?

— Схожу.

— Ну, молодец, — с облегчением вздохнул Федор. — Умница ты у меня и душа добрая. Будь здоров, капитан, и не сердись: тошно мне, знаешь…

И вновь Иван уходил со смятением в душе. Шел, глядя под ноги, не узнавая встречных, пытаясь понять, не слишком ли дорогой ценой заплатил он, не пустив в Волгу прорвавшийся лес. Ни до чего он так и не додумался, но твердо понял, что не успокоится, пока хоть мало-мальски не наладит Никифоровым жизнь…

Володьку Пронина время от времени озаряли идеи. Были они большей частью пустопорожними, касались усовершенствования торжеств или нового способа подачи заявлений, но Пронин брался за них с такой энергией, что уже во второй инстанции истинный смысл их терялся, а еще выше к ним начинали относиться даже с интересом:

— Инициативный работник.

— Часы! — крикнул Пронин, когда Иван рассказал ему про Федора. — Часы, товарищ Бурлаков! Дело тихое, чистое: сиди себе да колупайся. И ходить не обязательно.

— Да не умеет он часы. Сроду с дизелями.

— Научим. Сегодня же свяжусь с часовой мастерской, попрошу, чтоб прикрепили к нему мастера. Пусть первое время будильники ломает. — Пронин записал что-то на перекидном календаре совсем так, как это делал директор. —

Так. Заметано. Что еще?

— Насчет ссуды. Ссуду бы с него скостить, Володя. Юрий Иваныч дал распоряжение, а по вашей линии…

— Правильно критикуете: текучка заела. Соберу комитет, провернем. Заметано. Еще?

— Все, — улыбнулся Иван. — Кипишь ты, Володя, как ведерный самовар.

— Должность такая, — без ложной скромности согласился Пронин. — Народ раскачивать приходится, идеи бросать. Да, как у вас с новыми обязательствами?

— Мы старые еще не выполнили.

— Не надо за старое цепляться. Вы теперь на виду: именные. С вас и спрос другой. Прошу наметить, обсудить с экипажем.

— Ладно. Ты насчет Никифорова…

— Заметано! — Володька эффектно подал руку: — Ну, трудовых свершений вам, побед и прочее.

«Волгарь» по-прежнему бегал по затону, но Иван, занявшись делами Федора, меньше бывал на катере, и Сергей один мотался из конца в конец. Намотавшись за день, вечером аккуратно шел на занятия: кажется, ему даже нравилась эта непомерная нагрузка. Он был общительнее

Ивана, быстрее сходился с людьми, и вскоре само собой получилось, что его фамилия стала чаще упоминаться на летучках, чем фамилия законного капитана «Волгаря».

В субботу Иван побежал в местком: Пронин все тянул с решением о ссуде. С утра катер нарядили тащить воз, и Еленка решила устроить генеральную приборку. Долго мыла кубрик, выколачивала на корме одеяла, морила клопов, которые нет-нет да и появлялись на катере. Сергей посмеивался:

— Смотри до дыр не промой!

Еленка сухо глянула — они почти не разговаривали — и принялась за трап. Выскребла каждую ступеньку, начала протирать перила и вдруг остановилась: на перилах химическим карандашом были написаны три имени: «ЛЮСЯ, КЛАВА, ВАЛЯ». Еленка хорошо знала этих девчонок — молоденьких кубометристок с запани. Знала и молву, которая ходила по поселку о трех подружках, зазывно голосивших двусмысленные частушки субботними вечерами. Глянула снизу на широкую спину Сергея, ссутуленную над штурвалом, усмехнулась и перенесла тряпку повыше.

В воскресенье Иван надел выходной костюм, сказал, ни к кому не обращаясь:

— К Сашку схожу.

Полез наверх, налегая на поручни. Сергей догнал его уже на палубе.

— Когда вернешься?

— А когда надо?

— Догадлив ты, капитан, — заулыбался Сергей. — Ну, часам к семи, думаю.

Иван коротко кивнул и похромал к носу. Сергей последил, как неуклюже перебирался он на затопленную баржу, как, сильно раскачиваясь, шагал к лестнице, ведущей в поселок: по тропинке он больше уже не поднимался.

Еленка убирала со стола. Сергей помолчал, прикидывая, как начать разговор: отношения были сложными.

— Как день провести думаешь?

— Мешаю, что ли? — не оглядываясь, спросила она.

— Почему мешаешь? Наоборот, предложение имею. — Он замолчал, но она продолжала так же медленно, старательно вытирать стол. — Поедем на острова?

— Вдвоем?

— Шестеро поедем. Компанией.

— Лишняя я в вашей компании. — Еленка прошла в свой закуток, грохнула кастрюлями.

— Глупая. — Он вдруг шагнул, крепко обнял.

Она рванулась, но он не отпустил. Зашептал в ухо: — Разве тебя забудешь?

— Пусти. — Она мягко высвободилась. — Не надо. Прошу тебя. Пожалуйста.

В тоне ее было что-то такое, от чего он сразу перестал настаивать.

— С радостью бы с тобой вдвоем на острова уехал, но — договорился, неудобно. В одиннадцать ребята из рыбнадзора придут. А потом за девчонками заедем. Ну, гуляют ребята с ними, ну, как тут отвертишься?.. — Он помолчал. — Поедем?

— Было бы куда уйти, Сережа, — ушла бы, не оглядываясь…

Гости прибыли точно. Красный, конопатый капитан катера рыбоохраны нес заботливо упакованную от посторонних глаз выпивку и авоську отборных, еще живых лещей. Быстрый, цыганского вида инспектор притащил завернутый в мешковину предмет:

— Тебе, Сергей.

Сергей развернул; это была новая сеть с крестовиной и растяжками: люлька. Мелкоячеистая, почти на три метра.

— Ну, теперь с рыбкой будем! — радостно сказал Сергей. — Теперь — порядок!

Девчонок было двое: Люся и Клава. Худенькая, с лисьим личиком и тонкими, как палки, ногами Люся с визгом бросилась на шею красноорожему здоровяку капитану. Сонная, круглая, как арбуз, Клава держалась степенно: подала каждому руку, покивала и уселась на моторный люк, подобрав толстые ноги.

Сергей гнал катер к островам, мужчины держались в рубке: были они женатыми и, хоть семьи их жили далеко отсюда, все же побаивались молвы.

У дальнего островка Сергей причалил. Мужчины развели костер на мягком, прогретом солнцем песке. Потом дружно, в шесть ножей, чистили рыбу. За обедом мужчины поили девушек портвейном, много было шуток и смеха. Еленка совсем было оттаяла, но тут угрюмый инспектор начал скучно тискать равнодушную Клаву. Рыжий захохотал, хлопнув вертлявую Люську.

— Гуляем, девки!..

Мучительно покраснев, Еленка низко пригнулась, пряча глаза. Сергей встал.

— Пойдем на катер.

На катере он наглухо задраил дверь рубки, спустился в кубрик. Еленка плакала, спрятав лицо в ладонях.

— Ну, чего? — Он тронул ее за плечо. — Брось, дураки они.

— Не уважают. За что? Ну, за что, Сережа?

— Глупости все это, мелочь. Они вообще-то ребята неплохие.

— Ох, как гадко все это, Сережа!..

Она замолчала. За глухими железными стенами чуть слышался неразборчивый визг Люськи, хохот капитана. Сергей сел рядом.

— Вытри-ка слезки, улыбнись. Ну, что ты?.. Ну, хочешь, бросим их тут, уедем?

— Хочу.

— Ну и бросим. — Он повернул ее к себе, поцеловал. — Эх, Еленка, Еленка…

— Ты что? — Она рванулась, вскочила. — Ты что это, а?..

— Дура ненормальная, — со злобой сказал Сергей.

— Не будет этого. Никогда не будет. Никогда, — как в бреду, повторяла она.

— Ну и заткнись! — грубо оборвал он. — Тоже цаца выискалась, девочку из себя строит.

Вылез из кубрика, что есть силы грохнул дверью. Еленка упала на диван, расплакалась в голос, не сдерживаясь.

Когда успокоилась, голосов уже не было слыш-

но: гости то ли дремали, загорая на песке, то ли ушли в глубь острова. Еленка напряженно прислушивалась, пытаясь угадать, где они сейчас, но в кубрик доносился только плеск воды, шуршащий перекат камыша да резкие крики чаек. Потом грохнули по палубе шаги, и на трапе показался Сергей: он нес бутылку вина и тарелку с конфетами.

— Подлизываться пришел, — улыбнулся он.

— Где они?

— Гуляют. — Он хохотнул, не удержавшись. — Природа, Еленка, своего требует.

— Женатые ведь.

— А что им, убудет, что ли?

— И ты таким будешь, когда женишься?

— Я-то… — Сергей налил вина, хлебнул. — Это смотря на ком женюсь. Если муж налево свернул, так в том, Еленка, жена виновата.

— Жена всегда виновата.

— Ну, не скажи. Вот у меня кореш в Саратове… — Он вдруг замолчал, точно вспомнив что-то. — А ты чего не пьешь? Веселей гляди, матрос! Чего там, мир ведь, а?

А глаза никак не хотели улыбаться. Холодные и колючие, жили они отдельно от него — шумного, подчеркнуто веселого.

— Фальшивый ты. — Еленка вздохнула. — Ой, какой же ты фальшивый!

— Ну, что там — фальшивый, фальшивый. Какой есть…

Гости вернулись к ужину: усталые, равнодушные, далекие друг от друга. Мужчины держались особняком: капитан усердно скоблил толстую можжевелину с хитро загнутым корнем; инспектор лег в тень, прикрывшись от мух рубахой. Сергей помогал женщинам с готовкой, таинственно подмигивал, ухмылялся. Еленка злилась, но молчала. Улыбалась, пряча злые глаза, все снесла и выпросила-таки крепкую можжевеловую палку.

— Это — вам, — сказала она Ивану вечером, когда они остались одни в кубрике. — Не знаю, может, коротка.

Иван взял палку, примерил:

— В самый раз.

Равнодушно поставил в угол, начал стелить постель, Еленка смотрела в сутулую широкую спину, молила, чтобы повернулся, чтобы спросил о чем-нибудь.

— Наврала я вам, — тихо, запинаясь на каждом слове, сказала она. — Ни у кого я тогда не была. Просто ревела на берегу до рассвета.

Иван молча снял пиджак, потащил через голову рубаху.

— Вы простите меня, Иван Трофимыч, — еле слышно сказала Еленка.

На секунду он замер, завяз в рубахе. Сказал глухо:

— Ты бы вышла. Раздеваюсь я.

Еленка качнулась, прижала руки к груди. Спотыкаясь, взбежала по трапу.

Иван лег к стене, закрыл глаза. Может, надо было шагнуть к Еленке, шагнуть и обнять, и все бы вернулось, но он сразу же прогнал эту мысль.

Он отрезал Еленку, отрезал по самому сердцу. Нет, совсем не за то, что она в запальчивости наврала ему, не за ложь — за правду: она просто жалела его.

Утром встал с глухой, уже привычной головной болью. Поднялся на палубу: на корме Сергей собирал новую люльку. Иван тупо посмотрел на широко раскинутую сеть.

— Что это?

— Подарок, — горделиво улыбнулся Сергей. — Кончилась наша кустарщина, капитан.

— Закона не знаешь?

— Законы, капитан, для дураков пишут. Для дураков да для судей, когда эти дураки попадаются.

Иван метнулся в кубрик. Выскочил оттуда, молча отстранил Сергея и полоснул по сети остро отточенным ножом.

— Ты что?

— А я — дурак, — запинаясь от ярости, сказал Иван. — Тот дурак, для которого законы пишут.

И опять широко, уже не примериваясь, резанул сеть.

— Не смей!.. — Сергей, не рассчитав, с силой толкнул капитана.

Иван отлетел к борту, ударился о леер. Нож, выскользнув, упал в воду. Иван тяжело поднялся, шагнул к сети, скомкал. Сергей ухватился за другой конец:

— Рыбинспектор дал. Понятно тебе?.. Сам дал, лично!..

— Не дам!.. — Иван, задыхаясь, рвал сеть к себе. — Не позволю!..

— Моя сеть, ясно? Мне подарили! Мне, ясно?..

Тяжело дыша, они почти упирались лбами. Сергей был здоровее и помаленьку, по частям перетягивал сеть, мотал Ивана по всей корме.

— Оставь! Слышишь?.. Добром прошу, — бормотал он.

Иван вдруг бросил сеть и, схватив с палубы тяжелую крестовину, далеко швырнул в воду.

— Вот так-то, Прасолов. Так-то лучше будет. Спокойнее.

— Твою мать… — сквозь зубы выругался Сергей. — Добро, капитан, побеседовали. В жизни этой беседы не позабуду.

— Уходи с катера. — Иван закурил, затянулся, говорил почти спокойно. — Сам уходи. Не сработаемся.

— За бабу считаешься? — тихо спросил Сергей. — Эх, мужик называется! Дерьмо собачье.

Швырнул в воду исполосованную сеть, пошел к рубке.

Навстречу вылезла Еленка.

— Завтракать.

— Идем. — Иван встал. — Я сказал тебе, Сергей. Все.

— Не задержусь, капитан. Теперь не задержусь, не думай!..

Но задержаться Сергею все-таки пришлось: он задумал досрочно выпустить своих радистов. Просьбу встретили недоверчиво, но пошли навстречу: создали комиссию, в состав которой вошли директор, главный инженер и по собственной охоте Пронин.

Группа не подвела Сергея: из пятнадцати выпускников четырнадцать получили свиде-

тельства. Пятнадцатый слушатель — Еленка — не явился на экзамены. Сергею объявили благодарность в приказе и наградили именными часами. Он был очень доволен и ради такого случая закатил на катере торжественный ужин.

— Не откажешься, капитан?

— Можно, — сказал Иван.

Сергей пригласил всю комиссию, но пришли только Володька Пронин да парторг Пахомов. Пронин держался официально, говорил тосты, но быстро опьянел и стал пялить глаза на Еленку. Еленка развеселилась, краснела, закрывалась рукой.

Спьяну Пронин принимал Еленку и Сергея за молодоженов, лез с поздравлениями, журил, что скрыли правду.

— Волжская свадьба!.. — кричал он, требуя внимания. — Катера — все в цветах! Музыка! Народное гулянье!.. Товарищ Прасолов, возродим народные обычаи? Возродим?..

Пахомов пил мало. Вел с Иваном тихий мужской разговор о лесе, заработках, хозрасчете, который в порядке эксперимента хотели ввести на их запани с будущего года. Он не поддерживал этого новшества, хмурился:

— Опять, значит, рубль гнать будем, да? А со-

знательность?

— Без рубля тоже не проживешь.

— Правильно. Но вот мне скажи: хорошо зарабатываешь?

— Хватает.

— Вот. Ты — передовой, ты из премий не вылезаешь. По высшей сеточке пятый год без промаха. Почему? Потому, что ты нам проценты даешь, а мы тебе — соответственно. А при этой самой новой экономике что будет? А то будет, что станешь ты, передовик, получать куда меньше, чем сейчас.

— Почему? — не понял Иван.

— А потому. Сейчас откуда фонд зарплаты идет? Оттуда. — Пахомов важно поднял к темному потолку толстый палец. — Существуют утвержденные ставки, кому сколько полагается. А будет что? Будет фонд зарплаты исчисляться из прибылей, и станем мы его делить на всех чохом. А какой он будет, этот фонд, после всех отчислений? Неизвестно. А ну — запань прорвет? А ну — катер на мель сядет? А ну — еще что? Вот и получится шиш без масла.

— Этого я не понимаю, — вздохнул Иван. — Работать надо хорошо — и запань не прорвет, и на мель никто не сядет…

— Комнату! — вдруг заорал Пронин. — Товарищ Пахомов, сделаем комнату молодоженам?

Иван поднял голову, удивленно посмотрел на Еленку. Она с веселым вызовом встретила его взгляд, и он сразу отвел глаза.

— Комнату? — Пахомов, не понимая, моргал белесыми ресницами.

— Не надо им комнату, — глухо сказал Иван, уставясь в стол.

— Нет, надо! — озорно сказала Еленка. — Очень даже надо!

— Им — не надо, — упрямо повторил Иван. — Старикам лучше дайте. Столько лет на барже…

Разошлись за полночь. Сергей пошел провожать. Еленка, напевая, убирала со стола. Иван начал стелить постель, спросил вдруг:

— Поздравить можно?

— С чем, Иван Трофимыч?

— Ну, с этим… Комнату вон обещали. И вообще.

— Можно, Иван Трофимыч. — В Еленку вселился какой-то бес: хотелось озорничать. — На свадьбу-то придете?

— Ну что ж, поздравляю, — не глядя, сказал Иван и, забыв о постели, тяжело полез на палубу.

— Далеко ли собрался? — спросил Сергей, встретив его у рубки.

— Порыбачить хочу, — хмуро сказал Иван. — Давно не рыбачил.

— Гляди не опаздывай: я завтра с утра занят.

— Ладно. — Иван поковылял к носу. — В шесть вернусь.

Сергей спустился в кубрик. Сказал, усмехнувшись:

— Розыгрыш наш Ивану против шерсти: рыбачить пошел.

— Надоели вы мне, — вздохнула Еленка. — Все надоели. Для себя жить буду. Вот как. Для себя.

Сергей потушил свет, разделся, лег. В кубрике было тихо, только чуть поскрипывал борт, касаясь затопленной баржи. Сергей думал о том, как хорошо прошел вечер, и о том, какой серьезный и деловой разговор вел он, провожая парторга до дома. Завтра начнут ставить на катера рации: дело это поручено лично ему и…

— Спишь?.. — странным приглушенным шепотом спросила вдруг Еленка.

Сергей спрыгнул с дивана…

Два дня Сергей только ночевал на «Волгаре»: устанавливал на катерах передатчики, регулировал, налаживал связь. Он работал с азартом, умел

подчинить людей своей веселой настойчивости. Дело, запланированное на неделю, провернул за двое суток, получил крупную премию, ходил победителем. Резко сократились холостые пробеги катеров.

А Иван жил молчком. Молчком работал, молчком ел, молчком курил на палубе. Он не заговаривал больше об уходе Сергея с катера, понимая, что уходить-то надо ему. Он проиграл эту молчаливую битву за первенство на «Волгаре» и, оставаясь капитаном, фактически был просто третьим лишним. И не было сил бороться. Просто — жил, и все. Тихо жил.

В воскресенье он надел выходной костюм, прихватил новую палку: шел к Сашку. Еленка вручила ему сверток с пойманной накануне рыбой, спросила, когда вернется.

— В семь, — сказал он. — Пойдете куда?

— Не знаю.

— Я к тому, что ногу ломит, — пояснил Иван. — Ломит с вечера. Как бы грозы не было.

— Да какая гроза! — засмеялся Сергей. — Барометр в диспетчерской на великой суши вторую неделю застрял.

— Мой барометр поточнее, — сказал Иван и полез из кубрика.

День был безветренным, сонным, белесым от зноя. С утра на пристани толпился народ: люди собрались в Юрьевец, но рейсовый запаздывал где-то вверху, в Красногорье. Мужчины прели в темных выходных пиджаках, поругивали пароходство, курили. Сергей из любопытства пошел узнавать, вернулся с рыжим капитаном и рыбинспектором.

— А народ-то зря на пристани топчется: рейсового не будет. В Красногорье винт о топляк сломал, при мне диспетчер звонил.

— Ну, Сергей, на тебя вся надежда, — улыбнулся рыжий. — Не срывай нам мероприятия.

— Ты что, капитан? Это тебе не по нашим дебрям ходить: там, в Юрьевце, документы нужны.

— А ты к пристани не швартуйся — и документов никто не спросит.

— Деньгу можно зашибить немалую, — понизив голос, сказал инспектор. — Гляди, сколько рублей на берегу мается.

— Деньги само собой, — нажимал капитан. — Главное — людям помочь: выходной пропадает.

— Это верно… — заколебался Сергей.

— Ой, Сережа, не соглашайся, — вмешалась Еленка. — Нельзя так, не положено! И Иван Трофимыч не позволит.

— Ну, на Трофимыча-то я облокотился, — усмехнулся Сергей. — А вот если в Юрьевце засекут…

— Не засекут, — убеждал капитан. — В Ямском долу отшвартуешься, я проведу.

— Там, между прочим, совхозный сад, — сладко причмокнул инспектор. — Вишни уродились дай бог!..

— Без штанов с этой вишней останетесь, — сердито сказала Еленка: боялась, что Сергея уговорят. — Собаки — как лошади.

— У Лешки все собаки знакомые! — захохотал капитан. — Уж как-нибудь, хозяйка, корзиночку сообразим.

— Уговорил! — крикнул Сергей, заметно волнуясь от принятого решения. — Уговорил, рыжий черт! Командуй погрузку!..

Насажали полный катер. Женщины и дети разместились внизу, где сердитая разнаряженная Шура с нефтянки отвоевала полдивана. Мужчины толпились на палубе, набились в рубку, торчали под окнами: Сергей с трудом видел фарватер.

Капитан нахально собирал деньги: два рубля со взрослого, рубль — с ребенка. Ворчали, но платили: не сидеть же на берегу, ожидая, пока починят рейсовый.

На носу голосисто пели Клава и Люся. На моторном люке обветренные плотовщики азартно рубились в «петуха». Еленка сидела с бабами в кубрике, болтала, настороженно встречая колючие взгляды Шуры.

Над разомлевшей рекой плыло марево. Тяжко было дышать, но «Волгарь» бежал ходко, и свежий ветерок сушил липкий, изнурительный пот.

С остановками одолев крутую лестницу, Иван нашел знакомый дом запертым. Покурил на скамейке у калитки и пошел назад, на берег, потому что идти больше было некуда.

Уже у лестницы он подумал, что своим внезапным появлением нарушит планы Сергея и Еленки. Вспомнил, как предупредительно собирала его Еленка к Сашку: теперь в этом он увидел одно нетерпение. Вспомнил и затоптался: идти на катер было нельзя.

Тогда он, обогнув причалы поверху, выбрался к реке на окраине, возле развалин старой мельницы. Берег был пустынен. Иван снял пиджак и сел на бревно.

Против него торчали в небе клыки грейфера: Васин топлякоподъемник расчищал здесь дно. У борта стояла лодка, на палубе мелькал кто-то:

Иван напряг зрение, с трудом угадал Васю. Видно, молодые собирались на берег или решили испытать новый мотор.

Иван никогда не завидовал ни молодости, ни здоровью, ни силе, но счастью завидовал. Выпадает же такой номер людям, какой выпал Васе и Лидухе. И любовь есть, и дружба, и время пожить, и детей воспитать, и женить их, и нянчить внуков, и спокойно, с достоинством рассчитаться за прошлое в окружении тех, с кем рядом прожил эту жизнь. Об этом и должно мечтать человеку, и завидовать этому не грех, потому что рожден человек для доброго труда и очень простой радости…

Он не обратил внимания на стрекот мотора, а когда очнулся, Вася уже заглушил движок, и лодка мягко ткнулась в берег.

— А мы глядим, кто это сидит? — весело крикнул Вася. — Лидуха вас первая узнала: глазастая она.

— Айда с нами, Иван Трофимыч, — предложила Лида.

— Да что вы! — Иван растерялся, встал, начал надевать пиджак. — Вы молодые, гуляйте, а я так…

— Шагайте в лодку, Иван Трофимыч, — ска-

зал Вася, упираясь веслом, чтобы не сносило корму. — Покатаемся, рыбки половим: я удочки захватил.

— Рыбка-то есть, — улыбнулся Иван и поднял с песка пакет. — Сашку нес, да никого дома не застал.

Перебрались на острова. Ловили рыбу: просто так, для забавы. Собирали ягоды, искали грибы, но не нашли: стояла сушь, и хоть грибам по всем законам полагалось уже пойти, в этом году они запаздывали. Лида сварила уху, позвала обедать.

— Эх, выпить нечего! — вздохнул Вася. — Лидуха моя насчет этого кремень: иссохнешь, пока допросишься. Строга!..

— Это правильно, — тихо сказал Иван. — Вот что значит — жена. Ты, Василий, всегда слушай ее, держись за нее.

Ничего не сказал Иван особенного, но Вася и Лида услышали в этом что-то тревожное. Переглянулись, и Вася упрямо мотнул коротко стриженной головой.

— Скажу я, Лидуха.

— Не надо.

— Нет, скажу! — Вася бросил ложку, уперся взглядом в Ивана. — Надо честно, без обмана. Правду надо вам знать, Иван Трофимыч.

— Ой, зря!.. — вздохнула Лида.

— Обманывает она вас, — твердо сказал Вася. — Еленка обманывает. С этим. С Сергеем.

— Знаю. — Иван еще ниже опустил голову.

Вася растерянно замолчал. Иван хлебал уху, не поднимая глаз и не чувствуя вкуса. Ныла, не переставая, перебитая давним осколком нога.

От чая он отказался. Лег на траву, закрыл глаза. За костром переговаривались шепотом, осторожно звякая посудой: считали, что он спит. А он думал о том, о чем уже все знали.

Холодный ветерок налетел неожиданно, зашуршав в камышах. Иван сразу очнулся. Сел, обеспокоенно обшарил глазами небо: на севере тяжело слоилось сухое рыжее марево.

— Собирайтесь, — сказал он, вставая. — Сейчас шквал ударит.

Втроем побросали вещи в лодку, поспешно расселись, Иван с силой греб, отводя от берега, Вася возился с мотором. Ветер то сникал, то снова прорывался, крепчая раз от разу. По реке пятнами разбегалась рябь…

Первый удар «Волгарь» принял в лоб, как только вышли на середину. Тупо сунулся в волну, не смог вовремя вынырнуть, и вода хлынула через борт. Девчонки с визгом посыпались к рубке.

— Ходче давай! — крикнул рыжий капитан. — Шквал идет.

Сергей до предела отдал сектор газа. Старенький движок с натугой выжимал обороты. Ветер бил в лицо, гасил скорость, прижимал нос к волне. Вода каталась по палубе.

Плотовщики побросали карты. Вытягивая шеи, с беспокойством поглядывали вокруг, прикидывали, сколько осталось до Юрьевца. Степаныч торопливо увязывал на корме корзины, накрывал их клеенкой, а ветер рвал ее из рук, и она флагом развевалась за катером.

— Давай обороты, Сергей, — бормотал рыжий. — До бури бы проскочить.

В кубрике смолкли женские голоса, только испуганно скулил ребенок. Волны ходили вровень с иллюминаторами.

— Тыр-пыр… — хмурился инспектор Лешка. — Тяжело идем.

— Насажали, — сквозь зубы сказал Сергей. — Говорил же…

В кармане у него лежали скомканные рубли, и ругать было некого. Он не боялся, но трезво оценивал опасность: катер не держал волны даже при максимальный оборотах.

— Баллов пять будет, — сказал капитан. — Как

думаешь?

Сергей промолчал. Инспектор выглянул в дверь.

— Эй, девки, вниз ступайте. Мокро тут.

— Да-а, — протянула Люся. — Туда зайдешь — назад не выберешься.

Сергей глянул на щиток и не поверил собственным глазам: стрелка масляного манометра мертво стояла на нуле. Он тупо смотрел на нее, даже протер стекло пальцем: стрелка не шелохнулась. Рядом что-то бубнил капитан, Сергей не слушал: его вдруг бросило в жар. Он бессмысленно глянул на рыжего и рванул сектор газа на себя. Двигатель смолк.

— Ты что? — тихо спросил капитан. — Ты с ума сошел?

— Давление на нуле. — Сергей вытер пот. — Давай в мотор, Сашка.

Катер быстро терял ход. Волна швырнула его в сторону, развернула, положила на бок. Что-то с грохотом покатилось по палубе, в кубрике пронзительно закричали женщины.

— Держи к волне!.. — крикнул капитан, скатываясь по трапу в моторное отделение.

— Баб не пускай!.. — закричал Сергей, всем телом налегая на штурвал.

Женщины, толкая друг друга, с криком лезли по узкому трапу. Лешка спихивал их обратно, хрипло матерился, бил по рукам, рвал платья. А они, теснясь, все лезли и лезли, и от крика их Сергей не слышал голоса капитана из моторного отсека.

Катер заливало водой. Она хлестала в носовой трюм, переливалась в рубку, текла по трапу в кубрик. Ругался Степаныч: корзины смыло за борт, клубника моталась по волнам. Визжала Клавка, со страху взобравшись на крышу рубки.

Капитана швыряло из стороны в сторону в тесном и темном моторном отсеке. Дважды он налетал на раскаленный выхлопной коллектор, прожег новый пиджак, до крови рассадил руку. Вылез грязный, злой.

— Не нашел. Заводи!..

— Нельзя!.. — кричал Сергей. — Двигатель запорем!..

Катер тяжело болтался на волнах. Сергей с огромным напряжением удерживал нос к волне.

— Моряк, твою мать!.. — Капитан рванул Сергея от штурвала. — Пусти! Потопишь всех, сволочь!..

— Уйди!.. — Сергей бросил штурвал, с силой ударил капитана в лицо. — Вон из рубки! Вон! Убью, гад!..

— Заводи мотор!..

Неуправляемый катер сразу же развернуло, положило на бок. Волна ударила в распахнутую дверь рубки, окатила Сергея, рыжего, Лешку. Дико кричали женщины в тесном кубрике. Лешка схватил капитана, оторвал от Сергея.

— Уходи!.. — вытолкал из рубки, крикнул Сергею: — Ставь на волну! Носом на волну!..

И снова с остервенением, со злобой схватился с обезумевшими женщинами.

Шмыгая разбитым в кровь носом, Сергей кое-как выровнял тяжелый, залитый водой «Волгарь», огляделся.

Их снесло назад, к перекатам левого берега. По обе стороны торчали из пены шесты, обозначавшие мели. Волны катились через них, вздымали тучи песка, местами совсем обнажая дно.

Катер терял плавучесть. Неповоротливый и бессильный, он плохо слушался руля, ложился на волну. Пока еще Сергею удавалось ставить его на киль, но вот-вот должен был наступить момент, когда катер не успеет выпрямиться, его накроет, и тогда на поверхности останется только то, что само по себе способно плавать. Сергей дал горючее и включил стартер.

— Назад? — спросил Лешка. — Лучше не пробуй.

— На мель выброшу, — сказал Сергей. — Выброшу на мель, как-нибудь добредете до берега.

Он подождал волны, успел развернуть катер и на гребне ее пошел к берегу, дав двигателю максимальную нагрузку. Дно чиркнуло о песок, катер дернулся, и волна схлынула, оставив его на мели. Сергей заглушил мотор, махнул рукой Лешке:

— Выпускай.

Мокрые напуганные женщины повалили из кубрика. Кричали, плакали, метались по катеру, проклинали Сергея.

Катер болтался на волнах, то ложась на борт, то встряхиваясь, когда подходила волна. Люди цеплялись за железо, друг за друга: палуба качалась под ногами.

— Ну, миленок, погоди!.. — кричала разлохмаченная, в разорванном на груди платье Шура. — Я так не оставлю! Я все напишу куда следует!..

Но паники не было. Плотовщики, Лешка и опомнившийся рыжий капитан быстро навели порядок.

— На берег надо, — сказал Лешка. — Если ветер усилится — перевернет катер.

— Идите. — Сергей безуспешно раскуривал мокрую сигарету. — Тут мелко. Линем свяжитесь — добредете.

— А тебе к рыбам захотелось? — тихо спросил инспектор. — Уйдем, катер полегчает и — хана. Через три дня всплывешь — глядеть страшно будет.

— Вот только — как дойдете?.. — вслух размышлял Сергей, словно не слыша, что говорит Лешка. — Первому с багром надо…

— Ну, веди. Ты — длинный, волна не накроет…

Сергей, обвязавшись линем, первым прыгнул за борт. Волна швырнула к катеру, но он уперся багром, устоял. За ним попрыгали остальные, мужчины несли детей. Брели по грудь, оступались, падали, хлебали мутную воду: только песок хрустел на зубах.

Вылезли на крутой глиняный откос. Лешка и рыжий капитан пытались развести костер: сырые спички, что Лешка принес в кепке, не разгорались, гасли одна за другой. Женщины в кустах отжимали мокрые платья, кутали ребятишек. Плотовщик достал чудом сохраненную сухую папиросу, отдал Сергею:

— Держи, парень. Не знаю, как ты один назад дойдешь.

Сергей понял, что возвращаться придется. Буркнул, пряча вздох:

— Доберусь.

Он отдал недокуренную папиросу, взял багор.

— До людей дойдете — шумните там. Долго не продержимся.

— Будет сделано, парень.

Сергей на заду сполз с обрыва, побежал по мели, держа багор наперевес. Он бежал от отчаяния, чувствуя, что вот-вот, еще минута — и остатки решимости окончательно покинут его. Волны били в лицо, дно уходило из-под ног. Он падал, отплевываясь, поднимался, снова шел и снова падал. В двух шагах от катера его сбило с ног огромным раскоряченным пнем, затянуло под него, поволокло по грунту. В ужасе он бился под цепкими корнями, выпустил багор, но вылез, встал и, почти теряя сознание, уцепился за леер залитого водой «Волгаря». Прижался грудью к ржавому борту, закрыл глаза. Волны били в спину, перекатывались через голову, ноги подбрасывало, тянуло под киль, но теперь он был спасен и отдыхал, копя силы, чтобы взобраться на палубу.

Он не расслышал голоса, но почувствовал руки, которые тянули его вверх, на катер. Подняв голову, увидел Еленку: мокрые патлы, расцарапанное в кровь лицо, раскрытый в крике рот. Он кое-как взобрался на танцующую палубу, не смог

встать и пополз по скользкому железу. Еленка тащила его за пояс, падала, когда сбивала волна, и все говорила и говорила, и он опять не слышал ее. В рубке он поднялся на ноги, и они плотно задраили дверь.

— Сережа! — Плача, она целовала его мокрое лицо. — Я знала, что вернешься за мной, что не бросишь!..

— Ну, ладно, — сказал он и сел на рундук, усадив ее рядом. Катер швыряло, и они катались, как ваньки-встаньки. — Ты чего с нами-то не пошла?

— Так ведь кубрик залило. Постели мокрые, хлеб, крупа — все мокрое. Пока прибралась — вы уж за борт попрыгали. Я испугалась сперва, а потом поняла, что вернешься, что не бросишь меня тут.

— Да. — Теперь Сергею казалось, что так оно и было. — Я глянул там, а тебя нет. Ну, и… И катер оставлять нельзя, не положено, под суд пойти можно. Да не реви же ты, господи! Спасут.

— Я не от страха реву, Сереженька, я — от счастья. Ведь не верила, что любишь, совсем не верила, дура проклятая. А ты едва не утоп из-за меня!..

Катер снова кинуло на бок, Еленка слетела с рундука и осталась стоять на коленях перед ним.

— Где поцарапалась?

— Это? — Она коснулась щеки и засмеялась. — Это Шурка меня угостила. Помнишь, толстая эта, с нефтянки?

— Да… — сказал он. — Много воды в кубрике?

— Много. Сверху налилось и, по-моему, с машин течет: переборка старая, в щелях вся.

— Отливать надо. — Он отстранил ее, встал, держась за стену. — Давай-ка работать.

Долго отливали воду, но убывала она медленно: волны по-прежнему захлестывали катер. А потом пошел тяжелый густой дождь, и Сергей с остервенением швырнул ведра: отливать было бесполезно.

Рация не работала: то ли разболтало ее от качки, то ли залило аккумуляторы. Сергей попытался было наладить ее, но бросил, ничего не добившись. Сидели в сумрачном кубрике, забравшись с ногами на диван, кутались в сырые одеяла. Ветер не утихал, катер валяло с боку на бок, плескалась вода в кубрике, заливая диваны. Еленку мутило от болтанки, усталости и голода.

Грузный топлякоподъемник тоже било и раскачивало, клыки грейфера лязгали над палубой. Но суденышко было хорошо расчалено, якоря прочно держали грунт, и Вася не беспокоился.

Пили чай в теплой, чистенькой комнатке, нахваливали мотор:

— На веслах ни за что бы до шквала не выгребли. Сила мотор, а, Иван Трофимыч?

— Мотор добрый, — соглашался Иван: его тревожило, догадается ли Сергей зачалить корму. — Как бы катерок мой о баржу не побило…

— Напрасно переживаете, Иван Трофимыч. Помощник у вас опытный, сообразит.

Досидели до вечера, когда пошел дождь и волнение чуть утихло. Иван попросил лодку: не терпелось глянуть на катер. Вася с Лидой попытались его отговорить, но Иван был непреклонен.

— Съезжать пора, хозяева дорогие. Загостился. А лодку утречком доставлю, не беспокойтесь.

— Ладно, сам отвезу, — сказал Вася. — Достанька, Лидуха, плащи.

Лодку швыряло по волнам, но мотор выгребал легко, и Вася умело держал курс. Вода звонко хлестала в нос, брызги разлетались в воздухе: шли сквозь сплошную завесу. Плащи сразу намокли, коробом оседлав плечи. Вася радовался:

— Сила мотор, Трофимыч!..

Волны перекатывались через баржу, били в берег. «Волгаря» не было. Вася растерянно оглядывался:

— Куда же это Сергей подался?

Берег прятался в густой пелене дождя. Спросить было не у кого.

— Правь к «Быстрому»!..

«Быстрый» стоял в затишке за тяжелым корпусом плавучего крана. Подошли. Вася зачалил лодку за леер, Иван поднялся на палубу. Долго стучал в задраенную дверь рубки. Наконец она с лязгом приоткрылась — на пороге стоял сонный моторист.

— Иван Трофимыч?.. — Он обалдело моргал, словно не веря глазам. — А «Волгарь» где?

— Не знаю, — сказал Иван. — У тебя хотел спросить…

— Это да! — удивился моторист. — Да он же в Юрьевец утром пошел. Я думал, вы повели… А тут люди болтают, что потоп в устье…

— Кто потоп?

— Да катер ваш. Может, врут.

— А ну, Петр, заводи «Быстрый». Где Антон Сергеич?

— Капитан на берегу, а завести не удастся, Иван Трофимыч. На ремонте стоим, головку с блока сняли, завтра перебирать…

Иван, не слушая, уже хромал по палубе. Слез в лодку, глянул ошалело:

— Несчастье, видать. Петр говорит, потоп, мол, катер. В устье потоп, на перекатах.

— Да что вы, Иван Трофимыч…

— Давай, Вася. Христом-богом прошу: давай туда сбегаем. На ремонте «Быстрый».

— Как же, Иван Трофимыч?.. Это ж часов шесть ходу. И бензину не хватит.

— Люди ведь там, Вася! А бензину мы в Козловке достанем, на шестом «Гансе». У них бочка целая, сам на прошлой неделе возил. Надо ведь, Вася!

Гнали на максимальных оборотах. Теперь ветер дул в лицо, сек дождем: невозможно было смотреть. Вася щурился, отворачивал голову, теряя из виду нос лодки. Иван курил папиросу за папиросой. По мокрой спине барабанил дождь.

Так шли они часа полтора. Уже показались сквозь сплошную завесу дождя первые избы Козловки, когда раздался вдруг мокрый треск и лодку рвануло куда-то вверх. Взревел на мгновение выкинутый в воздух мотор, все стихло, и Иван очутился в воде. Вынырнул, ослепленный, оглушенный, не соображая, что произошло. Сапоги, мокрый плащ, одежда тянули вниз, волны накрывали с головой. Он увидел перед собой треугольную бревенчатую платформу бакена. Подплыл, загребая из последних сил, кое-как взо-

брался, вцепился в пляшущий на волнах бакен.

— Василий!..

Его рвало, бил кашель, выворачивало грудь. Передохнув, огляделся: ни лодки, ни весел, ни обломков. Только черный огромный топляк танцевал невдалеке на волнах, то показывая толстый комель, то вновь скрываясь под водой.

— Василий!.. Василий!..

Вроде мелькнула в мутной бешеной круговерти белая Васина голова. Вроде плыл он размашистыми саженками к берегу, но, как ни всматривался Иван, толком разобрать ничего было нельзя. Вода, вода, одна вода была кругом, и то ли Васина голова, то ли просто пена мелькает на поверхности — понять невозможно.

Вот и все. И не цепляйся ты больше за мокрый холодный бакен задубелыми руками. Даже если стерпишь, если удержишься до случайной лодки, как посмотришь в глаза Лидухе? Как глянешь в глаза людям, капитан неизвестно где потопленного катера? Почему ты еще живой, когда злая вода таскает по дну Еленку и Васю?

Но, видно, жила в нем сила посильнее этих мыслей. Трясся в ознобе, стонал. А держался крепко, изо всех сил держался.

Сняли через час. Вася — в телогрейке с чужого

плеча — с трудом разжал закостеневшие пальцы. Перетащили в лодку, силой открыли рот, влили спирту. Иван очухался, огляделся, спросил:

— Вася?.. Живой?..

— Живой, Трофимыч, живой!.. — смеялся Вася. — Не чаял вас на бакене найти. Кошку мужики захватили да багры. Там искать думали. Фельдшер вон по берегу бегает: откачивать вас собрался.

Двое мужиков из колхоза имени Первого мая, усмехаясь, покачивали головами. Они и радовались, что спасли человека, и осуждали Ивана, что полез в бурю на утлой лодчонке, словно неопытный горожанин.

— Лодку-то утопили. Жалко, а?..

— Топляк проглядел. А жалко — чего жалеть-то теперь? Главное, вы живы, Иван Трофимыч, а лодку наживем. И мотор достанем: мужики говорят, тут метра три глубина, не боле.

— Про катер мой не слыхал?

— На мель он сел, Трофимыч, — сказал один из мужиков. — Аккурат на перекате, что по левому берегу. Там они его, значит, и оставили, а сами до берега добрели и подались вроде в Ольховку.

— Все сошли?

— Слыхал, все.

— Ой, туда мне надо, мужики, — забеспокоился Иван.

— Водки тебе надо, — улыбнулся второй. — Вышить водки и залечь на печи под тулупом. А туда мы сами сходим. Вот затишеет чуток — и сходим…

Стихло только к утру. Колхозный катер вышел из Козловки с рассветом; Ивана не взяли, как он ни настаивал. Его еще бил озноб, он лежал в медпункте под двумя тулупами, и председатель колхоза ехать ему запретил.

«Волгарь» был залит водой. Еленка и Сергей с ночи дрожали в холодной рубке. Катер огруз, влез в песок, и спасателю сдернуть его не удалось. Надо было идти за подмогой, и капитан забрал Еленку с собой: Сергей наотрез отказался покинуть судно. Попросил только оставить курево.

«Волгарь» сдернули двумя катерами, да и то после того, как откачали воду. К полудню отбуксировали в затон, подвели к барже. Иван сам принял чалку, закрепил, молча полез в моторное отделение.

— Заклинило, — сказал Сергей. Он сидел наверху, на трапе, свесив ноги в моторный отсек.

Иван попробовал провернуть двигатель ломиком за маховик. Вис всей тяжестью, согнул ломик

— двигатель не провернулся.

— Я же говорю: заклинило, — повторил Сергей.

— Под суд пойдешь, — негромко сказал Иван и полез наверх прямо на Сергея.

Сергей вжался в стенку, пропустил. Иван прошел на нос, с грохотом откинул люк. Из кубрика выглянула испуганная Еленка.

— Молчит?..

— Через час вернусь, — вдруг сказал Сергей и спрыгнул на берег как стоял, в мятых рабочих штанах, грязной рубахе.

Он почти бежал по берегу, и злоба душила его. Ему пригрозили, угроза была реальной, и теперь в дело вступали другие законы.

Ему повезло: Пахомов был на месте и — один. Сергей почти оттолкнул секретаршу, застрявшую в дверях. Ввалился грязный, задыхающийся. Пахомов строго сдвинул брови, указал на стул.

Рассказывать Сергей умел. Он ничего не скрывал: ни того, что пошел в рейс без разрешения, ни того, что загубил мотор, ни того, что первым спрыгнул за борт тонущего катера. Но про деньги не сказал ни слова, и все выходило так, словно действовал он если и не совсем по закону, то все же из добрых побуждений.

Пахомов слушал молча, по-прежнему строго на-

супив брови. Молчание его очень пугало Сергея: он стал увядать, вязнуть в рассказе, повторяться, но тут парторг неожиданно начал проявлять любопытство, перебивать вопросами, и Сергей, воспрянув, ловко и стройно закруглил покаяние, вызвавшись оплатить ремонт из собственного кармана.

— Зарплаты не хватит, — нахмурился Пахомов. — Пустое обещание.

— На книжке есть, — заверил Сергей. — Производство не должно страдать от моего легкомыслия.

— Правильно, — сказал Пахомов. — Это ты правильно рассудил, одобряю. Я понимаю, действовал ты активно. Сам в воду полез, людей на берег вывел. Все это в плюс тебе, но могут быть серьезные нарекания. Жалобы. А если жалоба в письменном виде — сам понимаешь, не откликнуться не имеем права. Вот и соображай.

— Спасибо, Павел Петрович, — с чувством сказал Сергей. — Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил. Нет, вы не подумайте чего: за то, что напортачил, отвечу. По всей строгости, сознаю. А с души вы у меня груз все-таки сняли. Спасибо вам за это большое.

Он уже шел к дверям, когда Пахомов остано-

вил его:

— А Бурлаков что думает?

— А что ему думать, Павел Петрович? — как можно проще спросил Сергей. — Он ведь не ходил с нами, он тут ни при чем.

— То есть как это ни при чем? Он капитан, он за все отвечает.

— Так-то оно так, но ведь формально…

— Ну ладно, поглядим. Иди действуй. Не задерживаю.

Сергей на цыпочках вышел из кабинета и тихо притворил за собой дверь.

Он вернулся на катер и весь день вместе с Иваном прокрутился в моторном отделении. Вычерпали воду, досуха тряпками протерли днище. Двигатель не трогали: до прихода комиссии не велено было к нему касаться. Еленка шуровала в кубрике.

Работали молча. Раз только Еленка заикнулась насчет обеда, но Иван хмуро сказал:

— Не заработали.

К вечеру кончили. Иван хотел было заняться палубой, но Сергей решительно отказался:

— Дела у меня.

Иван не спрашивал, что за дела. Прошел на палубу, ковырялся там один: только грохот стоял.

Сергей спустился в кубрик. Еленка протирала пол, высоко подоткнув короткую юбку.

— Дела, Еленка. Действовать надо, а то навесят нам, что и в жизнь не разогнешься.

— Скоро вернешься?

— Постараюсь. А что?

— Ничего. — Она улыбнулась. — Скучать буду.

— Ну, поскучай. — Сергей переоделся, сунул в карман деньги и вышел.

Он не хотел расспрашивать Ивана, да и встречным опасался прямо ставить вопрос: юлил, балагурил, выпытывал и вызнал-таки нужный ему адрес.

В ответ на стук долго брехала собака. Потом послышались шаги, приглушенный голос спросил:

— Кто?

— С «Волгаря»! Сергей Прасолов. По делу.

Калитка приоткрылась, и в щели показалась массивная фигура Степаныча. За спиной яростно билась на цепи собака.

— Чего тебе?

— Поговорить.

— Не о чем нам говорить.

Он хотел захлопнуть калитку, но Сергей подставил ногу.

— Долг за мной, Степаныч. Клубнику ты по

моей вине утопил. Совесть велит рассчитаться.

— Совесть?.. — Степаныч захохотал. — Ну, проходи.

Прошли в дом. Толстая жена в упор смотрела на Сергея и только моргнула в ответ на его: «Добрый вечер, хозяюшка».

— Ну, садись, — сказал Степаныч. — Значит, прищучило начальство?

— Начальству об этом знать не положено, — улыбнулся Сергей. — И если договоримся, то и беспокоить его не будем.

— Смотря как договоримся…

— По совести. — Степаныч был калач тертый, и Сергей держал ухо востро. — Во сколько убытки ставишь?

— Во сколько?.. — Степаныч прикидывал, как бы не продешевить. — Ну, это как считать…

— Клубники две корзины, — вдруг быстро сказала жена. — Одна к одной ягодки, перебранные…

— Не мешай! — прикрикнул Степаныч. — Ступай вон на кухню да жрать мне приготовь… С работы я, — пояснил он, когда жена вышла.

— Значит, в самый цвет угадал, — сказал Сергей и выудил из кармана бутылку.

— Полагаешь, что договоримся? — усмехнулся Степаныч.

— Начальство тебе убытки не оплатит, это ты и сам понимаешь. А я — оплачу.

— За что?

— За что? — Сергей прикурил, раздумывая, стоит ли играть в открытую. Решил рискнуть: мужик был жадным. — За то, чтобы начальство не беспокоить.

— Полста.

— Ого!..

— А ты как думал? Клубника — раз. Костюм праздничный измарал — два. И мое беспокойство тоже не задаром.

— Любую половину.

— Четвертной, значит. Нет, парень, поищи дураков. Мы тоже понимаем, что ты ко мне прискакал…

Торговались долго, зло, как на рынке. Столковались на тридцати, клянясь друг другу забыть эту историю.

Стемнело, когда Степаныч вышел проводить гостя. Отогнал пса, отпер многочисленные засовы, сказал вдруг:

— А кто-то обещался мне борщ за шиворот вышить…

Захохотал тоненько, торжествующе. Огрел Сергея по спине жирной рукой.

— Погоди еще!.. — Сергей тоже захохотал. — Погоди, может, еще и вылью!..

— Нет уж, не выльешь! — заливался Степаныч. — Все, продал ты свою выливалку за тридцать целкачей!

* * *

Утром пришла комиссия: представитель главного инженера, молодой мастер из ремонтных мастерских и капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. Иван хотел поговорить с ним, но держался Антон Сергеевич официально:

— Поглядим. Лишнего не напишем.

Лишнее и не понадобилось. Согласно акту авария произошла по вине экипажа: сорвало штуцер масляного фильтра.

— Согласны, Иван Трофимыч? — спросил представитель главного инженера.

— Моя вина, — сказал Иван.

— Тогда подпишите.

Иван подписал. Комиссия удалилась, приказав готовить двигатель к монтажу. Двигатель готовить Иван не стал, а полез в кубрик за клюкой. Вылез, сказал, не глядя:

— Я — к старикам. Вернусь поздно.

— Вот мы и опять одни, — сказала Еленка. — До самой ночи одни.

— Поскучать тебе придется, Еленка, — вздохнул Сергей. — Дела у меня, понимаешь…

— Может, отложишь?

— Нельзя. Земля под нами колышется.

Она молча смотрела, как он бреется, как надевает праздничный костюм, как старательно причесывается перед зеркалом, и в сердце ее возникла тревога. Подошла вдруг, обняла:

— Не уходи, Сережа.

— Не могу. — Он мягко высвободился. — Нельзя, Еленка. Надо, чтоб комар носа не подточил.

— Когда вернешься? — угасшим голосом спросила она.

— Вернусь?.. — Он задержался на трапе. — Не хочу обманывать: поздно. Ночью приду, не жди.

Сергей ушел, прогрохотав над головой ботинками. Еленка села к столу и тихо заплакала.

Дом пять, с палисадничком… Вот он, такой же, как все на этой улице, только наличники попроще. Те же тюлевые занавески, те же фикусы да столетники.

Сергей очень не хотел входить в этот дом. Это было во сто крат хуже, чем пить со Степанычем водку.

— Шура дома? — с наигранной небрежностью спросил он у тощей, пронзительно любопытной хозяйки, без стука войдя в дом.

— До-ома, — неторопливо протянула она, в упор разглядывая его. — Вон в ту дверь…

Он постучал и, не ожидая ответа, приоткрыл дверь.

— Можно?

Шура сидела на широкой, как телега, деревянной кровати и ложкой хлебала кислое молоко из большой кастрюли. Увидев его, она словно окаменела. Он плотно прикрыл за собой дверь, блеснул зубами:

— Приятного аппетита!

— Ты зачем? — Она поискала, куда поставить кастрюлю, и поставила ее на пол у кровати. Ложка, звякнув, утонула в простокваше. — Ты чего тут?

— Соскучился, — с вызовом сказал он и сел на единственный стул у тумбочки, заставленной флаконами и баночками. — Не прогонишь?

Она молча смотрела на него, часто моргая короткими ресницами. В старательности, с которой она пыталась сообразить, как он здесь оказался, было что-то детское. Сергей не дал ей опомниться:

— Тоска меня заела, Шуренок. Такая тоска, что хоть криком кричи, честное слово. Думал я, думал и надумал к тебе прийти, прощения просить. Обидел я тебя, очень обидел, знаю. Черт возьми, как это получается? И не хочешь, а иной раз не справишься с настроением, обидишь хорошего человека, а потом локти кусаешь… Один я тут, Шурок, совсем один, чужой, понимаешь?

Он говорил приглушенно, мягко, жалостливо: ворковал. Шура слушала не слова, а голос, который звучал все тише, все печальнее, и сердце ее уже сладко и тревожно замирало в груди. Сергей взял ее руку, погладил; не вырвалась, только спросила деловито:

— Тебя хозяйка видела?

— Тощая такая? Как селедка?

— Тебе уйти надо, — озабоченно сказала она. — Я потом проведу, если хочешь.

— Боишься?

— Если бы ты на мне жениться собирался, мне бы наплевать на них было. А так, когда гуляем просто, нельзя. В день на всю улицу ославят.

Он вышел, демонстративно распрощавшись с хозяйкой. До вечера они гуляли по берегу, а когда стемнело, Шура провела его в комнату. Здесь он грубо обнял ее, а она только шептала:

— Тише. Стенка тонкая. Тише…

На катер возвращался с рассветом. Шагал, задыхаясь от омерзения, тер лицо. На берегу разделся до пояса, долго мылся, скреб грудь песком. Одевшись, босиком прошел на катер. На носках спустился в кубрик, шагнул в свой угол…

…Утром он опять побежал к Пахомову. Долго ждал, пока можно будет потолковать с глазу на глаз. Курил в коридоре, прятал от знакомых лицо, думал.

Он отвел возможные удары. Два пассажира «Волгаря» имели основания посчитаться именно с ним, но он блокировал их действия. Конечно, не исключено, что напишет кто-нибудь еще, но та жалоба уже не может быть направлена лично против него, против Сергея Прасолова.

Он ни словом не обмолвился об этом с Пахомовым. Поговорили о заключении технической комиссии, о возмещении убытков. Пахомов не расспрашивал, держался настороженно, и Сергей снова грубовато порадовался:

— Посоветуешься с вами, Павел Петрович, и словно камень с сердца. Легче дышится. Действовать хочется, Павел Петрович, честное слово!..

— Ну, ну, ты не очень-то это… словами бросайся, — сердито сказал Пахомов, но улыбку

сдержать не мог.

— Неужели вы во мне сомневаетесь? — как можно проникновеннее спросил Сергей. — Я знаю, чем грех замаливать. Знаю и выполню.

— Вот это — разговор! — с удовольствием сказал Пахомов и впервые за два свидания пожал Сергею руку. — Действуй, товарищ Прасолов.

И опять, как в тот раз, спросил об Иване, когда Сергей уже выходил из кабинета. Спросил просто, как бы между прочим, но Сергей уловил в его тоне оскорбленное самолюбие:

— А Бурлаков, конечно, занят по горло?

— Да не сказал бы, Павел Петрович, — рискнул Сергей. — Вчера, например, к шкиперу на баржу с обеда ушел.

— А посоветоваться — времени нет, — с неудовольствием сказал Пахомов. — Ну-ну…

И было в этом привычно служебном «ну-ну» что-то такое, что Сергей на миг пожалел о своих точно рассчитанных словах.

Никто не хотел заводить «дела», но оно завелось словно само собой. В пятницу назначили общее собрание.

— Насчет того, за так возил Прасолов или за денежку, нету у меня мнения, — говорил капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. — Кто говорит — да,

кто помалкивает, а кто наоборот: на общественных, мол, началах.

Зал клуба был набит до отказа. Вел собрание Пронин.

— Так что будем считать — за совесть вез Прасолов…

— Точно! — пробасил Степаныч. — Именно что за совесть!

Захохотали:

— Степаныч у нас — первый спец насчет совести!

— Так и считаем, — продолжал Антон Сергеевич. — И все-таки по-разному Бурлаков и Прасолов провели то воскресенье, и вина у них разная. Прасолов оставался за капитана, он и виноват в первую голову. А Бурлаков не сумел правильно воспитать экипаж, вот как я полагаю. Что скажешь, Иван Трофимыч?

— Вину свою полностью признаю, — с места сказал Иван. — Обязуюсь прощение заслужить.

— К дате! — крикнули из зала.

— Что? — спросил директор.

— К дате! Ну, какая там на очереди?

— День кино!

— Давай, председатель, закругляй! Все ясно-понятно!

Сергей прошел к трибуне и долго молчал, облизывая пересохшие губы. В голове путалось, ощущение чего-то непоправимого мешало говорить. Он понимал, что надо ломать возникшее у собрания представление о его личной вине. Он все продумал, он твердо знал, что в самом начале должен удивить людей, а уж потом поворачивать их в нужную ему сторону. Он продумал все и все-таки боялся…

— Надо быть честным, — глухо, словно сквозь стиснутые зубы, сказал он. — Честным перед коллективом, перед своими товарищами. Тут одним признанием не обойдешься, тут нужно все как на ладони. В прятки играть с вами я не хочу и не буду.

Собрание насторожилось. Легкий говорок, летавший по залу, притих: слушали напряженно.

— Я виноват не столько в том, что вы знаете, сколько в том, что от вас скрыл! — вдруг выкрикнул Сергей.

Он прошел к президиуму и положил на стол горсть скомканных рублей.

— Что это? — удивился Пахомов.

— Я вез за деньги. Я использовал катер в целях личного обогащения. Мне стыдно, товарищи!..

Гул прошелестел по рядам, и собрание опять

смолкло.

— Я ночей не спал. Я думал: кого мы обманываем, товарищи? Мы себя обманываем. Мы себе врем, товарищи!

Вновь пробежал гул, на этот раз недоуменный. Сергей поднял руку.

— Сейчас все расскажу. В начале работы моей на «Волгаре» пошли мы заправляться. И я, я лично сделал так, что получили мы одно масло. Сделал потому, что у «Волгаря» перерасход по топливу свыше двух тонн. Было это, товарищ Бурлаков?

Иван привстал, провел рукой по лицу и снова сел. А Еленка, сидевшая в другом конце зала, поспешно закивала.

— Пойдем дальше. По ведомости на нашем катере числится четыре человека. Зарплата идет четверым, а работают трое. Один из матросов — фигура фиктивная, он только в ведомости расписывается, а работать никогда, ни часу еще не работал! Так ведь это же обман, товарищи!..

Гулом взорвался зал, и опять Сергей притушил этот гул, подняв руку. Теперь он держал собрание в своих руках, теперь от него зависело, куда и как повернуть.

— А теперь — самое главное. Купил известный вам шкипер Игнат Григорьевич телку, и понадо-

билось телке сено. И вот в следующее воскресенье взяли мы катер, пошли к Луконинoй топи и выкосили там всю траву. Всю, под бритву! Погрузили, пошли назад, а нас колхозники перехватили. Но и тут нам удалось уйти и свалить это ворованное сено на барже у шкипера для прокорма его личной скотины! Нас судить надо, товарищи!

Последние слова утонули в шуме:

— Бурлакову слово! Пусть объяснит!..

— А с травой решать надо, товарищи! Это — не шутка!..

— Что же ты, Прасолов, раньше молчал? Думал, сойдет?

— Тише, не кончил он еще…

— Он еще скажет! Он еще отчудит!..

— Тихо, товарищи, тихо!..

С трудом успокоили зал. Сергей залпом выпил стакан воды, продолжал:

— Вот в чем я повинен. И хочу точку на этом поставить. Хватит, товарищи! Жить надо честно!..

Опять поднялся шум. Сергей не пошел на свое место, а сел в первом ряду, в уголке. Пронин перекричал гул:

— Слово предоставляется Бурлакову!..

Стихло в зале. Иван медленно поднялся, долго шел по проходу. Стал возле стола, растерянно

оглядел зал.

— Все правильно.

И замолчал. И собрание молчало, ожидая, что он еще скажет. Потом Пронин спросил:

— Все, Иван Трофимыч?

Иван посмотрел на него невидящими глазами, тихо сказал:

— Подлец он. Неужели не видите?

В зале зашумели:

— Что он сказал?..

— Громче, Трофимыч!..

— Я говорю, что Прасолов подлец, — громко сказал Иван. — Никого не щадит: ни стариков одиноких, ни Пашу. Разве ж можно так? Разве можно за счет чужого несчастья?.. Да волк он!..

— Давайте без оскорблений, — сказал Антон Сергеевич. — Вину свою признаете?

Иван крепко сжал челюсти. Глянул через плечо:

— Нет.

— Как нет?.. Сам же только что сказал, что правильно…

— Все правильно, а вины моей нет, — упрямо повторил Иван. — Нет моей вины, не признаю.

И, шаркая, пошел на место. В зале молчали.

— Странно мне Бурлакова слышать! — вскочил

вдруг Антон Сергеевич. — Знаю его давно, считал, что хорошо знаю, а выходит, не знаю совсем. Удивил ты меня, Иван Трофимыч. У тебя получается, что правду товарищам сказать — подлец, а сено украсть у колхоза — друг!

И сел на место. Сергей с облегчением расправил плечи и откинулся к спинке стула. А собрание попрежнему помалкивало. Пронин оглядывал зал.

— Ну, товарищи, кто хочет высказаться?..

— Я хочу высказаться, — сказал Николай Николаевич.

Он не пошел к трибуне, а, выйдя к рампе, остановился против Сергея. В зале вдруг стало очень тихо, и в этой тишине Николай Николаевич негромко спросил:

— Почему вы уволились из Саратовского порта, Прасолов?

— Я уволился по собственному желанию.

— В середине навигации?

— Смешной вопрос! — крикнул Сергей. — Захотел и уволился!..

— Я все равно выясню это, Прасолов. Выясню! — Николай Николаевич повысил голос — А вот к Бурлакову у меня вопросов нет. Я Бурлакова с детства знаю. И вы знаете!..

— Точно! — восторженно и звонко крикнул

Вася и зааплодировал.

В зале зашумели, а к столу уже шел угрюмый бригадир плотовщиков Андрей Филиппыч. Стал рядом с трибуной, привычно расставив ноги, нахмурился.

— Трофимыча не оправдываю. Нет. Дров, понимаешь ли, много. Наломал, значит, без надобности. Солярка, значит, и матрос этот. Так. Опять же — сено. Вот главный вопрос! Моя скотина или колхозная — она все одно по несознательности жрать просит. А корма где?

— Не о кормах же у нас вопрос, Андрей Филиппыч, — сказал Пахомов. — Давай ближе к теме.

— К теме?.. — Плотовщик вздохнул, потопталася. — К теме, что ж, все ясно. Не оправдываю. Нет. Только вопрос: для кого Трофимыч старался? Для себя?..

Зал неожиданно рассмеялся.

— То-то вот и есть. Осудим мы его, конечно. И правильно. А только так скажу: если мне, не дай бог, нужда какая припрет, так я не к тебе, парень, побегу, хоть ты тут рвал на грудях тельняшку. Я к Трофимычу побегу, понимаешь ли…

Последние слова потонули в аплодисментах. Сергей уже не поднимал глаз.

— Да жук он, Прасолов этот!.. — кричали из

зала.

— Ну, не скажи, похитрее: правду-матку резал — аж кровь хлестала!..

— Гнать его, сукиного сына, товарищи!..

— Врете! — вдруг выкрикнула Еленка, вскочив. — Врете вы все потому, что струсили! Вам правду в лицо сказали, а вы, тараканы несчастные, гнать за это, да? Друг за дружку стоите, друг дружку покрываете, а как чужой кто, так — вон, да? Вон?!

Она рванулась к выходу, не сдерживая слез. В президиуме поднялся директор.

— Это все — нервы, — негромко сказал он. — А вот — документы. Два письма: копии адресованы в обком и в газету «Водник». И вот что сказано в этих письмах. Первое: обман с горючим и приписка моточасов капитаном Бурлаковым. Второе: о несчастье с Федором Никифоровым. Говорится, что несчастье это произошло потому, что капитан Бурлаков не справился с катером из-за больной ноги. Поэтому автор письма требует привлечь Бурлакова к суду…

— Кем подписано? — крикнул Вася. — Кто подписал?

— Письма анонимные.

— А анонимные — так в гальюн их!..

— Тихо! — крикнул Пахомов. — Тут не орать, тут думать надо, товарищи дорогие!..

После долгих споров обоим — и Бурлакову, и Прасолову — записали по выговору, и Сергей при людях с трудом сдержал радость.

Собрание кончилось. Все повалили к дверям, шумно переговариваясь. Михалыч, Вася и Андрей Филиппыч задержались у выхода, поджидая Ивана, но он прошел мимо, остекленело глядя перед собой.

Следом спешил кадровик. Выскочил в густую темь, крикнул:

— Трофимыч!..

Иван не отозвался. Николай Николаевич догнал, тронул за плечо.

— Пройдемся, что ли? Духотища в зале-то.

Иван молча пошел за ним. Они вернулись за крайние порядки, вышли на песчаный берег. Мерно плескалась вода, на фарватере светились бакены. Тишина сонно висела над рекой.

— Брюхо болит, спасу нет, — сказал Николай Николаевич. — Будто до сих пор там тот штык поворачивают.

— Полежал бы, — глухо, без интонации сказал Иван.

— Полежал бы! — вдруг зло подхватил началь-

ник. — Иисус Христос, миротворец чертов! По одной щеке съездили — другую подставить не терпится?

Иван сосредоточенно молчал.

— Ты где был, когда этот гриб поганый на твоем катере корешки пускал? О добре разглагольствовал? Ну-ка такого бы Сергея да нам бы под Великие Луки в сорок первом, а?

Иван вдруг глянул на него:

— Ну, знаешь, тогда…

— Шкурник он! И тогда, и сейчас. Драться надо с такими, Иван. Драться! Чтоб других не заражали. Сподличал — отвечай.

— Людям добро нужно, Николаич. Ох, нужно!

— Добро добру рознь. Твое добро Сергеев этих плодит. Сообрази… — Он вдруг глянул в темноту, крикнул: — Ну идите уж, чего крадетесь!..

Подошли Вася, Михалыч и плотовщик. Михалыч завздыхал, засуетился, заглядывая Ивану в глаза, а Вася сказал:

— Айдате к нам, Иван Трофимыч. Посидим, покалякаем, Лидуха самовар раскочегарит.

— Чего на воде-то болтаться? — забасил плотовщик. — Пошли ко мне. Телевизор поглядим.

— Самовары, телевизоры, — проворчал кадровик. — Ну, счастливо вам, мужики. А ты думай,

Иван. Думай: я тебе правду сказал.

И пошел в темноту, потирая рукой разболевшуюся старую рану.

— Ну, все, Еленка, теперь — полный ход, — взволнованно говорил Сергей вечером в кубрике. — Завтра пойду к Федорову: пусть ставит на катер только нас с тобой. Кровь из носу, а должны вдвоем справиться. Должны!

— А Иван как же?

— А Иван пусть на берегу кантуется, с ним дело кончено. Пусть слесарит или в складе кладовщиком. Тут закон, Еленка, один: не сумел удержаться — падай, покуда не зацепишься.

— Хороший он человек… — вздохнула Еленка.

— Хороший человек — это еще не профессия.

Он обнял ее. Еленка посмотрела прямо в глаза тревожным взглядом, сказала тихо:

— Не надо. Иван войдет…

— Да не придет он, не жди! Он небось опять к старикам подался. И вообще забудь о нем. Забудь все. Вдвоем мы теперь. Вдвоем, понятно?

Наутро Ивана вызвали в район. Он долго ходил по инстанциям, писал объяснительные, признавал, что Прасолов говорил правду, и тут же упорно отрицал свою вину. Его пытались

убеждать, разъясняли, потом махнули рукой. Велели работать, замаливать грех: с этим Иван не спорил.

С попутной машиной вернулся домой и, как было приказано, пришел прямо к директору. Долго не принимали: он курил в коридоре. Наконец пригласили в кабинет.

— А, товарищ Бурлаков. Присаживайтесь. — Директор подал руку. — Ну, какие дела?

Иван коротко рассказал. Директор кивал, не глядя. Потом спросил — вдруг, не дослушав:

— Как считаете, Прасолов справится с катером?

— Вообще-то… — Иван замолчал. Он понял вопрос, понял, что стояло за ним, понял все и сказал: — Справится, Юрий Иваныч.

— А в плавсоставе служить вам больше нельзя. — Директор вздохнул и впервые глянул на Ивана. — Извините, нельзя.

— Юрий Иваныч… — Иван встал, качнулся, уцепился за спинку стула. — Юрий Иваныч, я никогда не просил… И выполнял всегда. Благодарности имею…

— Нельзя, товарищ Бурлаков, — с ноткой раздражения сказал директор. — Я тоже подчиняюсь законам. Вот так. Идите в отдел кадров, там что-

нибудь подберут. Я дал указание. До свидания. Идите.

Иван шел в отдел кадров, ни с кем не здороваясь, глядя сквозь людей, а серую праздничную кепку нес в руке, забыв надеть при выходе из кабинета. Так он и вошел к начальнику.

— Здоров, — сказал Николай Николаевич. — Садись. Кури.

Он ни о чем не спрашивал. Иван курил медленно, долго разглядывал огонек папиросы, стряхивая пепел в огнеупорную ладонь. Николай Николаевич терпеливо ждал.

— Уволили, — растерянно сказал Иван.

— Знаю, — подтвердил начальник. — Обижаться на это смысла нет: по состоянию здоровья тебя давно на берег списать надо.

— Берег… — Иван горько усмехнулся, прошел к окну, высыпал пепел. — Где он, мой берег, Николай Николаич?..

— Привыкнешь, Трофимыч. Ой, к чему человек привыкнуть может, это даже вообразить себе невозможно!..

— И к тому, что дома нет, тоже привыкнуть можно?

— Смотря что домом считать. Был катер домом, будет — мастерская. Или ты, может, куда еще

хочешь?

— Все равно.

— Ну, коли все равно, так слушай меня. Пойдешь мастером по топливной аппаратуре. Работа чистая, тонкая. Вдумчивая работа, как раз для тебя. При мастерской каптерка имеется. Я с начальством договорился: будешь там жить. Поставишь коечку, столик…

— Хватит с меня исключений. Как все желаю. Как все.

— В общежитии сплошняком одна сезонная молодежь. Они, подлецы, по летнему времени в три утра спать ложатся. Там ты враз окочуришься, это я тебе точно говорю.

— Нет уж, Николаич, давай как все, — упрямился Иван.

— Нет места в общежитии, все, точка! — вспылил начальник. — Ему как лучше хотят, а он свое. И какой ты обидчивый, Иван!..

— Обидчивый?.. — Иван серьезно посмотрел на него, снова полез за папиросами. — Нет, Николай Николаич, на себя, на жизнь свою обижаться — это пустое. А больше мне не на кого обижаться. Да, не на кого. Все правильно. Пашу уволил?

— Уволил, — вздохнул Николай Николаевич. — Эх, признал бы ты свою вину на собрании!..

Признал бы вину, и все было бы как надо.

— Какую вину? — строго спросил Иван. — Разве ж можно людям в беде не помочь? Подлецом надо быть, чтоб не помочь.

— Эх, Иван! — Начальник стукнул кулаком о стол и выругался. — Говорил же я тебе, предупреждал. Ну, да что прожитое вспоминать…

Помолчали. Иван спросил не глядя:

— Со стариками-то как решили?

— Не решали еще. Колхозу сообщили: бригадира ихнего видел. Радуется: сенцо-то задарма получил…

В цехе Ивану понравилось: каждая вещь знала место, чувствовался порядок. Да и народ в большинстве был пожилой, степенный: на регулировку топливных насосов мальчишек не поставишь. Встретили Ивана как старого знакомого. Начальник показал что к чему, познакомил с бригадой, определил к месту.

— А жить будешь здесь, Трофимыч. — Он открыл дверь в углу, пропустил вперед Ивана. — Здесь у нас тихо: в одну смену работаем.

Комнатка была маленькой, метров шесть. В углу стоял столик, табуретка и голая железная койка. Окно, пол, даже стены были тщательно вымыты, а подоконник и рамы окрашены за-

ново: его ждали, о нем думали, и горячая волна благодарности ударила вдруг Ивану в голову, закружила, и он поспешно сел.

— Ну, спасибо тебе…

Но в комнатке никого уже не было: начальник ушел по своим делам…

Так вот, значит, какое оно, это последнее его жилье. Ему не было тягостно от этих мыслей. Самое главное — приют этот последний теперь был у него. А значит, были и люди, которым еще нужен он, Иван Бурлаков, значит, рано еще списывать его со счетов, значит, нужно и можно жить…

Он договорился с начальником, что переедет сегодня же, а завтра с утра заступит на смену. Теперь следовало пойти на катер за вещами, и — странное дело! — он уже не боялся этого.

На выходе он столкнулся с Михалычем. Оба обрадовались встрече, долго жали руки, улыбались друг другу.

— Ах, Иван Трофимыч, родимый ты мой, все знаю, все!.. — частил Михалыч, держа Ивана за руку. — Аккурат вчера узнал, утром вчера. Прихожу на работу, а мне говорят: уделай каптерочку под жилье. Для Ивана Трофимыча, мол…

— Так это ты уделал, Михалыч?

— Да пустое это, пустое. Нюрку, старшенькую

свою, вызвал: она у меня проворная. Ты на катер, что ли? Может, помочь?

— Какая там помощь, Михалыч. Пожитков — всего ничего.

— Ну, наживешь еще. А уж вечерком к нам пожалуй, Иван Трофимыч, не обидь. Ждем тебя. Харчишек жена сготовила, посидим, побеседуем. Уважь, Трофимыч.

Отказывать Иван не умел, согласился. Обрадованный Михалыч ушел, а Иван направился к причалам. Идти пришлось долго, потому что встречные останавливали его на каждом шагу, расспрашивая, что было в районе и как он теперь устроился.

Еще издалека Иван увидел свой катер, и что-то дрогнуло в нем. Оживление, вызванное новым жильем и встречами, спало, печаль с новой силой овладела им, и шел он теперь медленно и ничего уже не видел вокруг, кроме своего катера. Катер стоял на старом месте, у затопленной баржи. Людей не было видно, но когда Иван подошел ближе, то разглядел сухую сутулую фигуру на носу. Он остановился, всматриваясь, и тут только заметил, что надписи «Волгарь» больше нет, а вместо нее стоит прежняя цифра «17». И художник — теперь Иван узнал его — закрашивает на ведрах буквы и

пишет по трафарету ту же цифру «17»...

Михалыч зашел в конце смены. Сколотил Ивану полочку, помог устроиться, а потом они пошли к нему. Идти пришлось долго: Михалыч жил в соседней деревне, за лесом. По дороге Иван рассказал, как из-за него Вася утопил новый мотор и лодку.

— Господи, господи, боже мой!.. — ужасался Михалыч. — Да прах с ней, с лодкой, Трофимыч, прах с ней! Ведь утопнуть мог, очень даже просто мог утопнуть!..

Ужинали за одним огромным столом все девять человек. Дети, а из шести пятеро были девочками, вели себя чинно, но не затурканно: смеялись на своем конце, что-то делили. Пузатый наследник сидел на руках у матери, сонно таращил глаза.

— Во, наработали!.. — с гордостью говорил Михалыч, оглядывая стол. — Целая бригада, понимаешь, целая бригада!

— Правда, доярки одни, — улыбнулась жена, кругло, по-волжски выговаривая «о». — Плотник у нас вот единственный.

Старшая дочка шустро двигалась вокруг, подавая еду. Девушка сияла таким запасом здоровья и силы, что Иван то и дело поглядывал на нее и улыбался.

— Выросла-то как Нюра-то, — пояснил он, поймав веселый взгляд хозяйки.

— Не говори! — засмеялся Михалыч. — Кофточки расставлять не поспеваем.

— Ой, ну зачем?.. — вспыхнула Нюра, мигом вылетев на кухню.

— В детском саду работает, — сказала мать. — Специальность имеет, курсы кончила.

— Головастая, — подтвердил Михалыч. — Дочка, поди-ко!

— Зачем? — откликнулась из кухни Нюра.

— Поди, говорю!..

Нюра, смущенно улыбаясь, вышла к столу. Михалыч налил на донышко водки, протянул:

— Выпей, дочка, с нами. Как тебе есть полных восемнадцать, разрешаю.

— Не буду я. Не хочу.

— За гостя выпей. За Ивана Трофимыча. Нуко…

— Будьте здоровы, — снова вспыхнув, шепотом сказала Нюра, глотнула, замахала руками. — Ой, мамочки!..

Пока детей укладывали, Иван с Михалычем курили на крыльце. Сыпались с неба августовские звезды, таинственно шуршал лес, обступивший со всех сторон деревеньку. Мужчины неспешно

говорили о делах, о шкипере, оставшемся на зиму без сена.

— Погоди, может, еще и добуду, — обещал Михалыч, — сделаем, может, чего, дай срок.

— Из-за меня все, вот ведь что получается, — сокрушался Иван. — Поверишь ли, идти к ним совестно. В глаза глядеть.

— Это ты зря, Трофимыч, зря. Ты тут совсем ни при чем, ни с какого боку… — Михалыч вдруг замолчал, нашел в темноте Иванов пиджак: вертел пуговицу. — Слушай, чего тебе скажу. Главное скажу: Нюрку мою видел?

— Видел. Хорошая девушка. А что?

— Ну, коли хорошая, то… — Михалыч порывисто вздохнул. — Может, породнимся, а, Иван Трофимыч?

— Как это? — растерялся Иван.

— Бери Нюрку, а, Трофимыч? Она здоровая, она детей тебе нарожает, полную избу детей. Уходит тебя, дом тебе сделает…

— Да что ты, Михалыч, что ты, погоди. В отцы ведь я ей…

— Какие отцы, какие? И не думай об этом, Трофимыч, не думай! Ты еще — ого, орел еще! Детишки пойдут — только называть поспевай.

— Да погоди, Михалыч.

— Ну, чего годить-то? Девка — как яблочко, и мастерица, и по дому, и песни играет, не хуже Еленки…

Он вдруг замолчал, точно споткнувшись об это имя. Иван вздохнул, сказал тихо:

— Вот именно, Михалыч. Именно что так.

— Да говорят, она… — Михалыч опять запнулся.

— Знаю. Все знаю: сама мне сказала. А только нет мне без нее жизни, Михалыч. Нету. Хоть и чужая она теперь, а все равно — тут она, со мной. Так что не гожусь я в женихи, друг ты мой. Не гожусь…

С ремонтом управились быстро: Сергей не вылезал из цеха, работал за двоих, исхудал, измотался, но «Семнадцатый» вступил в строй куда раньше намеченного срока.

— Ну, теперь повертимся! — радостно говорил Сергей. — Теперь, девочка, конец сонному царству!

Вертеться действительно приходилось, но Сергей был отличным организатором. Каждый вечер он надолго уходил в диспетчерскую, обзванивал участки, всеми правдами и неправдами добивался удобных нарядов и загодя составлял график. До минимума сократил простои, беспощадно стро-

чил акты за малейшее опоздание, не стеснялся звонить и самому директору. Нажил врагов, но в первую же декаду вдвое перевыполнил план.

Случалось, что на руле стояла Еленка. Сергей настойчиво учил ее, втолковывал правила, знакомил с двигателем. Вначале Еленка боялась штурвала, от страха делалась бестолковой, но Сергей был неумолим:

— Полегонечку, девочка, полегонечку!

Теперь он все чаще называл ее девочкой. Еленке не нравилось это новое обращение: в нем не было ни ласки, ни тепла, и внутренне она чувствовала, что это — просто привычка, что таких «девочек» у Сергея было хоть пруд пруди. Но не умела с ним спорить, боялась насмешек, со страхом вспоминала его сухие, жесткие глаза, что глянули на нее в то воскресенье, когда ездили на острова. Она хотела мира, тихой семейной радости. Ей казалось, что в этом и заключается счастье, и когда Лида в упор спросила, счастлива ли она, Еленка, не задумываясь, ответила:

— Очень!

— А жениться думает ли?

— Некогда сейчас, — отвернувшись, сказала Еленка. — Вдвоем ведь работаем. И комнаты пока не дают. Вот когда дадут…

— Он так сказал?

— Сказал, — соврала Еленка и покраснела.

Они встретились у магазина. Еленка поздоровалась, хотела шмыгнуть мимо, но Лидуха так некстати завела этот разговор.

— Нет, ты не думай, он хороший, — поспешно добавила Еленка, испугавшись, что Лида правильно истолкует ее смущение. — Только трудно ему сейчас.

Лида странно усмехнулась, промолчала, и Еленка, краснея и запинаясь, стала неуклюже переводить разговор: спросила, нашел ли Вася мотор.

— Нашел, — сказала Лида. — Глубоко только: три метра с половиной. Катер нужен: с лодки его не подымешь.

— Так сходим!.. — Еленка очень обрадовалась. — Хоть завтра сходим туда на нашем…

Лида поблагодарила, но Еленка, загоревшись, обещала любую помощь, и Лидуха заулыбалась. Расстались почти как прежде, договорившись, что завтра после работы Сергей подгонит «Семнадцатый» к топлякоподъемнику.

— Никуда не пойдем! — резко перебил ее Сергей, когда она рассказала ему о встрече.

— Как же можно?.. — растерялась Еленка. —

Вася ведь к нам тогда шел, из-за нас ведь все. И обещала я: ждут…

— Подождут и перестанут, — отрезал Сергей. — Пусть оформляет через диспетчерскую: дадут наряд — пойду.

— Нет, завтра пойдем!.. — крикнула Еленка. — Люди помочь просят, а ты — наряд, диспетчер!.. Пойдем, и все. Как прежде ходили, при Иване Тро…

Она вдруг осеклась, замолчала, опустила голову. Сергей молча курил за столом.

— Вот что, Еленка, — сказал он наконец, и Еленка опять увидела его жесткие, словно застекленные глаза. — Заруби на будущее: против меня ни полслова. Я здесь хозяин, я один решаю.

— А я, выходит, никто?

— А ты знай свое место! — крикнул он. — И цени его, пока я выводов не сделал!..

И опять Еленка не спала, тихо ворочалась, вздыхала. Думала, по дням перебирала всю небогатую жизнь с Сергеем, прикидывала, пыталась понять. Ничего не поняла, но то ли от усталости, то ли от жалости к себе решила, что погорячилась.

Теперь у Ивана было много свободного времени. Он привык работать от зари до зари, а здесь, на новой работе, освобождался в четыре, запирал

за рабочими двери мастерской и тоскливо плелся в свою комнатку. Забот не было.

Эти длинные пустые вечера он проводил в гостях. Но к Михалычу часто ходить стеснялся, помня последний разговор и боясь его продолжения. Федор теперь с азартом чинил будильники, но лучше ему не становилось, и Иван с болью отмечал, как угасает на его глазах волжский богатырь, шутя поднимавший когда-то по восемь пудов. Все чаще ловил он на себе тоскливые взгляды Паши, ежился под этими взглядами и после подолгу не мог уснуть в одинокой комнатке: стоять бы тогда Федору на полшага правее…

Неуютно было ему и у стариков. Нет, ни в чем они не винили его, и радушие их по-прежнему умиляло старинным хлебосольством, но тревога, поселившаяся на барже, не могла не касаться его, и опять он чувствовал себя виноватым. Шкипер ходил по начальству, просил позволить дожить жизнь так, как она сложилась, но ничего не добился.

— Разберемся.

— Такие, значит, дела, Трофимыч, — подытожил старик, когда они курили на барже. — И как они там разберутся и когда — не ведаю. А ведать бы должен, потому что ежели, скажем, решат,

что съезжать нам, это одно, а ежели дожить тут дозволят, так ведь сено добывать нужно. Тут ведь на орла да решку не кинешь, тут заранее знать надо.

Скандалами, жалобами и беспощадными актами за малейший простой Сергей все-таки добился своего: катер работал теперь по строгому часовому графику. И снова на всех летучках все чаще и чаще поминали «Семнадцатый», но никто уже не называл его Ивановым. Разве что неисправимые консерваторы из старых капитанов, да и то как-то походя, словно стесняясь. Но и Сергеевым катером тоже никто не называл.

— Не любят нас, Сережа, — с горечью сказала Еленка. — Бабы меня совсем привечать перестали, а мужики усмехаются.

— Нам с ними не детей крестить, — отмахнулся Сергей. — Доплаваем навигацию, снимут выговор, сыграем свадьбу, а там поглядим. Может, и подадимся отсюда: в Сибири рек много…

Он говорил о Сибири, о тамошних заработках, а Еленка ничего не соображала. Она глядела на него во все глаза, и лицо его двоилось, расплывалось перед нею, потому что слезы мешали смотреть.

Вот так он впервые сказал о свадьбе. И именно

потому, что сказал вскользь, среди других дел, Еленка поняла, что это серьезно. Она удержала себя, не кинулась на шею, а, спрятав слезы, стала обстоятельно обсуждать предполагаемую жизнь в Сибири.

Она научилась угадывать его желания и хватать на лету то, что он только собирался сказать. Сергей смело нагружал ее работой, научил водить катер, посылал в диспетчерскую за нарядами или в контору с рапортичками. Вначале она очень не любила эти поручения, стеснялась, но постепенно страх перед людьми прошел, она стала держаться свободно, и Сергей не шутя утверждал, что через год сделает из нее помощника капитана.

— Главное, людей не бойся, — поучал он. — Пусть лучше они тебя боятся.

Но хозяйство все равно оставалось на ней, и обычно, сдав рапортички, Еленка бежала в магазин. Она привыкла все делать на рысях, но в то утро, завернув за угол, сразу остановилась.

Прямо на нее, тяжело ступая, старый шкипер вел на веревке рыжую телочку с белой звездочкой на лбу. Он молча, угрюмо смотрел перед собой, и Еленка попятилась, вжимаясь в стенку дома.

— Здравствуйте.

— Здорово. — Шкипер, не глянув, прошел ми-

мо.

Но старуха остановилась. Долго жевала бледными тонкими губами, серьезно и строго смотрела на Еленку. Потом спросила:

— Чего же не заходишь-то?

— Да вот замоталась, — жалко бормотала Еленка, спиной чувствуя, что шкипер тоже остановился и тоже серьезно и строго смотрит на нее. — Вдвоем мы теперь на катере-то.

— Вышло нам решение, — словно не слыша ее, спокойно сказала Авдотья Кузьминична. — Приказано с баржи съехать и не жить там больше. А жилье наше порушат и сделают склад.

— А вы как же?

— Комнату дают. В новом доме.

— Вот такие, значит, Еленка, пироги, — сказал шкипер, закуривая. — Так что приходи на новоселье.

— А ее куда же? — растерянно спросила Еленка.

— Продавать ведем, — сказала старуха. — Да. Продавать. В комнате не поместишь.

— Зря, выходит, мы страдали на Луконинoй топи, — вдруг улыбнулся шкипер. — И рад бы погоревать, да больно радостно тогда было. Больно радостно.

Он повернулся, тронул веревку, и рыжая телочка покорно двинулась за ним. Старуха пожевала губами, сказала безразлично:

— Заходи.

И пошла, не оглядываясь, а Еленка долго еще стояла у бревенчатой стены, смутно ощущая вину. Она невольно вспомнила об Иване, и реальная вина перед ним переплелась с этой виной, выросла, обрушилась на нее, разом сметая все ее личные мелкие радости и удачи. Она опустилась на пыльную траву, закрыла лицо руками: очень хотелось поплакать, но слез не было.

Просидев так с час, Еленка встала и пошла на катер. Выплакаться не удалось, и все запеклось внутри и огрубело.

На катере был Пронин. Еленка еще издали заметила его, но даже не поправила волосы: сегодня ей было не до Володьки.

— Ну почему я? — раздраженно спрашивал Сергей. — Почему водометный не послать?

— Потому что он здесь плавал, а не на водометном, — сухо сказал Пронин. — И кончай этот недостойный торг, Прасолов. Значит, гирлянды, постамент… Здравствуйте, товарищ Лапушкина.

Еленка сухо кивнула, спустилась в кубрик. Тут вспомнила, что забыла зайти в магазин, но

идти никуда не хотелось. Выскребла остатки, поставила обед. Катер уже куда-то шел, что-то цеплял, Сергей привычно с кем-то собачился, а она, машинально помешивая суп, все думала о стариках и Иване, и впервые за последнее время об Иване больше, чем о ком-либо другом.

— Заболела, что ли? — спросил Сергей за обедом.

— Знаешь, Сережа… — Она поколебалась, стоит ли говорить. — Знаешь, стариков-то с баржи выселили.

— Не выселили, а комнату в новом доме дали, — весомо сказал он. — Комнату, понимаешь? Нам вот с тобой не дали, а им — дали.

— Да зачем им комната? — с тоской сказала Еленка. — Жизни они привычной лишились, вот ведь что.

— Ну, не преувеличивай! — Он отмахнулся. — Жизнь у нас одна: советская. А не кулацкая. Об этом не забывай.

— Господи, ну какая там кулацкая, какая?

— Ну ладно, хватит! — резко прикрикнул он. — Слышал я их песни и знаю, что говорю. И правильно, что хозяйство их ликвидируют…

— Нет, не правильно! — вдруг крикнула Еленка и встала. — И не кричи на меня. Не кричи,

понял?..

Долгожданные слезы хлынули из глаз, Еленка ничком упала на диван. Сергей закурил, сказал мягко:

— Ладно, не обижайся. Извини. Нервы, знаешь. Наряд на завтра хороший был, да сорвался, из графика нас вышибли. — Он потоптался, не зная, что еще сказать. — Я в контору схожу, а ты побудь: плотник должен прийти.

Плотник пришел к концу смены. Еленка услышала чужие шаги, насторожилась, но он окликнул:

— Хозяин!

Поднялась в рубку, увидела сквозь стекло Михалыча и задержалась: опять судьба сталкивала ее с той, прошедшей жизнью, о которой она часто думала, но о которой так хотела забыты.

— Здравствуйте, — сказала она, выходя на палубу.

— Здоров. — Он мельком глянул, размечая прямоугольник. — А хозяин где?

— В контору ушел.

— А-а.

Он не обращал на нее внимания, продолжая обмерять толстые брусья и доски. Обмерив, достал лучковую пилу, приспособился пилить, уперев

брус в носовой люк.

— Что это вы строите?

Михалыч задержал пилу, странно, боком глянул на Еленку.

— Что строите, спрашиваю?

— Постамент, — сказал он, снова начиная пилить. — Гроб на него поставят.

— Гроб?.. Какой гроб? Зачем?

— Затем, что человек здесь работал. Здесь работал, здесь и последний путь должен…

Хватаясь руками за железную стену рубки, Еленка медленно сползала на палубу. Михалыч бросился, подхватил, с тревогой глядя на ее белое, как молоко, лицо.

— Ну, чего ты, чего, а?.. Ах ты, господи…

— Он?..

— Да не он, не он, господи! Думал, знаешь ты… Федор Никифоров помер вчера. Враз помер — как лежал, так и вытянулся… Ну, вставай, вставай, чего сомлела?

Еленка молча отстранила Михалыча, цепляясь за рубку, пошла к дверям. В дверях остановилась.

— А я подумала…

— Жив он покуда, — строго сказал Михалыч.

Утром Еленка надела синее шерстяное платье. Сергей ничего не сказал, но, позавтракав, тоже

переоделся и повязал галстук.

После завтрака они долго мыкались по своему печально праздничному суденышку. Катер одиноко притулился у баржи: соседи с зарей ушли в рейсы. Еленка поминутно спрашивала:

— Не пора?

— К десяти велено.

Она бесцельно слонялась по катеру. Спускалась в кубрик, вновь поднималась на палубу. Сергей молча курил на моторном люке.

— Не пора?.. — вздохнула Еленка.

— Оркестра не слышно.

— А будет оркестр-то?

— Обещали.

— Это хорошо, это по-человечески… — Еленка походила вдоль борта, удивилась. — А люди хоть бы что. Работают.

— Да. — Сергей вздохнул. — А у нас — простой.

— Как ты можешь так…

— Только без слез, — поморщился Сергей. — Сама же заметила, что люди работают. А мы что, не люди?

— Не знаю, кто мы, — помолчав, сказала Еленка. — Когда ты такое говоришь, то мне кажется: нет, не люди.

Где-то вдали пропела труба, грохнул барабан.

Еленка замолчала, подавшись вперед, вслушиваясь. Сергей прошел в рубку, завел двигатель, высунулся:

— Отдай чалку!..

«Семнадцатый», мелко подрагивая, пошел к пассажирской пристани…

Скорбное шествие медленно приближалось. Играл оркестр, но звуки его то и дело перекрывались исступленными женскими криками.

Впереди два мальчика несли крышку. Крышка была тяжелой, Вовка положил ее на плечи и шел вслепую, нащупывая ногами дорогу. Он не заметил поворота к пристани, и Пронин руками направил его в нужную сторону. Сергей взял у мальчишек крышку и прислонил ее к рубке.

Четверо мужчин на полотенцах несли гроб. За гробом шли Паша и сестра покойного.

Музыка смолкла. Провожающие и оркестранты устраивались на катере, негромко переговариваясь.

— Где пионеры? Пионеры не приходили? — волновался Пронин.

— Отчаливать? — спросил Сергей.

— Погоди, Прасолов. Еще маленько погоди.

Естественный ход похорон нарушился. Люди переминались с ноги на ногу, шушукались, музы-

канты брякали трубами. Наконец крепкогрудая вожатая привела десяток ребятишек. Пронин оживился, деятельно объяснял, как стоять в почетном карауле, когда сменяться. Дети слушали плохо, со страхом поглядывали на белое лицо Федора.

— Детишек-то напрасно сюда, — сказал Иван. — Не годится им на мертвяков глядеть.

— Положено так, — с неудовольствием ответил Пронин. — Прасолов, отчаливай.

Сергей завел двигатель. Пронин побежал на корму, шепнул музыкантам. Тяжко ударили тарелки. Пронин вытащил платок, помахал.

Замерло движение на реке. А как только «Семнадцатый» отвалил от пристани, торжественно взревели пароходные гудки. И опять заголосила сестра, заплакали бабы, а гудки все ревели и ревели, провожая в последний путь помощника капитана Федора Никифорова.

Кладбище было на той стороне, и гудки ревели, пока катер не пересек реку. Сергей причалил к дощатой пристани, заглушил мотор, вышел из рубки. Крышку с ребятишками уже ссадили на берег, но никто больше не высаживался, потому что мужчины еще не переправили гроб. Возле него сменилась последняя четверка перепуган-

ных детей, Пронин дал команду, и Сергей шагнул вперед, берясь за тот край полотенца, который прежде держал Иван.

— Не надо, — сказал Иван. — Оставь.

— Тяжело тебе: в гору.

— Ничего. — Иван перекинул через плечо полотенце. — Взяли.

На кладбище гроб опустили рядом с могилой, провожающие столпились вокруг, перемешались, тесня друг друга, и Еленка оказалась в самой гуще. Пронин открыл митинг, говорил, по счастью, коротко и не по бумажке. Потом выступал еще кто-то — Еленка не слышала, — и вперед вышел Иван. Он долго мял в руках кепку, глядя в лицо Федора, а кругом стало вдруг так тихо, что Еленка испугалась. Она начала уже прорываться вперед, когда Иван сказал:

— Девять навигаций плавал я с Федором Семенычем. И льдом нас затирало, и на мель мы садились, и мерзли, и мокли, и тонули — все было. При мне у него и дети родились, и дом он поставил, и покалечился тоже при мне…

— Не при тебе, а из-за тебя!.. — выкрикнул одинокий голос, и Еленка узнала Степаныча.

По толпе пробежал гул. Пронин и Вася метнулись к Степанычу а Паша со стоном выдохнула:

— Не надо, не надо!.. Просила ведь вас, господи!..

— Верно, — тихо сказал Иван. — Только судить меня он один мог, а больше никто. Мы с ним душа в душу жили, душа в душу. И если было что не так, если виноват я, то он и решал и судил. Вот так. Никого больше меж нами не было и не надо. Прощай, Федор Семеныч, прощай, друг, и прости меня.

Он с трудом опустился на колени, коснулся губами белого лба, встал и, ни на кого не глядя, пошел прямо на толпу. Люди раздались, пропуская его, и опять сомкнулись в одно целое. Пронин махнул рукой, оркестр заиграл марш. Заплакали, заголосили бабы, затолкались, пробираясь к гробу, а потом, перекрывая плач, резко и деловито застучал молоток. Еленка закрыла лицо руками, шагнула прочь от этого страшного последнего стука, уткнулась лбом в чей-то жесткий пиджак и замерла. Тяжелая рука осторожно обняла ее плечи и держала так, словно защищая, загораживая от всех бед и напастей. Она приподняла голову: это был Иван.

На обратном пути шли быстро, без музыки и гудков. Оркестранты толпились на корме, курили, переговаривались. Два раза там вспыхнул

было смех, но Иван прошел, устыдил: больше не смеялись.

Паша бродила по катеру, тихо приглашала помянуть Федора. Сергей отказался, но Еленку отпустил: сообразил, что вышло бы совсем неудобно.

В доме уже был накрыт стол: Лида оставалась за хозяйку. Первой, как положено, помянули Федора, выпили в торжественном молчании, а потом разошлись, заговорили. Еленка хотела было уйти, но в дверях столкнулась с Иваном.

— Ты куда это?

— На катер, Иван Трофимыч.

— Успеешь еще.

Он сразу прошел к столу: нес из погреба заливное. Еленка постояла, подумала и вернулась.

Он не глядел на нее, разговаривал коротко, но уйти она уже не могла: хотелось объяснить, как больно за стариков, за Федора, как перепугалась она вчера, когда пришел Михалыч. Ей вдруг показалось, что после этого объяснения все станет на свои места и жизнь опять потечет мирно, привычно и спокойно.

Но поговорить так и не успела, потому что в комнату вошел Сергей. Тихо поздоровался, потоптался у порога, окликнул:

— Еленка!

— К столу прошу, Сергей Палыч. — Паша уже тянула его за рукав. — К столу…

— Нет, нет, что вы, — отговаривался он. — Я ведь за Еленкой только: баржи со скотом на утро нарядили…

— Нет уж, уважьте, Сергей Палыч. В память мужа моего, Федора Семеновича…

— Ну разве что за добрую память. — Сергей нехотя прошел, взял стакан, сказал громко: — Земля чтоб пухом ему.

Выпил, хотел уйти, но тут гости вернулись к столу, оттиснули в угол. С ним никто не заговаривал, и поначалу Сергей растерялся, выпил еще, а потом вылезать было уже неудобно. Слушал, что говорят, помалкивал, ел.

— Как движок после ремонта? Тянет?

Иван спросил вдруг, походя, вроде из вежливости, чтобы не молчал гость за общим столом. Сергей вздрогнул, поспешно проглотил кусок.

— Тянет. Нормально, в общем. Ну, в пятом цилиндре выработка большая, а так ничего. Конечно, масло жрет по-прежнему, даже больше. Но я на это специальные рапортички пишу и у главного механика заверяю. Чтоб потом собак не вешали…

Он замолчал, поняв, что оправдывается, как нашкодивший мальчишка. Заметил, что шум за столом утих, что все слушают сейчас только его. Слушают недобро и серьезно. Нахмурился, потянулся за бутылкой, но Вася перехватил эту бутылку и налил всем, а ему плеснул, что осталось.

— Да уж про рапортички мы наслышаны, — усмехнулся бригадир плотовщиков. — Хорошо наслышаны, понимаешь ли.

Два этих незначительных события — подчеркнутое невнимание Василия и насмешливое презрение плотовщика — сразу успокоили Сергея. Место виноватого, уничижительного состояния заняла привычная агрессивная злоба. Сергей с облегчением закурил, не притрагиваясь больше к стакану.

— Работать надо, — резко сказал он. — Не вкалывать по старинке, как привыкли, а организовывать ее. Планировать. Газеты-то читаете или только селедку в них заворачиваете? НОТ, слыхали? Научная организация труда. И здесь надо беспощадно. Без всяких там сватьев, братьев и добрых знакомых. Не умеешь, устарел, недопонимаешь — значит, отойди и не мешай.

— Работать, стало быть, не умеем? Не умеем,

стало быть? — спросил Михалыч.

— Он нас учить приехал, — усмехнулся Вася. — По собственному желанию из города Саратова.

Иван молчал. Слушал спокойно, покуривал, не глядя на Сергея. А Сергей очень хотел, чтобы он заговорил. Чтобы высказался, заспорил, чтобы выложил обиды. Вот тогда бы он прижал его доводами, уничтожил, высмеял, заставил бы замолчать, но Иван только слушал.

И Еленка слушала. Сидела напротив, ловя каждое слово, пытаясь понять, разобраться. Сергей все время видел ее, чувствовал ее напряжение и поэтому тянул, всеми силами тянул Ивана на спор.

— Учиться никому не вредно, — еще резче продолжал он. — Вы тут добренькие очень: свояк свояка видит издалека. А работа этого не любит. Работа злость любит.

Он повторялся, талдычил одно и то же, понимал это, злился, но новые аргументы упорно не лезли в голову. И замолчать уже было нельзя, потому что чересчур уж невозмутимым, чересчур спокойным и уверенным был Иван.

— Вы что, не видите, какой бой идет? По всей стране — сражение. За новое отношение к труду. Деловое отношение. — Он очень обрадовался,

что нашел наконец нужное слово. — Деловое! И деловые люди сегодня все должны определять. А деловому человеку нежности всякие ни к чему. И пусть поначалу жестоко, пусть слабенькие там всякие, пусть страдают…

— А зачем? — негромко спросил Иван.

— Зачем? А затем, что вы как кандалы на ногах у нас. Висите, путаете, темпы снижаете…

— Чего — темпы? — все так же негромко, спокойно допытывался Иван.

— Чего? Построения коммунизма, вот чего!..

— Так ведь коммунизм — это не павильон на выставке, — сказал Иван.

От неожиданности Сергей не нашелся что сказать, да так и остался с открытым ртом.

— Правильно! — радостно крикнул Вася. — Точно вы ему врезали, Иван Трофимыч!

— Чтобы радостно всем, — зачастил Михалыч. — Чтоб справедливость, чтоб уважение было!

— И чтобы без таких, как ты! — вдруг с ненавистью выкрикнул Вася. — На порог таких не пустим!

— Да, парень, опять ты не в ту сторону тельняшку рванул, — с усмешкой сказал плотовщик. — Играешь по-крупному, к банку, понимаешь ли,

рвешься, а сам как был, так и остался: весь мокрый и рупь в руке.

За столом дружно рассмеялись. Даже сидевший поодаль Степаныч пронзительно захихикал:

— Рупь в руке! Точно про него! Ну, точно! Он ведь, это, ко мне бегал, мужики, да! Просил, значит, чтоб я не жаловался. Рупь в руке!..

Отсмеялись. Иван сказал тихо:

— Ты прости нас, Паша. Забылись.

— Ничего. Он веселье любил…

Сергей, путаясь и злясь, пытался что-то сказать — его уже не слушали. Плотовщик встал, заглушил басом:

— Одно могу сказать тебе, парень: ступай-ка ты к Николай Николаевичу, пока, понимаешь ли, не поздно. И просись отсюда… по собственному желанию.

И стал прощаться с хозяйкой. Сергей крикнул Еленке:

— Пошли!

Еленка молча затрясла головой, отвернулась. Сергей растерянно топтался у дверей.

— Ну, что ты? Ну, кому говорю?..

— А она — не хочет, — сказала Лида, загородив Еленку. — Не жена еще, не командуй.

— А ты на нее рапортичку напиши! — крикнул

Вася.

Сергей вышел, остервенело хлопнув дверью.

— Ну вот и хорошо, — сказала Лида. — Может, чайку кому? Налить, Еленка?

Еленка вдруг вскочила, в упор, отчаянно глядя на Ивана. Губы ее прыгали, и слова не получались, и она, оттолкнув Лидуху выбежала из комнаты.

«Семнадцатый» медленно тащился по реке, волоча огромную баржу, набитую предназначенным на убой скотом. Испуганные животные ревели, толкались, наваливались на трещавшие перегородки. Лохматый мужик, матерно ругаясь, щелкал бичом.

— Ползем, — злился Сергей. — Ну, как на вчерашних похоронах, ей-богу…

Утром он сбегал в партком, потолковал с Пахомовым. Вернулся, сияя:

— Нас в Юрьевец посылают. За корреспондентом этим, из «Водника».

А баржа еле ползла. «Семнадцатый» выбивался из сил, но скорость не увеличивалась. И Сергей очень боялся, что не поспеет и в Юрьевец пошлют другого.

— Ой, ползем!..

Еленка не слышала его. Из головы не выходил

вчерашний день, деловитый стук молотка, осунувшееся лицо Ивана, разговор за столом и смех — презрительный, уничтожающий, победный. Еленка делала все, что должна была делать, но делала словно во сне, не слыша и не замечая ничего вокруг.

Приемный пункт «Заготскота» был почти напротив деревни, где вчера справляли поминки. Берег здесь круто уходил вверх, под ним притулилась дощатая пристань. Сергей долго подводил к ней баржу, стараясь как можно мягче коснуться ветхого сооружения. Лохматый шкипер и пожилая женщина-матрос канителились с чалкой, баржу занесло, потом с ходу сунуло в устои. Пристань заскрипела, Сергей заорал:

— Эй, на барже! Гони скорее, некогда мне!

— А ты подсоби! — крикнул шкипер. — Вдвоем зачинаемся: косогорина-то какая.

Сергей подтянулся к барже, заглушил мотор.

— Идем, Еленка. Помочь надо, а то до обеда простоим.

Коровы с трудом преодолевали крутой подъем. Падали на колени, съезжали, останавливались, но свист и крики погонщиков, пришедших из пункта, снова гнали их вперед.

— Быстрее! — кричал Сергей. — Останавли-

ваться не давай.

— Пегую гони, пегую!..

— Но, зараза! Пошла!

В реве, мычанье, топоте гасли голоса. Пыль тяжело клубилась над медленно бредущими животными.

— Гони! Гони, не давай стоять!..

Молодняк, теснясь и толкаясь, шел сзади. Еленка и пожилая смывали с палубы грязь, лохматый ушел в контору. Сергей покричал, покомандовал и вернулся на баржу.

— Живей, бабоньки, время не ждет!..

Схватил ведро, черпал из-за борта, как заведенный. Еленка драила палубу шваброй.

Скот втягивался во двор приемного пункта. Остатки молодняка поднимались к вершине.

— Живей, бабоньки! Опаздываем.

Рыжая телочка с белой отметинкой на лбу, шедшая в конце стада, вдруг остановилась, счастливо избежала кнута погонщика и, повернувшись, галопом понеслась вниз, к барже.

— Держи!.. — крикнул погонщик. — Телку держи!..

Телка с ходу сшибла уже заложенный брус, вбежала на палубу. Пожилая бросилась наперерез, но телка миновала ее и доверчиво ткнулась

теплыми губами в Еленку.

— Звездочка!.. — Еленка опустила швабру.

— Гони ее!.. — кричал погонщик. — Гони, ворота запираем!..

А телочка ласково лизала Еленкины руки, тыкалась в них, тяжело дыша.

— Гони!.. — крикнул Сергей. — Что ты там?

— Ох, Сережа… — вздохнула Еленка. — Это же их телка. Их, понимаешь?

— А что времени нет — это ты понимаешь?.. — гаркнул Сергей и, схватив телку, потащил к проему загородки. — Пошла!.. Ну?.. Пошла!..

Телка упиралась.

— Врешь!.. Пойдешь, сволочь!..

Он остервенело начал бить ее.

— Не смей!.. — вдруг дико закричала Еленка. — Не смей, зверь, не смей!..

Бросилась вперед, с силой толкнув Сергея в грудь. Сергей полетел к борту. Еленка кинулась следом, крича, била в лицо, рвала рубашку. От растерянности Сергей даже не загораживался.

— Ты что, Еленка?.. Ты что?..

Пожилая что-то говорила, пыталась схватить. Еленка не видела ее, не слышала, что она говорит: только била, била и била в ненавистное, сытое лицо. А когда наконец ее схватили за руки, вырва-

лась и, как стояла, бросилась через борт в воду.

Громко, навзрыд рыдая, она плыла на далекий противоположный берег. Вода вскоре успокоила ее, она перестала плакать, но по-прежнему, не оглядываясь, упорно плыла вперед…

— Явилась?

Было два часа ночи, но Сергей так и не ложился. Табачный дым слоями стоял в кубрике, консервная банка, заменявшая пепельницу, была полна окурков.

— Я уж думал в милицию…

Он увидел ее глаза и замолчал. Спрятал улыбочку, наигранную веселость, сказал заботливо:

— Ложись, девочка. Часа три еще поспать успеешь. Ложись.

Еленка молча прошла в свой угол. Сергей начал стелить постель, но тишина становилась уже невыносимой, и он сказал весело:

— Дали мне сегодня прикурить, правда?

Он вдруг замолчал: раскрыв на диване чемодан, Еленка спокойно, неторопливо укладывала вещи. Расправляла каждую складочку, оглаживала швы.

— Ты куда?

Она окинула его долгим взглядом, снова склонилась к чемодану. Он шагнул, хотел захлопнуть

крышку, но она не позволила.

— Да ты что? — тихо спросил он. Еленка молча продолжала укладываться. Заглядывала в шкафчики, вынимала вещи, уложила кружку. — Ты что, вправду? Да отвечай же, когда спрашивают!..

— Не кричи.

— Да ты… ты… Дура ты! — Он бросился к ней, обнял. — Ишь чего удумала. Брось ты это, брось. Тяжело? Ну, уедем отсюда. Завтра уедем, слышишь? Подам заявление. Не могу без тебя, честно говорю.

Он целовал ее, а она стояла как каменная, опустив руки.

— Вот и распишемся завтра, — бормотал он. — Распишемся и сразу уедем…

Она спокойно отстранила его, и он сразу замолчал. Закурил, отвернулся. Еленка неторопливо закрыла чемодан, долгим, словно вдруг повзрослевшим взглядом окинула до последней царапинки знакомый кубрик и, взяв вещи, пошла к трапу. Сергей бросился было наперерез, но она так глянула, что он попятился.

Темная, по-осеннему неприветливая ночь стояла над рекой, когда Еленка вышла на палубу. Только светились фонари на плавучих кранах да

вверх по реке уходила цепочка бакенов. Еленка вздохнула и, плотно прикрыв дверь рубки, пошла к сходням.

С грохотом распахнув железную дверь, Сергей выбежал на палубу. Огляделся, крикнул:

— Еленка!..

Всхлипнули сходни, да плеснула вода за крутым бортом.

Самый последний день…

1

— Значит, на пенсию решил, Семен Митрофанович? Не желаешь дождаться шинели цвета маренго?

— И в этой ничего. Привык…

Семен Митрофанович Ковалев стеснялся вести разговоры с молодыми сотрудниками. Они и смеялись не так, и курили не этак, и даже форма на них сидела куда уютнее, чем на нем, хотя он форму свою носил аккурат четверть века.

Приказ еще не был подписан, но все уже знали, что младший лейтенант Ковалев, выслужив и по годам, и по здоровью полный государственный пенсион, подал рапорт и загодя отправил семью в деревню. Сделал он это по своей воле и вроде бы ни с того ни с сего, что удивило не только сослуживцев по отделению, но и тех в управлении, кто знал Семена Митрофановича. А знали его многие, и даже сам комиссар товарищ Белоконь здоровался с ним за руку и всегда называл только по имени-отчеству.

Семен Митрофанович аккуратно являлся на

службу, дисциплинированно, точно ретивый первогодок, слушал инструктаж и делал, что приказывали. Учитывая возраст и ранения, его давно уже освободили от оперативной работы, а поручали дела тонкие — воспитательные или конфликтные. И Семен Митрофанович не обижался, потому что всякому делу положен свой возраст, и рыпаться тут несолидно. Кроме того, он умел улаживать ссоры, доводить до добрых слез свихнувшихся девиц и был невозмутим во всех случаях жизни.

Даже осложненные взаимным недоверием профилактические беседы с молодежью младший лейтенант Ковалев проводил лучше иных дипломированных специалистов. При всей невозмутимости он никогда не скрывал своих чувств и относился к аудитории не как к поколению в целом, а как к группе, состоящей из вполне конкретных личностей. В соответствии с этим он кого-то уважал, а кого-то любил, кого-то жалел, а кого-то откровенно ненавидел, но таких, к которым он относился бы безразлично, не было, и молодое население микрорайона активно платило ему той же монетой.

— Политически товарищ Ковалев человек девственный, — сказал года два назад начальник

отделения комиссару Белоконю — просто пришлось к случаю.

Начальник отделения любил выражаться книжно и иногда позволял себе щегольнуть этим. Однако в тот раз комиссар глянул так странно, что он сразу заторопился:

— Но девственность восполняется большим опытом, товарищ комиссар. Большим опытом и исключительным старанием…

Комиссар по-прежнему смотрел необыкновенно, и начальник сокрушенно примолк. Тогда Белоконь спросил благожелательно:

— На рыбалку не ездили в этом году?

И все книжные наслоения тут же вылетели из головы собеседника. И он воскликнул:

— Во какая!..

Да, в милиции знали про старую дружбу комиссара и Семена Митрофановича, хотя никто никогда не видел их вместе, и младший лейтенант безропотно тянул свою лямку, не прячась за широкую спину начальника управления. Поначалу сам вызвался в оперативную группу: вязал бандитов, преследовал воров и за пять лет к четырем фронтовым ранениям приплюсовал еще четыре. Последнее было особенно тяжелым: пуля пробила легкое. В госпиталь часто наведывался

капитан Орлов — зам по оперработе. Приносил яблоки да баранки, а перед выпиской сказал:

— Отдохнуть требуется, Семен Митрофанович. Путевку мы обеспечили, а кроме путевки, положен тебе еще месяц. Так, может, тебе в Москву с Кавказа не возвращаться? Может, прямо к своим, в деревню?

— Да нет, вернуться придется, товарищ капитан, — как всегда, тихо и чуть виновато ответил Ковалев. — Своих-то у меня нет. И пункта рождения тоже нету.

— Как так нету?

— А через него аккурат фронт семь месяцев проходил, товарищ капитан. Так что там и труб не осталось. То есть совсем ничего: просто пустырь с бурьяном, вот ведь какой факт получается.

— А родные?

— В наличии не имеется.

Капитан Орлов был упрям и, промолчав в этот раз, в день отъезда подчиненного на курорт сунул, не глядя, адрес:

— К моим поедешь. Под Новгород.

Семен Митрофанович поехал: зачем же обижать хорошего человека? Местность ему понравилась. С войны здесь все задичало, и на семь сел приходилось полтора мужика. Ковалев охотно

чинил старые ходики, менял рамы, перекрывал крыши, подпирал скособоченные избы, делал все, что просили, с удовольствием выпивал стаканчик, но от второго решительно отказывался, потому что очень боялся заночевать в лично отремонтированном хозяйстве. Сделав много доброго, он так никого и не осчастливил, что гордые новгородки объясняли исключительно последствиями ранения. В следующий отпуск Ковалев опять поехал под Новгород и вдруг довел до полного онемения все местное общество, взяв за себя немолодую солдатку с тремя сопливыми сиротами в придачу.

— Ты что, Ковалев, трехнулся? — деликатно спросил лихой капитан Орлов. — Да за тебя любая двадцатилетняя — толечко пальцем помани!..

— Двадцатилетняя — она и без меня не пропадет, товарищ капитан, а тут — детишки. Младшие-то конфет в обертках сроду не видали, вот ведь какой факт получается.

В каких обертках он сам показывал конфеты усыновленным детям, неизвестно, но вздыхать не вздыхал, и настроение у него вроде не портилось. С комнатой ему помогли, жена уборщицей в интернат пошла, а там — потихонечку да полегонечку — и дети подрастать стали. Теперь их,

правда, пятеро уже было.

И вот нежданно-негаданно младший лейтенант Ковалев решил оставить службу. Сдал рапорт положенным порядком и, пока двигался этот рапорт из кабинета в кабинет, продолжал служить старательно и усердно. И помалкивал. И начальство тоже помалкивало.

2

В тот день он явился на службу, как всегда, за четверть часа до положенного срока. Доложил дежурному, расписался в книге и, тоже как всегда, пристроился покурить с ребятами из ночной смены. Не просто покурить — разведать новости. И не новости вообще — этого добра он за четверть века в милиции наслушался, навидался и наглотался, — а того лишь, что его касалось. Его участка. Подшефного.

Это были четыре квартала — добрый кусок современных пятиэтажек, несколько чудом уцелевших деревяшек да два раскоряченных несуразных семиэтажных дворца, сооруженных в эпоху архитектурных излишеств. Теперь излишества эти обветшали и уже сыпались на голову, из-за чего над вторыми этажами пришлось соорудить грубую рабочую сеть.

Казалось бы, все было в порядке, но Семен Митрофанович домов этих все-таки не любил. Понимал, что поступает не по справедливости, сердился на себя — и не любил. Сердцу не прикажешь, даже если сердце это бьется под милицейским мундиром.

Поэтому и выспрашивал о них всегда особо дотошно:

— Из девятого дома звонков не было? Насчет магнитофонов там, шумов всяких?

— Нет. Из твоих, Митрофаныч, только один Кукушкин набедокурил: напился, шумел.

— Кукушкин из третьего «Б»? Слесарь-водопроводчик?

— Он самый.

Младший лейтенант достал толстую записную книжку и только успел записать про Кукушкина, как дежурный крикнул:

— Митрофаныч! Начальник просит. Давай на третьей скорости!..

Начальник отделения зимой и летом ходил в темных заграничных очках, и Ковалев не любил с ним разговаривать. Да и как можно любить разговор, когда неизвестно, в какую сторону косится твой собеседник?

— Финиширует ваша служба, товарищ млад-

ший лейтенант, — сказал начальник, после того как они поздоровались и самую чуть потолковали о здоровье. И вздохнул: — Как говорится, финита ля… — Что следовало за этим «ля», начальник произнести не решился и переменил разговор: — Никаких нераскрытых или там незакрытых за вами не числится?

— Никак нет.

— Тогда могу доложить, что наступает у вас последний парад. — При этих словах начальник решил встать, и Ковалев в беспокойстве оглянулся, поскольку никак не мог понять, куда в данный момент смотрит его начальник. Но начальник, как видно, смотрел прямо на него. — Товарищ комиссар Белоконь просит вас, товарищ младший лейтенант, прибыть к нему в десять часов ноль минут по известному вам рапорту…

Они еще маленько поговорили о разных вещах — для вежливости, — и начальник отпустил его, пожав на прощание руку и приказав выделить в распоряжение младшего лейтенанта служебную машину.

Все, казалось бы, уже оставалось за кормой, уже начало отплывать, растворяясь в прошлом, но Ковалев не мог сесть вот так, запросто, в служебную «волгу» и сказать шоферу: «В управление!» Не

мог, потому что, несмотря на слова начальника о последнем параде, все еще продолжал служить, каждой клеточкой ощущая себя частицей огромного и очень ответственного аппарата. И поэтому от начальника он прямехонько потопал к дежурному, которому и доложил, что откомандирован в управление для беседы с товарищем комиссаром.

— На «волге» обязательно хочешь ехать? — спросил дежурный.

— Нет, не обязательно, — сказал старшина. — Все равно.

— А все равно, так будь другом, отконвоируй задержанную. Ребята, понимаешь, все в отпуске: лето…

Задержанной оказалась худая, как воробьиха, девчонка лет двадцати с крохотными сережками-слезками в маленьких ушах. На грязном — в пятнах помады, потеках туши и грима — лице свежели яркие пятна синяков и злые, неукротимые глазищи. Короткое ситцевое платье было заляпано грязью, в двух местах разорвано: при движении сверкало загорелое тело и наивные розовые трусики.

— В парке нашли, — тихо сказал дежурный. — Били ее трое, а кто — молчит.

— Может, не знает?

— Знает! — отрезал дежурный. — Знает, кто бил и за что, раз на помощь не звала. Наши ведь случайно на них напоролись, и она же первая заорала: «Валера, беги!»

— Задержали кого?

— Нет. Кусты, темень, а тут эта чертовка визжит и кусается. Но обрати внимание: трое, и среди них Валера.

— Это насчет…

— Да, да, ограбление пенсионеров Веткиных. Помнишь, что тогда взяли? Ерунду всякую, мелочь, а бухарский ковер, которому цена пол-«москвича», не тронули. Почему?

— Тяжело с ковром-то…

— Правильно, Ковалев. А это значит: транспорта у них не было. А женщина, которая той ночью встретила троих с чемоданами, показала, что одного из них другие называли Валерой.

— Ага!..

— Вот потому-то мы за эту девчонку и держимся, — сказал дежурный так, будто лично вел следствие. — Это она еще с ночи психованная, а успокоится — колоться начнет, что полешко…

В связи с таким поручением младший лейтенант Ковалев отбыл на свидание с комиссаром

Белоконем в душном кузове зарешеченного газика. Влез он в него, когда задержанная уже сидела возле передней решетки, вцепившись в переплет худыми пальцами с обломанными ногтями. Она искоса, мельком глянула на него и отвернулась, быстро поправив изорванное платьице, чтоб не сверкали трусики. Как ни запрятано было это ее непроизвольное движение, Ковалев отметил его, а отметив, решил непременно доложить об этом следователю: девчонка, которая стесняется старого милиционера, совсем не такая уж распущенная и бывалая, какой изо всех сил старается казаться.

— Ну, с этой не заскучаешь! — подмигнул шофер, закрывая за ними дверцу согласно инструкции.

Как положено, младший лейтенант сел сзади, у выхода, где всегда трясло и швыряло. Поэтому он сразу, пока машина еще стояла, поторопился закурить и, прикуривая, опять заметил яростный карий глаз. Протянул пачку:

— Хочешь?

Она живо глянула и рассмеялась:

— «Прибойчиком» угощаете? Тронута, сдвинута, почти опрокинута!..

Ковалев нисколько не обиделся: испуганный

щенок и хозяина кусает. Спросил заинтересованно:

— Сигареток достать?

Машина еще стояла: шофер балагурил с ребятами, что расходились на посты и объекты. Младший лейтенант застучал, загрохал ногами. Шофер сразу же открыл, вытаращился:

— Ты чего?

Семен Митрофанович рубль протянул — мог бы, конечно, и мелочь, да не знал, почем нынче сигаретки для девчат.

— Сигареток купи пачку.

— Сигареток? — Шофер похлопал глазами. — Каких сигареток?

— «Советский Союз»! — крикнула из угла девчонка. — Я патриотка!..

Шофер обернулся на удивление быстро: видно, и его заинтересовала неукротимая пассажирка. Сунул сигареты и сдачу, шепнул:

— Сорок копеечек, между прочим…

Опять с лязгом закрыл дверь. Семен Митрофанович аккуратно спрятал мелочь в кошелек, протянул сигареты задержанной.

— Не по карману куришь.

— А почему же не курить, если угощают? — спросила девчонка, прикуривая. — Вон даже

милиция… не удержалась.

Газик тронулся, и, пока шофер неторопливо выруливал на магистральную улицу мимо бесконечных новостроек, младший лейтенант откровенно разглядывал девицу. Разглядывал растрепанные, много раз перекрашенные волосы, дешевенькое платьице, худые, исцарапанные руки, беззащитные плечи, неожиданно элегантные туфельки последней моды. Разглядывал неторопливо, основательно — и думал.

Он умел разговаривать с молодежью не потому, что сообщал что-то новое, и не потому, что никогда не повторял общеизвестного. Умение его, которому поражались даже в управлении, держалось на том, что Ковалев каким-то чудом всегда угадывал, что за человек сидел перед ним. И начинал не беседу вообще, не лекцию, а конкретный и неповторимый разговор, который касался только их двоих. И поэтому сейчас, разглядывая эту худую, некормленую и неухоженную, болезненно напряженную девочку, он думал о том, что довело ее до этого, какая у нее может быть семья и почему девочка из семьи этой убежала.

— Отец-то давно вас бросил?

По тому, как дернулась девочка, он понял, что попал в точку. Ниточка была в его руках, но,

чтобы не оборвать ее, следовало медленно, неторопливо распутать весь клубок. Главное было удивить, и это получилось.

— А у меня он полковник. Летчик-истребитель, — с вызовом сказала она. — Он за каждый полет больше получает, чем вы за три месяца.

— Возможно, — миролюбиво согласился Ковалев. — Только сволочь он, летчик твой, раз маме не дает ни копейки.

Девочка вдруг резко повернулась к нему, странно и зло ощерившись и сразу став болезненно некрасивой:

— Врете вы все! Думаете, не понимаю, откуда знаете, да? Вы милиция, вы уж всех допросили! Всех!..

Он молчал, дружелюбно и серьезно глядя на нее. Задержанная, выкричавшись, сразу смолкла и снова ухватилась за сигарету. Семен Митрофанович не торопился с разговором, оставляя продолжение за нею, потому что дорожил он пока не словами, а интонацией. И еще он знал твердо, что долго она не умолчит.

— Мама... — с непонятным ожесточением сказала вдруг девчонка. — Мама, мамочка...

И опять замолчала, яростно затягиваясь. И младший лейтенант промолчал.

— Думаете, легко девчонкам, которые без отцов? — не глядя, тихо спросила она. — Ну, может, у которых матери — мамы, тем еще ничего, а другим… — Она опять помолчала. — Знаете, сколько нам на производстве платят? Нам, у которых специальности никакой нет? Только-только на еду да на дорогу и хватает. Но ведь и одеться модно тоже хочется. А у вас на всех один разговор…

— Нет, — сказал Семен Митрофанович. — Нет у нас такого разговора. Обманули тебя.

— А везете куда?

— В управление. Положено так.

Он глядел на ее туфельки: она все двигала ими, под лавку запихивала, прятала. Не случайно, ой не случайно, а раз так, то должен в голове ее вертеться один вопрос. И он все время ждал этого вопроса. И дождался.

— Посадят меня?

— Нет, — как можно простодушнее сказал он. — Навряд ли. Туфли, может, и отберут…

Не удивилась, почему туфли отберут. Совсем не удивилась, только вздохнула:

— Что же мне, босиком по городу идти?

— Зачем же брала? Знала ведь, что ворованное…

— Не хотела я брать их. Как чувствовала…

— За это били?

— Нет… — Она вдруг странно поглядела на него, криво усмехнулась. — Влезли в душу и ворочаетесь? И вы такая же сволочь, как все…

И отвернулась. Младший лейтенант закурил новую папиросу и опять терпеливо стал ожидать вопросов. Обычно, правда, он сам вопросы задавал, разговор направляя, но сегодня любая его неточность могла вновь захлопнуть ее чуть приоткрывшееся сердечко, и поэтому Семен Митрофанович предпочитал не спешить.

— А что, пистолеты у вас настоящие или так, для форсу кобуры носите? — вдруг, не глядя, спросила она.

— Самые настоящие, — сказал Ковалев и для достоверности похлопал по пустой кобуре. — Мы без оружия ни на шаг.

— Почему? — Девочка оглянулась.

Ему очень хотелось, чтобы она заулыбалась, и, увидев в глазах ее слабые искорки, он обрадовался:

— Боимся! Страх у нас такой…

— Врете вы все! — Она все-таки улыбнулась и тут же, словно испугавшись, спрятала улыбку.

Машина остановилась, шофер знакомо посигналил, и младший лейтенант догадался, что

прибыли и что сейчас после проверки въедут во внутренний двор управления. И впервые за всю службу пожалел, что знакомый путь оказался вдруг таким коротким.

3

В пустых и гулких коридорах управления девочка вздернула голову, вызывающе зацокала каблуками и стала еще больше похожа на воробьиху. Ковалев, поглядывая на нее, все сдерживал улыбку: казалось, девчонка вот-вот суетливо и неунывающе зачирикает, заскачет и взлетит к потолку…

Возле кабинета следователя Хорольского младший лейтенант остановился. Усадил задержанную на стул у двери, погрозил пальцем, чтоб слушалась, одернул тужурку и только после этого постучал. Там что-то крикнули, Семен Митрофанович открыл дверь и спросил:

— Разрешите?

— Что еще?.. — Следователь был молод и поэтому всегда хмур: ему казалось, что так он выглядит солиднее.

Ковалев вошел в кабинет, притворил за собою дверь, отрапортовал, с чем прибыл, и отдал пакет. Хорольский, не глядя на него, разорвал

пакет: там лежал заводской пропуск и сопроводительная. Хмурясь, следователь долго читал сопроводительную, а младший лейтенант все так же дисциплинированно стоял у стола.

— Где арестованная?

— Задержанная, — тихо поправил Семен Митрофанович. — Она там, в коридорчике ждет. Я что хотел сказать, товарищ следователь, я хотел сказать, что надо бы ее отпустить. Она сверху только злая, и если к ней по-доброму, так она сама же придет потом и все расскажет, вот ведь какой факт получается. И еще: насчет работы. Может, с комсомолом связаться, чтоб над нею шефство…

— Давайте без советов, а? — недовольно сказал следователь. — Ваше дело — арестованную доставить и расписку получить. Ясно?

— Так точно. Только, похоже, запуталась девушка…

— Введите арестованную.

— Я хотел…

— Введите арестованную!..

Ковалев молча вышел, старательно пряча глаза от девочки. А та все ловила и ловила его взгляд, тиская в руках сигареты и спички. За дверью опять что-то прорычали, и Семен Митрофанович так и не успел ничего сказать. Просто приоткрыл

дверь и махнул рукой, приглашая в кабинет.

И вошел следом. Следователь, не глядя, писал что-то за столом, и поэтому Ковалев, кашлянув, рискнул-таки на продолжение очень неприятного для себя разговора:

— Разрешите потом соображения доложить…

— Получите расписку, — не поднимая головы, сказал Хорольский.

Младший лейтенант протопал к столу, взял рваный конверт с подписью следователя, уголком глаза заметил суетящиеся по изодранному платью худые пальцы с обломанными ногтями, сказал негромко:

— Вы все-таки разрешите…

— У меня все, — с явным раздражением прокричал следователь. — Можете идти.

Выйдя из кабинета и тихо притворив за собою дверь, Семен Митрофанович был вынужден сразу же присесть на тот самый стул, где только что сидела девочка. Сердце его вдруг сжало, точно в горячих тисках, а в глазах поплыли неторопливые и веселые цветные шары.

«Молодой еще, — расстроенно подумал он. — Ах, молодой, ах, горячий: напугает девчонку, озлобит…»

А сердце щемило, и воздух никак не хотел

пролезать в легкие, как ни пытался Ковалев вздыхать. Но он все время думал об этой девочке, и тревожился, и поэтому отсиживаться не стал, а боковым коридором вышел к парадной лестнице. Тут он маленько пришел в себя и стал неторопливо подниматься на второй этаж, здороваясь почти с каждым встречным, потому что народу здесь было не в пример больше, чем в тех закоулках, которыми он вел девчонку к следователю. Поднявшись по лестнице, он прошел небольшой коридор, застланный толстой дорожкой, и приоткрыл тяжелые резные двери:

— Можно, Вера Николаевна?

— Семен Митрофанович? Здравствуйте, дорогой!..

В комнате этой, едва ли не единственной в управлении, никто никогда не курил — даже сам комиссар Белоконь. Не потому, что здесь хранились бочки с порохом, коробки с кинопленкой или лежали дышащие на ладан сердечники, а потому, что здесь работала Вера Николаевна.

— Сергей Петрович ждет вас.

— Один там?

— У него полковник Орлов. Да вы проходите, Семен…

— Нет-нет, Вера Николаевна. — Ковалев упрямо

затряс головой. — Нет. Зачем же? Я обожду.

Когда-то он служил под началом лихого, безрассудно смелого капитана Орлова. Но время шло, и за двадцать лет капитан вырос до полковника, а он — до младшего лейтенанта. Каждому — своя песня: он на это не сетовал. Но входить, когда старшие работают, не мог. Позволить себе не мог.

— Вы к окошку садитесь, — вдруг тихо сказала Вера Николаевна и поставила стул у раскрытого окна. — Что, Семен Митрофанович, сердце?

— Не могу сказать. — Он пересел к окну и виновато улыбнулся. — Раньше как-то не чувствовал такого факта.

Вера Николаевна порылась в сумочке и достала белую лепешку.

— Положите под язык.

— А что это?

— Конфетка мятная. Ну?

— Спасибо, — сказал Ковалев, сунув валидол в рот и причмокивая. — Холодит.

Из-за бесшумной двери вышел Орлов с кожаной папкой в руке. Он мельком глянул на коренастого младшего лейтенанта в тужурке из грубого сукна и вдруг заулыбался, отчего его сосредоточенное лицо сразу стало домашним.

— Митрофаныч!.. — Орлов шагнул к поспешно вставшему Ковалеву, руками надавил на погоны. — Сиди, сиди. Хорошо, что я тебя встретил…

Вера Николаевна, привычно поправив прическу, прошла в кабинет. Орлов присел перед Ковалевым на подоконник, сказал таинственно:

— Хочешь со мной работать?

— Да я же рапорт, товарищ полковник…

— Знаю. Знаю, потому и предлагаю: с Сергеем Петровичем согласовано.

— Ну какой из меня теперь оперативник? — усмехнулся Семен Митрофанович. — Года уж…

— А я не оперативником, я воспитателем хочу тебя назначить. На курсах оперработников.

Ковалев улыбнулся, покачал седой, коротко стриженной головой.

— Добрый вы человек, товарищ полковник. Спасибо вам, конечно, большое, только образование-то у меня — семь классов до войны.

— Да ведь не в преподаватели, а в воспитатели, — несокрушимо улыбался Орлов. — Должность я такую хочу прошибить: воспитатель. Чтоб не только самбо да боксу учить, а слову доброму. Слово — оно ведь посильнее любого приемчика, верно?

Ковалев ответить не успел, так как из кабинета

вышла Вера Николаевна и негромко сказала:

— Вас просят, Семен Митрофанович.

Комиссар Белоконь собирал шариковые ручки. Он скупал их в магазинах, получал бандеролями, привозил из командировок и канючил у знакомых. Коллекция занимала дома два шкафа, но поскольку подросшие внуки стали проявлять к ней чисто практический интерес, Сергей Петрович наиболее ценные образцы держал в служебном кабинете. Весь огромный комиссарский стол был завален этими ручками — пластмассовыми и металлическими, круглыми и гранеными, многостержневыми, цветными, с секретами, с фривольными фотографиями, с особой мастикой. Но гордостью коллекции была очень простая и очень элегантная ручка, привезенная Белоконем из Парижа; когда комиссар был в хорошем настроении, он подписывал бумаги именно этой ручкой. Полковник Орлов серьезно уверял, что ее подарил комиссару Белоконю сам комиссар Мегрэ: молодежь верила, немея от восхищения.

— Здравия желаю, товарищ комиссар, — сказал Ковалев. И добавил: — Прибыл по вашему приказанию.

А комиссар играл знаменитой ручкой, глядел на него и улыбался. Но Семен Митрофанович улы-

баться в ответ не стал, а, наоборот, нахмурился.

— Что-то ты, брат, грозен сегодня, — сказал Сергей Петрович. — Уж больно ты грозен, как я погляжу! Ну, улыбнись, Семен Митрофанович!..

— Разрешите доложить, товарищ комиссар, — с неприступной серьезностью продолжал младший лейтенант. — Может плохо произойти, если не доложить.

— Ну давай, — с неудовольствием вздохнул Белоконь.

Ковалев доложил. Комиссар выслушал, нажал клавишу селектора:

— Следователя Хорольского срочно ко мне. С делом… — Он вопросительно посмотрел на Ковалева.

— Об ограблении супругов Веткиных.

— …об ограблении супругов Веткиных. — Комиссар отпустил клавишу. — Садись, Семен Митрофанович. Закуривай.

— Нет, разрешите выйти, товарищ комиссар. Вы его при мне песочить будете, а это — нарушение…

— Садись!.. — нахмурился Белоконь. — Мне про этого Хорольского не ты первый докладываешь. Спесив да ретив, а толку пока — нуль.

Семен Митрофанович покорно вздохнул, но

постарался устроиться в наиболее темном углу кабинета. Докладывая начальнику, он ни единым словом не обмолвился о грубости следователя, и все же ему было очень неприятно. Как тут ни крути, а выходило, что клепал он на сослуживца, используя личную симпатию высокого начальства, а это было совсем не по-мужски. И если бы не девочка та, не воробьиха, не взгляд ее, которым проводила она его, никогда бы Ковалев и полсловечка при начальстве не уронил. А тут не мог. Права не имел воробьиху эту забыть, крест на ней поставить. И не таких судьба общипывала до самого последнего перышка, и не помочь человеку при этом было просто невозможно. И плевать ему, в конце концов, что про него станет следователь по всем коридорам возить: он девочку сейчас защищал, а это поважнее закоулочных кривотолков…

Но все ж таки сел он так, чтобы Хорольский, в кабинет войдя, его не заметил. Вот, может, потому-то следователь быстренько все комиссару доложил, пока тот дело листал, ловко доложил и даже улыбнулся:

— Там у меня, товарищ комиссар, зацепочка сидит. Важная зацепочка: если нажать как следует — вся поколется. И кто ее бил, скажет, и за

что, и где вещички, что у Веткиных взяли, тоже, возможно, скажет.

— А чем же зацепочка эта зацеплена? — спросил Белоконь.

Знал Семен Митрофанович начальника, давно знал, а удивился: до того миролюбиво, спокойно прозвучал вопрос. И сам комиссар, внимательно читающий каждую строчку тощего дела, тоже выглядел сейчас этаким добродушным грибкомпенсионером. Хорольский сразу приободрился, потыкал в страницы пальцем:

— Валера — обратите внимание — здесь. И Валера — здесь тоже.

— Поразительно! — сказал начальник. — Пока я читаю, позвоните, пожалуйста, в справочную и попросите девушек подсчитать, сколько в нашем городе Валер.

— Валер?..

— Да-да. Зацепочек…

Комиссар снова ссутулился над листами, старательно разбирая строчки.

Хорольский, осторожно прокашлявшись, набрал-таки справочную. Его долго футболили там, в справочной, от стола к столу, он тихо оправдывался, настаивал, умолял, но в тоне его уже не было ни презрительного невнимания, ни ирони-

ческой покровительственности.

«Во учит! — с уважением подумал о комиссаре Ковалев. — Мозги вправляет — будь здоров!..»

А комиссар Белоконь невозмутимо изучал дело. И, поглядывая на него, Хорольский страдал и мучился:

— Ну почему же невозможно? Ну я прошу вас. Лично прошу… По каким признакам? Ну хоть от шестнадцати до двадцати шести лет пока… Ну хоть приблизительно…

Начальник закрыл папку и забарабанил по ней пальцами. Потом снял очки, долго тер усталые глаза.

— Ну, как там зацепочка?

— Сейчас. — Хорольский напряженно слушал, что ему бубнят с другого конца провода. — В общих чертах, конечно… Сколько?.. — И тихо положил трубку.

— Так сколько же «в общих чертах»?

— Что-то там… за двадцать тысяч…

— Прекрасно, — сказал комиссар. — Вот и займитесь: как раз к пенсии и закончите. Если вас с работы не попрут.

— Товарищ комиссар, я полагал бы…

— Полагать буду я. — В голосе Белоконя прозвучало такое стылое железо, что младший

лейтенант на всякий случай съежился. — А вы со всей прытью, присущей вам, вернетесь в свой кабинет и от имени милиции принесете девушке извинения. Затем лично проводите ее до выхода из управления, еще раз попросите прощения и улыбнетесь, как заслуженный артист. Понятно?

Хорольский угнетенно кивнул.

— Исполнив это, пройдете к начальнику следственной части и доложите ему, что я приказал не допускать вас до самостоятельной работы вплоть до моего особого распоряжения.

— Товарищ комиссар…

— Может быть, это научит вас ценить советы старших, Хорольский. Идите.

— Есть… — трагическим шепотом сказал Хорольский.

Тут он повернулся и глаз в глаз столкнулся с младшим лейтенантом. Замер, а потом, усмехнувшись, вскинул голову и так и вышел, заставив Ковалева сокрушенно вздохнуть.

— Чего пыхтишь? — недовольно спросил Белоконь. — Сделал доброе дело и стесняешься?

— Наклепал, получается.

— Наклепал?.. А я-то думал, ты слабого защитил и тем самым исполнил свой служебный долг. Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лей-

тенант, не тем твоя дурь мучается. Двадцать лет прошло, как мы с тобой в милиции служим, дети уж внуков мне надарили, а ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. А почему? А у тебя на все один ответ: «Не положено». Сделаешь доброе дело и больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Так, Семен Митрофанович?

Ковалев не ответил. Он пересел поближе к комиссарскому столу, заставленному ручками, и о чем-то старательно думал. Комиссар улыбнулся ему и достал из папки приказ.

— Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной «дядя Яша» — бабьем руганный, шпаной битый, бандитами стрелянный — покидает пост. Проводы тебе надо бы устроить, а, товарищ младший лейтенант? Торжественные проводы с пионерами в красных галстуках…

— Я вот чего думаю, товарищ комиссар, — перебил Семен Митрофанович вдохновенную речь начальника. — Я думаю, что по справедливости за оскорбление женщины надо бы вдвое, а?.. Или нет, не вдвое даже — впятеро. Обругал женщину плохими словами — три года. Ударил — пять, а то и все десять строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть просто,

это как игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек собственных воспитывать? Как в глаза им глядеть, когда об ее собственную гордость сволота грязная ноги вытерла? Согнуть легко, а распрямиться как? Как ей распрямиться потом, если согнули? Нет, товарищ комиссар, не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней, отдельные статьи ввести. И поначалу, пока не привыкли, построже! И потом… — Семен Митрофанович вздохнул. — О скидке, может, подумать?

— Какой скидке?

— Ну, чтоб девушкам, которые на производстве хорошо работают, было бы облегчение. Скажем, раз в год сапожки на меху по казенной цене. Или там пальтишко какое. Ведь не обеднеем же мы от этого, ведь богатая же у нас страна, и можем мы красоту свою одевать достойно жизни…

Комиссар улыбался уже от уха до уха, и Ковалев, наткнувшись вдруг на эту улыбку, замолчал и застеснялся.

— Ликург, — сказал Белоконь. — Тебя бы в Верховный Совет.

— А все равно так будет. Не может быть, чтобы так не было.

— Наверно, будет, — вздохнул комиссар. — Кто ее знает, что завтра-то будет. А вот сегодня… Сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать, Семен Митрофанович. Если, конечно, ты не передумал за это время.

— Нет, не передумал, товарищ комиссар. Семью уж в деревню отправил, уж сыновья ждут там. И внученька.

— Стало быть, подписывать?

— Подписывайте.

— А ко мне домой зайдешь?

— Зайду, — серьезно пообещал Ковалев. — Как только служить перестану, так и зайду. Как только прикажете.

— Завтра, — сказал комиссар. — Даю тебе денек на закругление всех дел, а с ноля часов ты, Семен Митрофанович, человек вольный. И поэтому жду я тебя у себя дома завтра к девятнадцати часам. Выпьем?

— Выпьем.

— Молодость вспомним?

— Вспомним, товарищ комиссар.

— И бой на Соловьевой переправе в августе сорок первого тоже вспомним… Хотя про это рассказывать мы не будем. Про это, Семен Митрофанович, у меня в доме все знают. На-

изусть. — Комиссар взял знаменитую ручку, осмотрел ее, прицелился и еще раз спросил: — Так подписывать?

— Подписывайте, товарищ комиссар.

— Рука свинцом наливается, Сеня, веришь? — вздохнул комиссар. — Словно моя собственная половинка на пенсию уходит…

И размашисто расписался…

4

Назад Семен Митрофанович возвращался городским транспортом: сперва трамваем, а потом пять остановок автобусом. Транспорт этот ходил плохо, а очередей граждане не соблюдали и кидались все скопом. Этого младший лейтенант не любил, но особо на людей не сердился: сердиться надо было на транспорт. Но за передней дверцей следил ретиво: подсаживал бабок да мамаш, помогал инвалидам и решительно гнал тех, кто поздоровее. И сам правом своим — правом входа с передней площадки — никогда не пользовался. Силенка еще имелась, а за бока не боялся: с народом потолкаться никому не обидно. Наоборот даже: приглядеть можно было, чтоб не выражался никто, чтоб женщин не обижали, чтоб какой-нибудь патлатый на инвалидном месте не

развалился. За этим он всегда особо смотрел.

Вот так час с лишком потолкавшись в трамвае да автобусе, он и прибыл в собственное отделение. Доложил, как положено, что приказ завтрашним днем оформлен, и получил эти последние сутки службы своей в личное распоряжение для закругления дел.

— Акт прощания завтра организуем, — сказал начальник. — Прощание, Семен Митрофанович, — итог службы вашей. Венец, можно сказать…

Насчет венца Ковалев не очень понял, поскольку речь для него шла все-таки об уходе на пенсию, а не о свадьбе. Но начальник был человек образованный и, значит, знал, что говорил.

В курилке, а от начальства он сразу в курилку подался, никого не было: то ли ребята на задания разошлись, то ли на обед. Но Семену Митрофановичу это даже понравилось: он неспешно закурил и достал распухшую от записей, вкладок и справочек записную книжку.

Многое в этой книжке хранилось: жизнь его четырех кварталов. Не та жизнь, которую каждый напоказ выставляет, не витринная — нутряная. Жизнь дворов и подъездов, лестничных клеток и общих коридоров, осенних вечеров и весенних

ночей. Нет, не ошибки людей фиксировал младший лейтенант в своей книжечке, не оговорки их, не досадные оплошности — он доброе в них искал. В самом отпетом пропойце, в каждой свихнувшейся потаскушке он искал тот кремешок, из которого можно было бы вышибить искру. И если находил, радовался безмерно и уважал тогда этого человека. А уважая, не жалел: вышибал искру…

Книжечку эту с бесценным ее содержимым он намеревался Степешко передать. Степану Даниловичу Степешко, старшему лейтенанту, который принимал от Семена Митрофановича его разностильные кварталы. Данилыч был солиден, неторопли́в, хотя и молод: только-только за тридцать перевалило. Вот эти три обстоятельства да еще старательно скрываемая Степешко доброта и решили выбор младшего лейтенанта Ковалева. Долго он к Данилычу присматривался, а раскусив, пошел к начальнику и попросил разрешения передать участок в степешковские руки: «Серьезный человек».

Потом он неторопливо водил Степана Даниловича из квартиры в квартиру: знакомил. Знал, с кем пошутить можно, а на кого бровью шевельнуть, где чайку попить, а где и отказаться:

— Права не имеем. На посту находимся; извините, конечно…

Месяц ходили, пока Степешко со всеми не перезнакомился. Хорошо он знакомился, уважительно, себя не теряя. Но Ковалеву особо то понравилось, что Данилыч свою тетрадку завел. Что он там в ней писал, неизвестно, но раз писал, значит примечал, значит положил глаз на эти квартальчики, значит не сиротами они останутся после ухода Ковалева. А это очень важно, когда после тебя не пустое место остается, не бабьи ахи да воспоминания, а дело, тобою начатое. Очень это важно для совести и спокойствия души.

Об одном жалел Ковалев: нельзя было сегодня кварталы те Степану Данилычу передать. В госпитале лежал Данилыч: неделю назад компанию пьяную просил разойтись подобру-поздорову. Тихо просил, спокойно, а очнулся в госпитале: бутылкой сзади ударили. Так просто ударили — и все. Для смеха.

Но госпиталь Семен Митрофанович на завтра планировал. Навестить товарища, доложить, что в кварталах слышно, и книжечку передать. Для изучения. А уж потом, после этого последнего служебного дела, затянуться в мундир потуже и первый раз в жизни прийти в гости к товарищу

комиссару Белоконю. Впервые за тридцать лет дружбы…

А сегодня следовало последний обход по кварталам сделать. Выборочно, конечно: с кем — попрощаться, кого — предостеречь, кому — погрозить маленько. Грозить тоже приходится, чего уж. На то у милиции и права, и власть, и авторитет, и сила. И пока младший лейтенант Ковалев не стал просто гражданином Ковалевым, он этот авторитет, власть эту и силу в своем лице повсеместно представлял. Всегда помнил об этом и гордился.

И сейчас, сидя в курилке, он книжку свою в который уж раз перечитывал, припоминал и выводы делал. И помечал, к кому когда зайти следует и в какой последовательности…

> «17 февраля. У дома № 16 группа: Самсонов Олег, Нестеренко Владимир, Кульков Виталий и двое неизвестных наносили оскорбление словом гражданке Тане Фролкиной и бросались в нее снежками.
>
> Проверить: почему Таня смолчала».
>
> «18 февраля. Мать говорит: Таня два раза не ночевала дома, три раза приезжала на такси и – выпивши. Кто-то купил ей

сумочку и платок. Потому тогда и смолчала: значит, стыд».

«23 февраля. Проведена беседа с гр. Таней. В праздник Советской армии напомнил ей о покойном отце, геройски умершем от фронтовых ран. Заплакала хорошими слезами…»

Нет, к Тане можно было не ходить: Таня вышла замуж, Таня счастлива, Таня девочку родила. А где человек счастлив, там милиции делать нечего…

«Кульков Виталий выпивает после работы, а в субботу так напивается непременно. Мать влияния не имеет, а бывший отец проживает в гор. Борисове.

7 марта. Имел беседу о гр. Кулькове Виталии в райвоенкомате. Отнеслись со вниманием…»

В армии гражданин Кульков Виталий. И матери пишет регулярно.

«Гр. Кукушкин, водопроводчик. Пьет и в нетрезвом виде бьет жену. Жена, несмотря что женщина крупная, от побоев первого родила мертвенького, а второй

– мальчик с нервами и детей дичится: видно, стесняется за отца…»

Вот Кукушкиных проведать придется: опять вчера шумел. Придется потолковать по душам, прощупать, вышибить искру: Степешко легче работать будет…

И так — листик за листиком — продумал он весь свой талмудик. Каждую запись прочитал как бы наново и за каждой такой записью увидел вполне конкретное лицо со своим взглядом и норовом, со своим говорком и со своими родимыми пятнышками…

Но до обхода этого прощального Семен Митрофанович все же плотно пообедал. Человек он был дальновидный и понимал, что одним чайком сегодня может не обойтись. Ну а по сытому состоянию и от чарки легче отказываться, и опять же не так она, чарка эта, воздействует, если отказаться все же не удастся. Исходя из этого младший лейтенант купил в гастрономе две пачки пельменей и пошел домой.

Квартира у него была двухкомнатная — тесновато, конечно, для семерых-то, что и говорить, — но зато с большой кухней. В кухне на казенном, списанном по дряхлости диване спала старшая

дочка, Полюшка, — та, что внученьку ему подарила нежданно-негаданно. Тихая девочка была, войной пришибленная — оттого, может, и не задалась у нее пока жизнь. Но Семен Митрофанович в справедливость свято верил, а потому твердо был убежден, что такое доброе да простое сердечко, как у его Полюшки, отогреется еще и счастьем и радостью.

Парни — Колька, Владлен да Юрик — в маленькой комнате жили. Старший — Владлен — уж в армии отслужил, жениться собирался, да все откладывал. А Юрка учился еще. И Юлька училась — младшая самая: она с ними в большой комнате спала. За шкафом.

Юлька да Юрка — его были. Кровные. И хоть никогда, ни единым взглядом не сделал он различия между детьми — своими там или не своими, — а с кровных невольно строже взыскивал. Придирчивей и в смысле дисциплины, и в смысле отметок. Но не потому, что его они были, плоть от плоти его, а потому, что не в лихолетье росли, не бурьяном на заброшенной пашне, а в семье, в городе. Сыты были, обуты, одеты — как с таких не спросить?..

В квартире многое их собственными руками было сделано. И не полки да антресоли — это его

ребята еще мальчонками освоили и сделали сами всем соседям, — а серьезная мебель: шкафы, тумбочки, скамейки и обеденный стол. Огромный стол, на всех семь человек с простором, со столешницей из строганой липовой доски, которую ножом поскоблишь — и как новая. Настоящий стол: такому ни клеенок, ни покрывашек не требуется — он сам за себя говорит. И потому столом этим Семен Митрофанович чуточку гордился.

Сейчас на столе ворохом лежали подарки: жене и Полюшке — на платья, Владлену — костюм, Кольке-шалопаю — приемник карманный, школьникам Юрке да Юльке — мелочишка всякая. Это все сюрпризом его было, это все он тайком покупал, из собственных карманных денег двугривенные откладывая. Давно он это задумал, сюрприз-то этот, и рапорт только тогда подал, когда кое-что скопил.

Зато теперь Дедом Морозом в деревню ехал. И заранее представлял, как они все радоваться будут, как удивляться, как женский состав к зеркалу кинется. И даже как жена его ночью допрашивать начнет, где он столько денег раздобыл, и как заплачет потом — тоже представлял. И улыбался, в сотый раз подарки эти перебирая. Особенно когда куклу в руки брал: хорошую куклу — ростом

с внученьку.

Семен Митрофанович плотно пообедал двумя пачками пельменей, напился чаю с калорийной булкой, со вкусом, неторопливо покурил на Полюшкином диване. В дрему его слегка клонило, но он сладко этак поборолся с ней и вышел победителем. Позевал, потянулся и встал: пора было в кварталы идти. В прощальный, а потому и чуток торжественный обход.

Он даже побрился перед этим походом: так, для порядка, поскольку с утра еще ничего не выросло. Побрился, смахнул с сапог невидимую пыль, почистил щеткой тужурку. Все это делал он неторопливо и улыбался. Себе самому улыбался, удивляясь, до чего же, оказывается, важен был для него этот последний обход, это прощание с людьми, с которыми всегда держался только официально. По-доброму, конечно, по-человечески, но в рамках. Как положено.

Начать следовало с самого трудного: он всегда так поступал, всю жизнь. А трудными для него были семиэтажки — те, с которых до сих пор сыпались архитектурные излишества. Не налаживался с их жильцами у него контакт, хоть и старался Семен Митрофанович его наладить. С одним, правда, все было в порядке, с сорок пятой

квартирой, и поэтому сегодня младший лейтенант оставлял ее, так сказать, на закуску.

Понятно, он не всех подряд обходил: некоторых тревожить вообще не стоило, иных просто избегал, а другим только «до свидания» сказать собирался через дверную щель. Но были и такие, не посетить которых он по долгу службы просто не имел права…

5

В семнадцатой долго не открывали: Ковалев знал почему и только усмехался. И звонок давил настойчиво и требовательно: не в гости шел — навещал вполне официально, как представитель власти. Наконец зашаркали там, по коридору.

— Кто?

— Младший лейтенант милиции Ковалев. Откройте, гражданин Бызин.

— А зачем?

— Не тяните: все равно ведь войду.

Зазвякали за дверью: Семен Митрофанович здесь всякий звяк изучил досконально и потому с уверенностью мог заявить, что звякают дверной цепочкой. Потом щеколда брякнула, замок повернулся, и дверь открылась ровнехонько на длину предусмотрительно накинутой цепоч-

ки. В щели показалось круглое лицо: частями, поскольку целиком не вмещалось, — и посверкивало на младшего лейтенанта то правым, то левым глазом.

— Нагляделись?

— А к чему это посещение, позвольте спросить? Я не заявлял, не шумел, как некоторые, не скандалил…

— А времечко-то идет, гражданин Бызин. Да. Идет. А мы — стоим. Но я терпеливый, вы-то знаете.

Гражданин Бызин подумал, посверкал на Ковалева то левым, то правым глазом (точно прицеливался), прикрыл на секунду дверь и звякнул цепочкой.

— Терять из-за вас драгоценные свои минуты я не намерен, — сказал он, пропуская младшего лейтенанта в квартиру. — Я воспоминания пишу о товарищах, о жизни.

Ковалев ничего на это не ответил. Снял фуражку, повесил на крючок, пригладил перед зеркалом седой ежик (сквозь него уж и лысинка просвечивала). А гражданин Бызин, ворча, накидывал тем временем на дверь бесчисленные засовы и крючки. Потом они молча прошли в комнату и сели за стол друг против друга. Бызин хмурился и

прятал глаза, а Семен Митрофанович улыбался.

— Ну? — не выдержал наконец хозяин: он все время то потирал, то замысловато сцепливал пальцы. — Так в чем дело?

— А где же ваша машинка?

— Какая машинка?..

— Пишущая. Вот марки, правда, не знаю. Пока.

— Нет у меня никакой…

— Есть. — Младший лейтенант спрятал улыбку и вздохнул. — Есть, есть, гражданин Бызин. Та самая, на которой вы недостойные свои анонимки печатаете.

— Какие анонимки? — Хозяин вскочил, метнулся к дверям, вернулся. — Это еще доказать, доказать надо!..

Ковалев неторопливо достал записную книжку и извлек из нее две вчетверо сложенные бумажки. Развернул одну:

— Заявление. От гражданина Бызина Геннадия Васильевича, проживающего там-то. И подпись. Ваша подпись: вы тут насчет внеочередного ремонта хлопочете.

— Ну и что из того? Имею право!

— А вот другой документ. — Семен Митрофанович развернул вторую бумажку. — Письмо в милицию насчет гражданки Ларионовой Ольги

Юрьевны. И шпионка она, и фарцовщица, и развратница, и ночи напролет проводит в гостинице «Интурист».

— Правильно! — закричал Бызин, тыкая в младшего лейтенанта двумя указательными пальцами одновременно. — Сам, лично сам видел, как она в ресторане с американцами кривлялась, и штаны на ней в обтяжечку вместо юбки! Я показания могу, я свидетелем…

— Ответчиком, гражданин Бызин Геннадий Васильевич. Ответчиком придется, вот ведь какой факт получается. Письмо-то это вы писали, хоть и без подписи оно. Писали и на машинке отстукали. Думали, шито-крыто все будет?

Гражданин Бызин сорвался вдруг с места и дважды обежал кругом стола.

— Докажите! Нет, вы докажите сперва!

— Так ведь доказано уже все, — спокойно сказал Ковалев. — Все доказано, и не надо вам бегать. Для здоровья это вашего опасно.

Хозяин хотел возразить, но захлопнул рот и, сев напротив, снова стал хрустеть пальцами.

— Была Ольга Ларионова в ресторане, гражданин Бызин. И в гостинице «Интурист» тоже была. И даже с иностранцами встречалась: практику она там проходит, на переводчика учится, и вы

этот факт знаете прекрасно. Так зачем же дегтем-то мазать, а?

Хозяин молчал. Открывал рот, набирал полную грудь воздуха, но звуки из горла не выходили. Младший лейтенант вежливо обождал и, не дождавшись, добавил огорченно:

— И таких анонимочек на разных граждан и по разным поводам написано вами восемнадцать штук. И все, извините, липа.

— Что?

— Липа, говорю. Неправда, значит. Или, сказать точнее, клевета.

Семен Митрофанович обстоятельно собрал все бумажки, вложил их в записную книжку, а книжку спрятал в карман. Хозяин по-прежнему отрешенно глядел на торшер возле журнального столика со стопкой старых газет. Ковалев поднялся и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по комнате.

— Пыльно живете, гражданин Бызин. Да оно и понятно: в двухкомнатной квартире площадью сорок два квадратных…

— Я заслужил! — вдруг закричал хозяин. — Я честно, себя не щадя, куда велели! Я сорок лет, я…

Он замолчал так же внезапно, как и начал.

Ковалев подождал, не добавит ли он еще чего, но Бызин не добавил.

— Я ваших заслуг не отрицаю, — тихо сказал Семен Митрофанович. — Я ведь не о том, Геннадий Васильевич. Я ведь о том, что один вы в этих метрах остались, вот ведь какой факт получается. Дочь у мужа живет, жена — у дочери, а сын ваш с Ольгой Юрьевной Ларионовой в другом конце города комнату снимают. Он по ночам уголь на станции грузит, чтоб за комнату эту платить.

— Сожительствуют! — Геннадий Васильевич весь подался вперед. — Сожительствуют, а милиция потворствует?

— И здесь перебор, — строго сказал Ковалев. — Свадьба-то была. Была, гражданин папа, вот ведь какой факт получается. — (Геннадий Васильевич молчал.) — И откуда в вас злоба-то эта, Геннадий Васильевич? Почему вы никак понять не можете, что молодые по-другому жить хотят, не так, как мы с вами прожили? Веселее, звонче, радостнее. И — я, конечно, извиняюсь — честнее.

Хозяин упорно молчал, уставившись в одну точку. Глаза его были напряженными, будто он что-то ловил, а это «что-то» все время ускользало от него, и он снова ловил.

— Вот тут адресок ихний, — сказал младший

лейтенант и положил на стол записку. — Сходите к Ольге Юрьевне, когда сын на работе будет. Она хорошая, умная женщина, она все понимает…

— Что? Что она понимает?! — вдруг странным тоненьким криком перебил хозяин. — Тут сын родной, сын, сын ничего не понимает, сын собственный!.. Разве ж я о себе когда думал? Я ведь и думать-то о себе не умею. Не умею о себе думать и горжусь! Я о государстве нашем, о государстве день и ночь! Всю жизнь за благо его, всю жизнь до часа. Известно это кому? Почему же сын не уважает? Почему? Разве я сам себя когда до чего допускал? Я же только указаниям следовал, делал, как приказывали! А меня за преданность мою… Меня, меня, который, который…

Он скорчился, спрятал лицо в ладонях, повел плечами, сдерживая слезы, и не сдержал: всхлипнул. Семен Митрофанович горестно вздохнул, покачал головой:

— Где у вас капельки?

— Не надо… капелек, — шепотом сказал Бызин, ладонью растирая слезы. — Плохая молодежь, плохая. Развращенная. И отцов не чтит, заслуг их не уважает. Уголь грузит? Дурак! Пусть грузит, пусть!.. Небось, когда прижмет, прибежит. Прибежит ко мне, прибежит!..

— Нет, — сказал младший лейтенант. — Не прибежит. Не обманывайтесь.

— Да?..

— Да. Так что свыкнитесь с этим и не завидуйте другим.

— Это я-то? Я?.. Завидую?.. — Бызин с изумлением глядел на Ковалева.

И замолчал. И изумление на его лице словно окаменело, словно вдруг внутрь обернулось, в самого себя.

— Не завидуйте, Геннадий Васильевич, — тихо повторил младший лейтенант. — А сейчас попрощаться с вами разрешите. Здоровья вам пожелать и спокойствия души. Очень это важно на старости лет — спокойствие души. Очень.

Прошел в коридор, долго надевал фуражку, топтался: слушал, как там хозяин. А тот все что-то не появлялся. Потом вышел, глянул на Ковалева как на фонарный столб и молча стал отпирать затворы. И так же молча на место все крючки накинул, когда Семен Митрофанович вышел на лестничную клетку.

Давно уже замер звук последней задвинутой щеколды, давно прошаркали по коридору шаги, а Ковалев все еще стоял перед наглухо заложенной дверью — последней цитаделью, куда отступил

этот так ничего и не понявший в жизни старик. Стоял, вздыхал и расстроенно думал, что не так он провел свой последний разговор, как следовало. Ох, не так!..

6

С этим неприятным осадком он спустился вниз, пересек двор и поднялся на пятый этаж последнего подъезда. Поднимался он не торопясь, с одной, правда, остановкой, потому что строители этих семиэтажных ампиров забыли предусмотреть в подъездах лифты. Однако Семена Митрофановича раньше это как-то не очень заботило, и только сегодня пришлось-таки вспомнить, что на пенсию он уходит не по собственному капризу. Поэтому у нужной ему квартиры он задержался дольше обычного, чтобы отдышаться и разговаривать голосом, положению его соответствующим. И пока он одиноко пыхтел на пустой лестничной площадке, вздыхая и сокрушаясь, что по таким пустякам время теряет, вдруг показалось ему, что за дверью, перед которой он стоял, ясно и весело прозвучал девичий голос. Слов Семен Митрофанович не разобрал, но голос… голос узнал сразу: насчет этого слух у него был в полном порядке. Воробьихи той голос-то

был, девчонки, с которой он вместе ехал сегодня в служебном газике.

А вот того, ради кого младший лейтенант сейчас перед дверью пыхтел, того совсем не Валерием звали, а Анатолием. И никаких Валер в друзьях его вроде никогда не числилось, как Ковалев ни пытался припомнить…

Но это так, на всякий случай в нем промелькнуло. Просто для уточнения, да и голос при всем его милицейском слухе мог вполне свободно другой птахе принадлежать — и совсем, может, не воробьихе даже, а голубке или лебедушке. И младший лейтенант, усмехнувшись про себя этому соображению, нажал кнопку звонка.

Он только прикоснулся к ней — так ему показалось, — а дверь вдруг словно сама собой распахнулась, и на пороге оказался хозяин: в белой рубашке, хоть, правда, и без галстука.

— Ну ты молоток, старик! С космической ско…

Все это он выпалил бодро и радостно, но, увидев, кто стоит перед ним, осекся, сглотнул полслова и — онемел. Но Семен Митрофанович не глядел на него: он через плечо его смотрел вглубь коридора и слово был готов дать самое твердое, что мелькнула там, в глубине, легкая фигурка. Мелькнула как видение, точно ветром снесенное, и все-таки

Ковалев засек и худенькие плечи, и совсем по-особому вздернутую голову воробьихи…

— Простите, — растерянно бормотал Анатолий. — Спутал. Друг обещал заглянуть. Думал, он…

Пока шло это необязательное лихорадочное объяснение, Семен Митрофанович оглядывался. Видение, в котором он точно узнал свою недавнюю подопечную, уже скрылось где-то в недрах огромной квартиры, но у самого порога остались небрежно сброшенные модные туфельки: лак на одном был чуть поцарапан. Все это младший лейтенант успел разглядеть, пока Анатолий многословно и непривычно вежливо объяснял свою ошибку. И разглядеть успел, и даже про себя усмехнулся, вспомнив, откуда царапина на туфле: девчонка в газике ноги под сиденье запихивала, пряча от него обновку…

— Вежливый ты сегодня, Анатолий.

— Я вообще вежливый. — Парень неопределенно пожал плечами, выдавил улыбку, как пасту из тюбика, и впервые рискнул поднять на Ковалева глаза. — Меня вежливости еще мама с папашей…

— А сейчас где они?

— На даче… — Анатолий как-то странно усмех-

нулся. — А зачем вы спрашиваете? Вы же и так все знаете.

А глаза были блудливы, как мыши: то ли боялся, что младший лейтенант родителям про девчонку расскажет, то ли еще чего-то боялся, посерьезнее. И в квартиру не пускал, явно не пускал, стоя на пороге. И еще — спешил. Спешил куда-то, слова без оглядки роняя. Пустые слова: не для разговору — для болтовни.

Обо всем этом младший лейтенант думал как-то сразу, в целом, не отделяя причин от следствий да и не ища их сейчас. Он по опыту знал, что хуже нету, как причины да следствия с ходу устанавливать, и поэтому, все замечая, выводы делать опасался. Выводы завтра сделать можно будет, в госпитале, вдвоем с Данилычем.

— Жалуются на тебя, Анатолий.

— Что?.. Кто?

— Так и будешь меня в коридоре держать?

— А… Извините. — Анатолий отступил в сторону, предупредительно распахнул ближайшую дверь. — Прошу.

И это было не совсем обычно, потому что Семен Митрофанович все эти квартиры, весь строй их и быт давно наизусть знал, потому что прежде его всегда в большой комнате принимали, в столо-

вой. А это была папашина комната: сюда самому Анатолию и то был вход заказан.

А сегодня — и дверь нараспашку, и это Ковалев тоже запомнить постарался.

Комната была маленькой: дворцы эти лишь снаружи роскошно выглядели, а внутри только лестничные клетки соответствовали внешнему виду. А комнаты в каждой квартире были на редкость неудобными, и эта, хозяйская, была более схожа с кладовкой, чем с жильем человеческим: свету в ней было мало, дверь — велика, да и барахлишка здесь скопилось тоже предостаточно. И барахлишко-то странное было, очень странное: громоздкое, старое, неудобное, широкозадое какое-то.

— Присаживайтесь, — сказал Анатолий. — Можете закурить.

«“Советский Союз”, — подумал Ковалев. — Сорок копеек пачечка…»

И сказал:

— А закурить-то у тебя найдется?

Парень хлопнул по карману, метнулся к дверям:

— Сейчас!

Услужлив он сегодня был, ох услужлив! И вежливостью от него несло, как одеколоном из

парикмахерской…

— Вот, пожалуйста.

«БТ». Младший лейтенант даже обрадовался, что другими оказались сигареты. Почему обрадовался, и сам понять не мог, но обрадовался.

И закурил, хоть от сигареток этих в горле у него першило.

— Жалуются на тебя соседи, что нарушаешь ты постановление горсовета.

— Какое постановление?

— Насчет шумов. Магнитофон у тебя больно зычный, Анатолий. На весь квартал хватает.

— Так ведь музыка. Искусство, товарищ младший лейтенант.

Осваивается понемногу, раз об искусстве заговорил. Значит, страх проходит. Перед чем же страх-то был? Что его напугало?

— Искусством, согласно постановлению горсовета, заниматься можно до двадцати трех часов. А потом — конец всякому искусству. Ясно?

— Усвоил.

— Если бы ты песни красивые играл, тогда бы и нареканий не было. А у тебя будто режут кого. Орут какие-то нетрезвые на иностранных языках. И орут громко.

— Вы попутно и эстетике обучаете?

— Попутно. — Ковалев поднял палец. — Именно что попутно, Анатолий. Это ты умно сказал.

И замолчал. Пыхтел себе сигареткой, разглядывал громоздкие комоды и ждал. Видел, как Анатолия вдруг в краску кинуло, как закурил он…

— А что вам, собственно, нужно? Неужели ради магнитофона этого?..

Не выдержал. Брякнул с нервов и замолчал. Проболтаться боится, что ли?

— Попутно, — повторил Семен Митрофанович. — Магнитофон — это попутно. Веткиных знаешь?

— Не знаю я никаких Веткиных!..

Громко слишком выкрикнул. Слишком громко.

— Среди прочих вещей, что взяли у них, туфли лаковые числились. Иностранного производства туфли: дочка их за границей купила и у родителей на хранение оставила.

— Ну и что из того? — грубо перебил Анатолий. — Мне-то что до этих туфель заграничного производства?

— А то, что они у тебя в передней стоят, эти туфли.

Это он спокойно сказал, размеренно. Сказал и ждал, что будет. Вскочит Анатолий, закричит, по-

краснеет — что?.. Что-то должно было произойти, потому что туфли эти он видел собственными глазами и сейчас по первой реакции парня должен был понять, знает ли сам Анатолий, что туфельки эти — ворованные?..

И промахнулся. Позорно, как первогодок несмышленый, опечатку допустил. Крупнейшую опечатку!..

Не вскочил Анатолий. Не закричал, не покраснел — спросил. Спокойно спросил, улыбаясь:

— Какие туфли, товарищ младший лейтенант?

Все понял Семен Митрофанович. По глазам, по чуть прорвавшемуся торжеству, по спокойствию. И поэтому снял этот вопрос с повестки, как неоправданный:

— Шучу я, Анатолий. Шучу!

Встал, пошел к двери — Анатолий и здесь поспел предупредительно распахнуть ее. Вышел в коридор, стрельнул по полу глазами: все правильно. Тю-тю туфельки те вместе с ножками! С приветом, как говорится!..

— Вместо меня теперь будет Степан Данилыч Степешко, — официально сказал Ковалев. — Ты уж не беспокой его нарушениями, ладно? Как-нибудь до двадцати трех укладывайся в рамки.

— Уложусь.

— Ну, счастливо тебе, Анатолий. — Шагнул к дверям, обернулся вдруг. — А ведь туфельки-то были. Были, Толя, вот ведь какой факт получается. Так что учти. Если умный.

И вышел. Нарочно быстро вышел, чтоб парень наедине с его последними словами остался. Очень это сейчас было важно: оставить его наедине с этими словами.

А сам во второй дом направился: из семиэтажек — второй. И пока шел, улыбался: перехитрила его, старого волка, молодежь эта магнитофонная. Провела да вывела без стука, без шороха, пока он над собственными планами потел. Ну и правильно сделала: не держишь ногу — выходи из строя. Еще одно доказательство, что в самый цвет он рапорт подал. В самый раз, в яблочко.

Нет, не верил он, что Анатолий в квартирной краже замешан. Ну задирист парень, ну нагрубить может, ну старших не почитает, ну, с девчонками там, с винцом замечен — так ведь от этого до уголовщины никакая ниточка не ведет. Совсем это разные вещи, и под один параграф ставить их не следует: ошибочно это. Да и по характеру Анатолий не из тех, что в капезе, как в собственную квартиру, приходят. Он ведь не милиции боится, он запачкаться боится и, значит,

именем своим дорожит. А это тормоз надежный.

Однако воробьиха была у него? Вроде была. Туфли на полу в прихожей лежали? Лежали. Без всяких «вроде»: точно лежали. И ждал Анатолий кого-то, с нетерпением ждал. Кого, спрашивается?

7

Вопросы эти в книжку он заносить не стал, а решил при встрече ознакомить с ними Данилыча. Не просто ознакомить: обсудить. Насчет профилактики и девчонки этой. Воробьихи…

— Не заперто! Входите!

Он и не заметил, как к Агнессе Павловне постучал.

Вошел, снял фуражку, крикнул в гулкую квартиру:

— Добрый день, Агнесса Павловна! Это из милиции к вам. Семен Митрофанович.

— Ну что там еще? Погодите, оденусь!

Усмехнулся Ковалев: то не заперто, то погодите. Странный народ, женщины одинокие!

Агнесса Павловна в тридцать овдовела, красивая бабенка была, тугая, ядреная, и все соразмерно, ничего не скажешь. Завидная вдовушка: и квартира, и дача, и машина, и в самом соку.

Однако тогда она не спешила. Тогда она так считала, что лучше быть вдовой профессора, чем женой аспиранта. И жила не задумываясь, точно раскручивала много лет назад взведенную пружину. Без оглядки жила, словно на бегу. Ну а теперь… теперь добежала. Теперь ей самая пора была к месту причаливать, на якорь становиться, а якоря-то этого в наличии и не имелось. О якоре своевременно заботиться следует, и умные люди его загодя подбирают…

— Входите!

Дух в большой комнате стоял, точно в милицейской курилке под утро. И окурки везде понатыканы: в пепельницах, в тарелках, в цветах. И рюмки немытые на столе, и бутылки пустые: хороший кавардак здесь вчера устраивался, на всю катушку…

Младший лейтенант первым делом окна настежь распахнул, чтоб выдуло весь этот кабацкий дух к чертовой матери. Тут Агнесса Павловна вошла — в пестром халате, зеленая то ли с пересыпу, то ли с перекуру. Сказала безразлично:

— А, это вы…

Плюхнулась в кресло, схватила сигарету. Семен Митрофанович ждал у окна, пока она в соображение войдет. Ждал, глядел на измятое,

безжизненное лицо этой еще совсем нестарой женщины, на дрожащие пальцы и жалел ее. Раздраженно жалел, дурой чертовой про себя ругая.

— Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по-особому сварю: меня композитор один научил.

— Это потом, спасибо. Тихо вы вчера гуляли.

— При закрытых окнах. — Она усмехнулась. — Цените, Семен Митрофанович.

— Ценю, — серьезно сказал он.

Не отшутился: правду сказал. Он уважал ее, беспутную, добрую и очень одинокую. И она его уважала: вся гульба здесь втихую шла, за тяжелыми шторами, чтобы ему, младшему лейтенанту Ковалеву, поменьше было беспокойства.

— С прошедшими именинами вас.

Она покивала. Потом вдруг улыбнулась, даже глаза чуть ожили.

— Учтите: мне — тридцать девять, и ни на один день больше!

Сорок три ей вчера исполнилось, но точность здесь была ни к чему. А вздохнул Семен Митрофанович по другому поводу.

— Себя бы пожалели.

Всерьез сказал, и не во исполнение параграфа — от души. Сроду бы он никогда себе не признался, что… Ну да что уж там: он милиционер, а она

— кофе с композиторами… Да и потом, усмехнулся Ковалев, ему завтра на пенсию, а ей вчера — тридцать девять, и ни на один день больше. И вздохнул:

— Пожалели бы вы себя, Агнесса Павловна!

— А!.. — Она беспечно махнула рукой, сигарета немного привела ее в чувство. — Так как же насчет кофе?

— Кофе?.. — Он прошел, сел напротив. — Это потом. Сами выпьете. Я ведь просто так зашел. Попрощаться зашел, точнее сказать.

— Попрощаться? Уезжаете куда?

— Уезжаю, Агнесса Павловна. Совсем уезжаю, потому как с ноля часов выхожу на пенсию.

— На пенсию?.. — Она встала, глядя на него и вслепую тыкая сигарету в пепельницу. — Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?

— Нет, не шучу. Сдаю участок новому товарищу, старшему лейтенанту Степешко Степану Даниловичу. Мы с ним заходили к вам, да вы аккурат на даче были…

Она вдруг бросилась к столу, зазвенела бутылками:

— Черт!..

— Что вы там, Агнесса Павловна?

— Погодите!..

Зло сказала, с сердцем, и вышла так стремительно, что полы халата крыльями взлетели в воздух. И вернулась быстро: Ковалев даже подивиться не успел, куда это ее унесло. Притащила початую бутылку коньяку и две чайные чашки: остальная посуда, видать, вся грязная была.

— Не все вчера вылакали.

Плеснула в чашки.

— Не надо, — сказал он. — Я при исполнении, а у вас печень больная. И ночь вы не спали, и курили много…

Он замолчал, потому что увидел вдруг, что из глаз ее медленно, одна за другой, текут слезы. И она их не вытирает, а только моргает часто.

— Семен Митрофанович! — Она глубоко вздохнула. — Семен Митрофанович, дорогой мой, вы же один-единственный во всем свете ко мне по-человечески относились… Нет-нет, вы не говорите ничего, вы помолчите, я говорить буду. Вы меня от всех этих баб, от всех этих Бызиных, от склок, сплетен, дрязг вот уж сколько лет грудью своей прикрываете. Если бы не вы, сожрали бы они меня. Сожрали бы, Семен Митрофанович, сожрали!.. Вот почему… — Она помолчала, улыбнулась. — Реветь хочется, понимаете? Но это так, это пройдет… — Агнесса Павловна вдруг совсем

по-девичьи шмыгнула носом. — Живу я беспутно, глупо, пошло живу — это я все понимаю. За это и наказана: ни семьи, ни детей, ни внуков — пустота впереди. И вы, вы один поняли, что мне… мне… Ну, скажите, что мне, Семен Митрофанович. Скажите на прощание.

— Страшно вам, Агнесса Павловна, — тихо сказал Ковалев. — А особо по ночам страшно, и потому вы ночей одиноких боитесь и себя губите, гостей со всего города созывая…

— А теперь и вы уходите, — перебила она. — Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек! Будьте счастливы среди детей и внуков: уж кто-кто, а вы заслужили это.

Она залпом выпила коньяк, хватила чашкой об пол: только осколки брызнули.

— На счастье!.. А сейчас уходите. Уходите, Семен Митрофанович, а то я так реветь начну, что не обрадуетесь!

— Хорошо. — Он аккуратно поставил чашку, пошел к дверям. — Я вас Данилычу передал, Агнесса Павловна, так что не волнуйтесь. Данилыч — человек очень серьезный…

— Не надо меня никому передавать. Не надо: я ведь не деревянная.

— Тогда… — Он потоптался, обдумывая, следует

ли ей говорить то, что только сейчас пришло ему в голову.

— И говорить ничего не надо, — сказала она. — Не надо, пожалуйста, не надо: этак и до пошлостей можно договориться.

— Я к вам завтра зайду, Агнесса Павловна. Завтра в десять утра.

И вышел. И пока шел в следующую квартиру, все думал о том, что пришло ему вдруг в голову и о чем он завтра собирался беседовать с Агнессой Павловной.

А пришло ему в голову уговорить Агнессу Павловну бросить эту забубенную жизнь. Оставить город, продать дачу, а вместо нее купить дом в том селе, в котором он сам намеревался жить. Там бы она уж никак не была бы одинока, там бы вокруг нее живо бы завертелись и бабенки, и ребятишки, потому что в сельской местности на культурных людей голод стоит великий, а Агнесса Павловна когда-то кончила музыкальное училище и играла на пианино. Да и кроме пианино, кроме бесед да лекций, многим она могла привлечь детвору, потому что детвора — она доброту аж за восемь верст чует и платит за нее червонной любовью. А в доброте Агнессы Павловны Семен Митрофанович не сомневался: он

доброту в человеке тоже за восемь верст чуял…

Основная трудность в том была, что надо было как-то завтра к этому вопросу подойти. Тут ведь не в словах дело заключалось — слова у нас одни на всех выданы, — тут основное — как эти слова сказать. Как не обидеть, не задеть, как согреть ими человека. Согреть — он об этом всегда думал, потому что мерзнет душа человеческая при центральном отоплении, мерзнет, льдинкой покрывается, и всегда надо стараться так сделать, так сказать, чтоб от льдинки той только роса осталась. Роса — это ничего, это хорошо даже. Роса — она освежает…

Шел старый милиционер по крутым лестницам, потел в грубой тужурке, отдувался на площадках и думал. Думал, как ему завтра росу эту в душе прокуренной пробудить…

8

И только перед знакомой дверью думы эти временно в сторонку отложил. Поправил фуражку, тужурку одернул, проверил, на месте ли галстук: словно не к жильцу шел, а к самому комиссару товарищу Белоконю, который ждал Семена Митрофановича завтра ровно в девятнадцать часов. Но уж очень уважал Семен Митрофанович

этого жильца, очень уж разговаривать ему с ним приятно было, и поэтому младший лейтенант Ковалев к встрече всегда готовился строго.

А зауважал он его поначалу от удивления. Давно это было: он тогда только-только с домами этими знакомился и в эту квартиру позвонил по долгу службы. Времени было аккурат половина пятого, но хозяева чай пили, и ему пришлось приглашение к столу принять: чай — не водка, инструкция не препятствует. Хозяин и тогда был не молод (сейчас-то совсем уж облез и побелел!). Далеко не молод, а улыбался, как молодой, — глазами. Младший лейтенант представился как положено…

— Митрофанович? — Молодо глаза улыбались, озорно. — Воронежский, значит?

— Точно, — растерянно подтвердил Ковалев. — Как угадали?

— Это теперь гадать приходится, откуда родом, скажем, Руслан Спартакович: то ли из русской былины, то ли из футбольной команды. А в старые времена в обычае было называться по местным святым: Митрофан — значит, воронежский, Абрам — из Смоленска, Прокоп — из Великого Устюга. И имен в обиходе было куда больше, и толк в них был совершенно особый: не внешний,

а внутренний, привязанный к своему месту, к своему роду-племени, к своей истории — не соседской…

С удивления началась их дружба. Семен Митрофанович терялся среди книг, которыми были заняты все стены до потолка. Терялся, слова путал, мямлил чего-то, но хозяин был прост, радушен, и вскоре Ковалев освоился. А освоившись, полюбил это место: старые книги, старую мебель, кабинетную тишину, уют. Но главное, что полюбил, — беседы хозяина. Разговоры он умел разговаривать, вот в чем дело было…

Так было и сейчас.

— Почему люди зло совершают, Артем Иванович? Зло ведь труднее совершить, чем добро, а совершают. И ведь голода нет, одеты все, обуты…

— А по-вашему, Семен Митрофанович, как: человек — добр или зол? Человек вообще?

— Вообще добрый он, Артем Иванович. Он ведь и рождается добрым: дети — они ведь все добрые, они ведь, что такое зло, и не понимают. Просто не понимают — и все.

— А добро?

— А добро понимают. Ведь ребенок, если с ним по-хорошему, он все свое отдаст. И поможет всегда, сколько сил имеет, без расчету. И слезы-то

его первые — от зла. Он не понимает его, зло-то, потому и расстраивается. Нет, не от боли он плачет, Артем Иванович, он от обиды плачет. От обиды, что зло в мире водится, вот ведь какой факт получается.

Артем Иванович — маленький, седенький, в золоченых очках — утонул в кресле по самые плечи. Поблескивал острым глазом, обдумывал каждое слово. И угощал чаем с вафлями. Вафли какие-то особенные были: дочка из Москвы присылала.

— Да, мир добр, человек зол — так в старину считали. А рождаются все одинаковыми, и ребенок Гитлер ничем не отличался от любого другого ребенка. А потом стал отличаться. Почему? Очевидно, есть во зле какая-то притягательная сила.

— Нет такой силы, — застенчиво сказал Семен Митрофанович. — Добро — это сила, а зло… Зло, я извиняюсь, конечно, вы человек ученый, зло, Артем Иванович, бессильно. Потому бессильно, что души за ним нету. А без души какая же сила?

— Справедливо, Семен Митрофанович, совершенно справедливо. Только припомните, пожалуйста, кого-нибудь доброго из истории.

— Да я ведь насчет истории-то…

— А я, историк по профессии, никого не могу припомнить. Макиавелли — помню, Игнатия

Лойолу — помню, Святополка Окаянного — тоже помню. Даже о Петре Великом думая, я в первую очередь казнь стрельцов вспоминаю. И знаете почему? Совсем не потому, что зло всесильно, а потому лишь, что зло есть отклонение от нормы. Зло есть горбатость духа человеческого, уродство его, а уродства, ненормальности, естественно, запоминаются прочнее, чем нечто обыденное. А норма-то для человечества суть добро, и будет время — будет, Семен Митрофанович, будет! — когда норма эта восторжествует окончательно, повсеместно и на веки веков!..

Артем Иванович давно уже о чем-то другом рассказывал — об истории чая, что ли, — а Семен Митрофанович, хмурясь, старательно обдумывал его слова. И чем больше думал над ними, тем все больше не соглашался и страдал.

— Я извиняюсь, конечно, очень, — опустив голову, тихо сказал он. — Вы человек ученый, вы книг вон шесть стенок прочли, а только очень я с вами, Артем Иванович, не согласен. Не обижаетесь?

— Помилуйте, Семен Митрофанович…

Семен Митрофанович осторожно откашлялся. Ему очень хотелось закурить, но хозяин был некурящим.

— Насчет того, что добро — нормальное дело, это я не спорю. Это все — правда чистая, тут я под любым вашим словом по два раза подпишусь. Только, как бы сказать… Причину-то вы не вскрыли, Артем Иванович. Говорите, у злого душа горбатая. Верно, горбатая, а отчего? По какой причине?.. Кто душу-то его с печки уронил? Нет ответа. А душа — она ни с того ни с сего горбатой стать не может. Тут причину надо иметь, вот ведь какой факт получается.

— И что же, Семен Митрофанович, нашли вы эту причину?

— Думается мне, нашел. — Младший лейтенант еще раз кашлянул, вздохнул поглубже. — Злой — он что такое? Он брать все любит. Он под себя все подминает, о себе лишь заботится, а на остальных ему, я извиняюсь, наплевать. А добрый — он как раз наоборот, Артем Иванович. Он потому и добрый, что о себе не думает, что о соседе страдает, что готов рубаху с себя последнюю снять. Давать и брать — вот что значит добро и зло. И пока давать да брать не сроднятся друг с дружкой, пока не уравняются, до тех пор и зло с добром рядышком шагать будут. Рядышком по жизни.

— Значит, вы считаете, что всеобщая экономическая уравниловка способна ликвидировать эту

извечную проблему?

— Нет, не считаю я так, Артем Иванович. Конечно, экономика — это могучий, как говорится, фактор, только не в ней одной дело. Экономика — это возможности: ну, купить там что, так я понимаю. А кроме купить, у человека еще желаний-то ой-ой! Он и славы хочет, и почета, и удобства жизни, и прав со всеми равных. Он брать все это хочет, а он давать должен, вот в чем вся штука-то. Сейчас какой самый главный глагол вредно действует? Брать. А должен какой по всему смыслу жизни нашей? А должен — давать. И пока каждый человек сам это не прочувствует, пока сам не поймет, что давать обязан, до тех пор мы зло не выкорчуем. Не искореним, как говорится, Артем Иванович.

— Ну а рецепт какой пропишем человечеству, Семен Митрофанович? Всеобщее самоусовершенствование, что ли?

— Воспитание, — серьезно сказал младший лейтенант и опять вздохнул. — Плохо у нас этот вопрос заострен, Артем Иванович. Перепутали мы где-то воспитание с учением и до сих пор никак в этом не разберемся. Что должна школа делать? Учить. А семья? А семья — воспитывать. Так почему же арифметике там, письму — этому

специалист учит, а воспитание граждан — государственное дело, правда ведь? — мамаше оно поручено. А мамаша от работы, от толчеи магазинной, от корыта, от кухни очумелая вся как есть. Ей не то что воспитанием, ей самой себе лоб утереть некогда, вот ведь какой факт получается… — Семен Митрофанович похмурился, посопел.

Все, что Ковалев сейчас Артему Ивановичу излагал, не вдруг родилось, не враз надумалось. Нет, Семен Митрофанович любил над жизнью поразмыслить, поворочать ее и так и этак, покантовать с грани на грань. И не просто поразмыслить, не повздыхать над трудностями, а свое предложить. Свое, взвешенное, обсосанное, ночами продуманное решение. Потому что не гостем он себя чувствовал в государстве своем, не винтиком, а хозяином. Хозяином с полной мерой ответственности. И потому решения эти он тоже в книжечку заносил: под особый параграф. И насчет этого параграфа тоже надлежало завтра с комиссаром Белоконем потолковать…

Итак, с семиэтажками, с дворцами этими покончено было раз и навсегда. С кем надо, поговорено, кому надо, указано, а кому просто: прощай, мол, гражданин хороший, дай тебе бог

никогда с милицией не встречаться. Трудный это был отрезок, и шел в семиэтажки Ковалев всегда без удовольствия, всегда с напряжением и потому уставал. А когда на работе без удовольствия устаешь, разве ж это работа? Это не работа, это наказание господне. Каторга.

В этом смысле для младшего лейтенанта роднее всего пятиэтажки были. Жил там народ и попроще, и помоложе, и повеселее. Здесь если уж не любил кто кого, так об этом без всяких анонимок весь квартал знал. Если гулял кто, так и окна настежь. Если спорил, ноль-два звонили. А то и ноль-три случалось…

Но скандалов не было. В целом. Мирным путем конфликты разрешались, а разрешившись, гасли, и вчерашние противники на следующее утро мирно калякали в автобусе по пути на работу. И вот за эту простоту, за отходчивость и беззлобность и любил Ковалев свои пятиэтажки.

9

Правда, он их напоследок оставлял, на сладкое. А пока, выйдя из семиэтажек, крюк сделал и навестил три оставшихся в его перестроенном районе деревянных домишка. Прежде здесь село было, потом село это само собой в дачный посе-

лок переросло, а в послевоенное строительство влилось в черту города и пошло под бульдозер. Почти все пошло: три дома всего уцелело. Два — потому, что в тупике оказались и на место их никто не зарился, а один — под голубой крышей, веселый такой, — один Семен Митрофанович сам сохранил. Лично. И крышу в прошлом году сам перекрасил голубой краской. Еле-еле краску такую достал. Нестандартную.

Собственно, понятия «сам», «лично», равным образом как и «мое», Семен Митрофанович употреблял редко даже в потайных своих мыслях. Стеснялся он этих слов, если за ними не стояло что-либо предосудительное: вина или проступок. Вот тогда младший лейтенант Ковалев громче всех кричал «сам» и «лично», а в прочих случаях предпочитал число множественное. Но домик под веселой голубой крышей как раз и явился причиной столкновения числа множественного с числом единственным, и тут уж младший лейтенант без слова «лично» так и не смог обойтись.

В те времена домик — черный, скособоченный, под ржавой крышей — торчал среди новеньких пятиэтажек, как гнилой зуб среди стальных коронок. С каждым месяцем все ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце концов

зажали с трех сторон. Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на веселом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было.

Впрочем, хозяев не было. Была хозяйка. Одна: Мария Тихоновна Лукошина, по-местному — баба-яга.

До той поры Семен Митрофанович как-то мало с ней встречался. В конфликты ее с соседями не ввязывался, жалоб на нее со стороны соседей не принимал (зачем жалобы, когда вот-вот люди по разным улицам разъедутся?), в гости не заходил: не приглашали. Дважды, правда, пытался: первый раз аккурат тогда, когда дома эти принимал, — но оба раза встречали его у дверей два сухих старушечьих глаза, и было в глазах этих что-то такое жесткое, такое неласковое, что младший лейтенант дальше порога и не заглядывал. И по взглядам этим, по угольям горящим под седыми бровями убежден был, что бабой-ягой старуху эту, одинокую и мрачную, назвали совсем не напрасно.

Второй раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от строителей по-

ступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко ломать не дает и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. Но и в тот день Семена Митрофановича пустили не дальше порога, и разговор поэтому получился на сквозняке.

— Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?

— Дайте помереть спокойно.

— Но ведь вам предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. Вы, Мария Тихоновна, подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство дает целую квартиру! Да тут…

— Дайте помереть спокойно.

— Выселим, гражданка Лукошина. Силой ведь придется…

— Дайте помереть спокойно…

До сих пор он того разговора простить себе не мог.

Вот на следующий день утром все и случилось. Получил бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо:

— Эй, хозяева, вытряхайтесь! Полчаса на сборы — и вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь!..

Не отвечали в доме. Стучал, кричал — молчание. Побежал за бригадиром, тот прораба

притащил, прораб — штукатуров и маляров из соседнего дома, что уже был сдан под отделку. Тоже стучали, тоже кричали — молчал дом. Молчал, пока прораб не приказал двери выломать. Только взялись за них — радостно, надо сказать, взялись, потому что не каждый день малярам такое развлечение, — только взялись: распахнулись эти двери, как в сказке. И баба-яга на пороге. Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и даже не плакала.

— Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист.

Поглядела на него угольями своими.

— Не бабуся я, — сказала. — Не бабуся, не мамаша, не теща: просто старая женщина. Очень старая женщина…

— Ломай! — закричал прораб. — Ломай, к чертовой бабушке, на мою ответственность! И так полдня потеряли!

— Как же можно так! — зашумели девчонки-маляры. — Права не имеете ломать! Перевезти сперва человека надо!.. Давайте, бабушка, мы вам поможем…

— Не надо, — сказала баба-яга. — Ничего не надо.

И ушла в дом. И пропала. Прораб, плюнув, к себе пошел, маляры — на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:

— Встряхни домишко — она враз выскочит.

Тут старуха сама вышла. Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в руках. В рамках портреты, четыре штуки.

— Ломайте.

— А вещи? — закричал бульдозерист. — Да она чокнутая, бабка эта! Где ваши вещи?

— Какие вещи? Глупости вы говорите. Ломайте, и все. Ломайте. Только я погляжу.

Села на плиты и портреты рядом сложила. Мастер подошел, пошутить хотел:

— Иконы, что ли, спасаешь, бабка?

— Иконы, — сказала. — Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. Живыми сгорели под деревней Константиновкой двадцать девятого июля сорок третьего года.

— Сыновья? — только и спросил бригадир.

— Сыновья, — ответила. — Экипаж машины боевой.

Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. И сказал тихо:

— В дом идите, бабушка. Пожалуйста.

А сам — в отделение, где все, как было, и рассказал. Вот тогда-то и включился Семен Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. Восемь раз в Архитектурное управление наведывался: просил, умолял, доказывал. Школу нашел, где танкисты эти учились, музей там организовал. С частью списался, с деревней Константиновкой: и из части, и из деревни в назначенный день делегации приехали. Матери альбом от части преподнесли и модель тридцатьчетверки, а от деревни — четыре урны с землей. С могилы земля, где все четверо ее сыновей, все ее внуки и все правнуки лежали.

А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли. И забор новый поставили. Это все просто было, это сами строители сделали. А вот чтобы домишко, где четверка эта по полу ползала, в план новый впихнуть, вот тут Семену Митрофановичу побегать пришлось. Вприпрыжку побегать, по этажам и кабинетам.

Но добился. Площадь чуть передвинули, сквер предусмотрели, и домишко тот в этот сквер как раз и вписался. И как только утвердили бумагу, так Семен Митрофанович и шагнул впервые за порог…

А теперь-то друзьями они с Марией Тихонов-

ной были. И не только они: дом пионерами с утра до вечера кишел — тут музей братьев-героев организовали, и шуму в доме столько появилось, что Семен Митрофанович даже заопасался. Но Мария Тихоновна улыбалась, и уголья на лице ее давно уже теплыми стали: грели, а не жгли…

А голубой краской крыша у домика в сорок первом году была покрашена. Еле-еле младший лейтенант отыскал этот колер…

Но пока шагал он от дворцов к деревяшкам, думал совсем не о Марии Тихоновне, а об Артеме Ивановиче. Думал с уважением: сколько лет сидит среди книг в душной, плохо спланированной квартире тихий, незаметный работяга-ученый, давным-давно позабывший о том, что у людей есть законные выходные и отпуска. И еще с неудовольствием думал, что у папаши Анатолия, к примеру, дача есть, а вот у Артема Ивановича ничего нету, и что это очень несправедливо. И тут ему пришло вдруг в голову, что несправедливость эту устранить легче легкого: в деревне той, куда он через сутки уезжать собирался, домишко купить труда не составляло. И даже, думал он, даже и покупать-то не надо, а надо только потолковать с руководством колхоза, какой умный и полезный для деревни человек Артем Иванович,

и колхоз — Ковалев в этом ни секундочки не сомневался — немедленно выделит ему дом и, возможное дело, даже будет отпускать молоко и картошку. И, обдумав это, Семен Митрофанович сразу повеселел и решил завтра же еще раз навестить Артема Ивановича и во что бы то ни стало уговорить его переселиться к ним в деревню хотя бы на три-четыре месяца в году.

И тут Ковалев во весь рот заулыбался, представив и Агнессу Павловну, и Артема Ивановича в деревне: вот это была бы компания на старости лет, вот это была бы жизнь. Думал он об этом вроде бы и всерьез, с удовольствием даже думал, а сам улыбался, еще и потому, что все это было только мечтой. А мечтать Семен Митрофанович любил, но всегда посмеивался над собой за такую особенность.

Однако на подходе к домику с голубой крышей он улыбочку с лица смахнул: хоть Мария Тихоновна, как оказалось, никакой бабой-ягой не являлась, все равно через порог этот он с улыбкой перешагивать не решался. Права не имел, если разобраться.

Вторично Ковалев за этот вечер чай пил: на сей раз настоящий — из самовара. Не мог он Марии Тихоновне в этом отказать и мужественно хле-

бал из стакана кипяток, сидя за тихим вдовьим столом на кухоньке.

— Конфеты берите, Семен Митрофанович. Пионеры вчера гостинец принесли.

— Спасибо, Мария Тихоновна. Вкусные конфеты.

— Володя шоколадные очень любил. И Коля. А Олежка с Юрой равнодушны к ним были. Я даже удивлялась, до чего равнодушны…

И это тоже в обязанность входило: слушать душеньку эту осиротелую. В сотый раз одно и то же слушать и вместе с нею переживать. Мелочь, пустяк, а старушке почти праздник: с кем же еще она о сынах-то своих поговорит, как не со старым человеком?..

— Дружные, просто на удивление дружные мальчики были. Ну, конечно, ссорились иногда, не без того. Но ссоры их никогда дальше порога не шли, и никто про это на улице и не знал…

Насчет этих воспоминаний Семен Митрофанович специально Степешко предупреждал. И водил его сюда трижды: для тренировки. Но Данилыч был человеком серьезным и сам понимал, где, как и кого слушать требуется.

— Они в первый же день решили, что будут в одном танке воевать. В первый же день, в

воскресенье то. А сложно было: Володя уж действительную отслужил, а Колюше и семнадцати не было. И ни за что их вместе брать не хотели, и все: и райвоенком, и горвоенком — все только ругались. Вот тогда Олежка — он всегда все придумывал и в школе только на отлично учился, тогда Олежка и предложил написать письмо в Москву. Самому Сталину…

Все знал Семен Митрофанович. Все документы, все письма их наизусть выучил, но поддакивал, когда надо, и вздыхал, когда положено.

Что после человека на земле остается? Память? Нет, память — это надстройка, это штука непрочная. А фундамент у нее — дело, которым человек всю жизнь занимался. А если человек этот ничего сделать не смог? Если он, как этот Колька, в неполных девятнадцать свечкой в танке сгорел, тогда что?.. А разве в бою свечкой сгореть — это не дело? Это не просто дело — это сумма всех дел, итог жизни, то, что прописью писать положено. И — удивляться: откуда ж у людей характер берется, что его и на такое хватает?..

— А вот скажите мне, Мария Тихоновна, по правде скажите: пошли бы ваши ребята добровольно, если бы знали, что погибнут?

Спросил — и сам испугался: глупый вопрос по-

лучился. А ведь он совсем о другом узнать хотел: он узнать хотел, чем те, сороковые, отличались от этих, семидесятых.

— А вы сомневаетесь в этом, Семен Митрофанович?

Опять у нее глаза угольями вспыхнули. И нос словно заострился: баба-яга проглянула.

— Я-то не сомневаюсь. Я понять хочу, Мария Тихоновна. И в смысле морали, и в смысле общем… Девочек ваши ребята не били случаем? Не обижали? Как вы думаете, может человек, который на женщину руку поднял, героем стать? Я считаю твердо: нет, не может. Герой — он и в мирной жизни герой, как вон Гагарин наш; вот о чем я думаю, Мария Тихоновна.

— Мальчики хорошие были. Очень хорошие. Это я вам не как мать говорю. Это я истину говорю.

— Вот-вот! — очень обрадовался Семен Митрофанович: он все никак не мог сформулировать свою мысль. — И я об этом же самом, Мария Тихоновна, об этом же самом! А у молодежи, знаете, часто неверное представление: раз, мол, драчун, раз хулиган, значит ничего он не боится и обязательно будет героем. А тут все как раз наоборот. Чем хуже человек в смысле дисциплины, тем ско-

рее всего не выдержит. Не выдержит настоящего боя, потому что настоящий бой выдерживают настоящие люди.

— Да, — сказала Мария Тихоновна. — Люди они были настоящие…

— И потому у меня к вам огромная просьба, Мария Тихоновна. Вы теперь часто с молодежью встречаетесь — подчеркните эту мысль! Рассказывайте им, какими настоящими парнями были ваши сыновья. Как они слабых защищали, как девушек берегли, как старшим всегда почет оказывали…

— Знаете, что я немцам забыть не могу, Семен Митрофанович? — вдруг ни с того ни с сего сказала она. — Сыновей, думаете? Нет, сыновей я им забыла. Я им внуков своих забыть не могу. Внучаток…

А он о воспитании заладил… А у человека этого вместо сердца одна рана незаживающая. И говорить он может только о боли своей, и ни о чем другом.

Вот так и скисло у него настроение на пути от семиэтажек к пятиэтажкам. И никто в том виноват не был, только он сам. Сам, лично, потому как ближайшую задачу посчитал самой главной для всех, для всего населения.

Расстроился Ковалев. Так расстроился, что остановился посреди улицы и закурил. И курил, пока не окликнули:

— Эй, начальник, прикурить позволишь?

Оглянулся: верзила под два метра. Глазки заспанные, кепочка набок, перегаром разит. И лицо незнакомое: не из его домов лицо, это точно… Семен Митрофанович нарочно спички помедленнее доставал, чтоб всмотреться. Верзила прикурил, сказал с зевком:

— Стоишь, начальник?

— Стою.

— Ничего у тебя работенка. Непыльная.

И пошел себе вразвалочку. Усмехнулся младший лейтенант:

— Непыльная…

Он на такие встречи только поначалу обижался, а потом понял, что обижаться-то и не следует. Ведь как раз у таких вот, заспанных, он и проторчал двадцать пять лет как бельмо на глазу: честный гражданин милицию не замечает. А раз так, не обижаться надо: гордиться.

И, как ни странно, встреча эта уравновесила перекос в душе его. Тот перекос, что возник после неуклюжего разговора с Марией Тихоновной. Решил Ковалев еще раз зайти к ней, завтра, как от

Агнессы Павловны и Артема Ивановича выйдет. Зайти повиниться за бестактность сегодняшнюю, прощения попросить и попрощаться. А решив так, повеселел Семен Митрофанович и к любимым своим пятиэтажкам зашагал в лучшем виде.

10

Был вечер, люди давно уже вернулись с работы, пообедали и теперь вылезли из всех подъездов во дворы подышать свежим воздухом. И в этом тоже была особенность пятиэтажек: лезли люди из них во двор при малейшей возможности. Стремились друг к другу, к общению, к разговорам, легко заводили знакомства, и поэтому во всех этих пятиэтажках не было ни тайн, ни секретов. Никто по норам своим не прятался — то ли потому, что жители привыкли к коммунальным квартирам, то ли потому, что, толкаясь по утрам в транспорте, работая на заводах, они уже органически не могли жить изолированно, жить только своими интересами. И Семен Митрофанович тоже не мог жить изолированно, тоже не мог жить только для себя и ради себя. И поэтому чувствовал он себя здесь как дома, и его принимали как своего, без всяких скидок на род занятий.

— Здорово, Семен Митрофаныч! Ну, как служба идет?

— Да ведь, считай, прошла уже, Кирилл Николаевич, закругляюсь я. Дела сдаю старшему лейтенанту Степешко… Я вроде знакомил тебя с ним?

— Знакомил, Семен Митрофаныч, знакомил. Закуришь моих?

Семен Митрофанович присел на скамейку рядом с суровым мужчиной со шрамом на лице, в белой рубахе, домашних брюках и в тапочках. Они закурили, и к ним со всех сторон потянулись отцы семейств. Рассаживались вокруг, кто где уместился, закуривали, шутили, вспоминали свое, смеялись. И младший лейтенант Ковалев, вдруг размякнув, расстегнул тужурку и снял давивший располневшую шею форменный галстук.

— …А она в ответ: «Знаю, — говорит, — я вас, командировочных: улетишь-уедешь, а мне это ни к чему…»

— Хо-хо!.. Ну Петрович дает!

— Не Петрович — девки дают прикурить!

— Так ты ни с чем и отчалил?

— Это тебе, брат, не в городе. Это Заволжье, там девки до сей поры кержаками пуганные.

— Вот где жену-то искать, Серега! Мотай на ус.

— А зачем мне пуганая? Мне непуганые больше нравятся.

— Глупый ты, Серега, парень…

— Ладно, отцы: вы свое, мы свое. Так, Семен Митрофанович?

— Смотря в чем свое, Сережа.

— Да он все больше насчет девок, Митрофаныч!

— Я всерьез, отцы: мне жениться пора.

— Гуляешь с кем?

— Я-то?.. Да была тут одна, с фабрики. — Парень смахнул улыбку, прикурил. — Хорошая девчонка, ладная. А потом с Толиком крутанула.

— С каким таким Толиком?

— Да с семиэтажек, Митрофаныч.

— А ты и спасибо сказал? — спросил суровый мужчина. — Увели девку, а он… Дал бы ему пару раз без третьих глаз!

— А мне это, Кирилл Николаевич, ни к чему. Силой любить не заставишь…

Вокруг гомонили о чем-то, а Семен Митрофанович вдруг выключился из общего хора, вдруг опять вспомнил воробьиху в служебном газике, синяки на ее лице. И еще Анатолия вспомнил, Толика этого: его трусоватую растерянность, его

наглинку и — туфельки в коридоре, которые потом ушли как бы сами собой.

Нет, не мог Серега про эту самую воробьиху здесь толковать: слишком уж просто все тогда выходило. Хотя по-прежнему неясность оставалась: за что девчонку эту били и кто же такой все-таки этот самый Валера?

— Ты, Сережа, Валеру, случаем, не знаешь?

— Какого Валеру, Семен Митрофанович?

— Ну того, что с Анатолием дружит.

— Н-нет, Семен Митрофанович, вроде у Толика никакого Валеры в корешах не водится… Не знаю, может, сейчас появился. А что?

— Да так, на всякий случай.

— Напарник у меня Валера. Валерка Гольцов…

— Да нет, Сергей, нет…

Зря он, конечно, про Валеру этого спросил, ни фамилии, ни примет, ни адреса его не зная. Стареть, видно, ты начал, Семен Митрофанович, что вопросы такие ставишь. Стареть…

Но Серегину девчонку, которую отбил Анатолий из семиэтажки, Ковалев все-таки постарался запомнить. Запомнить и сообщить об этом завтра старшему лейтенанту Данилычу.

— Уходишь, стало быть, Семен Митрофанович? Покидаешь нас, грешных?

— Ухожу, мужики, — вздохнул Ковалев, не выдержал. — Всякой службе свой срок положен.

— Неужто же мы вот так, всухую, Митрофаныча отпустим, ребята? Не чужой же он нам.

— Верно говоришь, Гриша. Тут у меня где-то два рубля жена проглядела.

— Да у меня рублевка.

— Держи трояк, Серега: тебе все одно бежать, как младшему.

— Сбегаю.

— Вот еще держи. Пятерка с нас троих.

— И с меня взнос. Закусочки прихвати, Серега.

— А у меня дома еще грибки сохранились…

— Гляди, супруга засечет, больше не выпустит.

— Это Митрофаныча-то провожать не выпустит? Да ты что? Или она не человек у меня?

— Стойте, что это вы? Не надо ничего, не надо…

— Ты, Митрофаныч, помалкивай. Ты гость сегодня.

— Товарищи, я же на службе. Я же официально прошу вас, граждане…

— А мы тебе сегодня не подчинимся…

— Вот, Сергей, еще взнос: с нашего подъезда.

— Не допру я столько, отцы…

— Пацанов для подхвата захвати — учить те-

бя…

— Давай, Серега, не задерживай, а то мужской отдел закроют!

— Граждане жители, я же официально предупреждаю, что не могу. Не имею права. — Семен Митрофанович решительно напялил галстук и застегнул на все пуговицы тужурку. — Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей…

— Погоди, Митрофаныч, — перебил строгий Кирилл Николаевич. — В семиэтажках был?

— Ну был.

— Бабу-ягу навещал?

— Ну, навещал.

— Так. Кого у нас по плану охватить должон?

— Ну, это известно! — улыбнулся Гриша, шустрый, улыбчивый мужчина без возраста. — Кукушкина повоспитывать надо; верно, Семен Митрофанович?

— К Кукушкиным зайти требуется, — подтвердил Ковалев.

— Ну так зайди, — сказал Кирилл Николаевич. — Исполни служебный долг, пока мы тут гоношиться будем. Иди, иди, чего время зря теряешь? Все равно ведь всухую не выпустим.

Все сейчас смотрели на него, улыбались, и по этим улыбкам Семен Митрофанович понял,

что всухую отсюда он действительно не уйдет. Придется выпить, хоть самую малость, а придется. Чокнуться с этими развеселыми, шумными мужиками, пожелать им счастья в трудовой и личной жизни и распрощаться. Да, отступать тут было некуда, и младший лейтенант Ковалев сказал:

— Ладно, уговорили. Пойду пока к Кукушкину…

— А Кукушкина дома нет! — крикнул какой-то малец с велосипедом.

— А ты найди! — строго сказал Кирилл Николаевич. — Найди и скажи, что его немедленно требует на квартиру Семен Митрофанович. Живо давай!

И мальчишка сразу же куда-то исчез.

Хороша была Вера Кукушкина: статная, чернобровая. Она стояла в дверном проеме, как в раме, и Семен Митрофанович, улыбаясь, любовался ею. Любовался и жалел: глаза у нее потерянные были. Красивые серые глазищи и — потерянные. И еще синяк на шее. Возле уха.

— Здравствуй, Вера Кукушкина. В дом-то пустишь?

— Семен Митрофанович, зачем вы?

— Надо, надо, нечего! Ну, чего на пороге-то

стоим?

— Так нет его. Опять с дружками пьет, видно.

— А он мне и не нужен. Мне ты нужна, Вера.

— Я?.. — улыбнулась все-таки чернобровая. — Зачем же я-то?

— Узнаешь. — Семен Митрофанович отстранил ее, вытер ноги, повесил у входа фуражку. — Ну, хозяин в комнатах встречает, хозяйка кухней хвастает. Так куда же пойдем, Вера?

— Нечем мне хвастать, Семен Митрофанович.

И все же в кухню провела. Сели там на табуретки — друг против друга. Уставился Ковалев в ее налитое, без намека на морщиночку лицо, опять заулыбался. А она отвернулась.

— Смеетесь всё?

— Зеркало тебе показать?

— Зачем мне зеркало?

— Нет, все-таки где оно у тебя? — Младший лейтенант встал, и хозяйка хотела было следом подняться, но он удержал. — Сам принесу. В комнате?

— В комнате. А зачем, Семен Митрофанович?

Семен Митрофанович, не отвечая более, прошел в комнату: бедная комнатка была, пропитая. Кровать детская, диван продавленный, стол, стулья да шкафчик с полкой. На полке стояло

зеркало, но Семен Митрофанович вдруг потерял к нему интерес, потому что в углу играл худенький мальчонка лет пяти: складывал что-то из чурок и кубиков. Увидев младшего лейтенанта, он неуверенно заулыбался, захлопал большими, как у матери, ресницами.

— Привет, Вова! — сказал Ковалев и с трудом присел на корточки возле ребенка. — Дом строишь?

— Дом… — шепотом согласился Вова, хотя строил совсем не дом, а Кремль.

«Запуган… — подумал Семен Митрофанович. — Ай запуган парнишка, запуган!..»

И вдруг остро пожалел, что за делами, за хлопотами сегодняшнего самого последнего дня напрочь позабыл об этом запуганном, тихом ребенке и не принес ему ни вафли, ни конфетки.

— Дом, — повторил. — А с кем же ты жить там будешь?

— С мамой, — тихо ответил мальчик.

В забитости его было что-то болезненное, почти ненормальное. И Семен Митрофанович сразу вспомнил своих сорванцов: шумных, горластых, веселых…

— А с папой?

Вова молчал, еще ниже опустив голову.

— С папой будешь в этом доме жить?

— И с папой… — послушно ответил ребенок, но ответил еле слышно и без интонаций.

— Да, — вздохнул Семен Митрофанович, тяжело поднимаясь. — Ты побольше дом строй, Вова. Попросторнее…

Он еще раз тоскливо оглядел полупропитую эту комнату, в которой из каждой прорехи выглядывала самая неприкрытая бедность, снял с полки зеркало и, озлобившись вдруг, большими шагами вышел на кухню.

Вера Кукушкина сидела между кухонным столиком и газовой плитой — на обычном хозяйском месте, но он сразу почувствовал, что место это не ее и что у нее здесь вообще нет своего места. Она улыбнулась Семену Митрофановичу той же тихой, испуганной улыбкой, какой только что ему улыбался ее сынишка, но Семен Митрофанович еще туже сдвинул сердитые брови, не давая в своем сердце простору для жалости.

— Поглядись, — сказал он, держа перед нею зеркало, как икону, на животе. — Хорошенько поглядись, гражданка Кукушкина.

— А чего? — робко удивилась Вера. — Зачем это?

— Хороша? Нет, ты глядись, глядись! Ну как,

хороша?

— Н-не знаю…

— А вот я знаю. Я точно знаю: хороша. Очень даже. И глаза у тебя, и брови, и губы, и зубы — ну все как надо, все на своем месте и все в лучшем виде. — Младший лейтенант вдруг почему-то опять вспомнил воробьиху и расстроился еще больше. — Ты в таком соку, в таком, я бы сказал, ядреном теле состоишь, что мужики за тобой, если захочешь, табунами ходить будут. Будут не для глупостей каких, а потому, что мать в тебе видят. Мать человеческую!.. Ты же здоровая женщина, Вера, ты же рожать должна! Ты же таких парнишек, таких девчонок жизни подарить можешь, что хоть в витрину их ставь!.. А что имеем, Вера? Что мы имеем-то на текущий момент?

— А-а!.. — вдруг закричала она, тут же испуганно зажав себе рот. Слезы бежали по тугим щекам, путаясь в золотистом пушке. — Не надо… Не надо, пожалуйста, не надо!.. Ну зачем вы опять, зачем же?..

— Поплачь маленько, — вздохнул Семен Митрофанович.

Отложил зеркало, закурил, присел напротив. Вера уже привычно вытирала слезы, но полные губы ее еще дрожали и кривились.

— Мы с Вовочкой через день в ванной ночуем, — тихо сказала она. — Как он пьяный придет, так мы в ванную. Запремся там на задвижку и сидим в темноте, потому что он свет нарочно гасит. Я сыночку сказки рассказываю веселые или пою, чтоб не пугался он в темноте-то… У меня там кожушок висит, и одеялку я прячу. Постелю кожушок в ванну, ляжем мы с сынком, укроемся и — до утра.

Ковалев только крякнул. Выразительно крякнул, потому что ругнуться ему хотелось от всей души. Вера посмотрела, улыбнулась понимающе.

— А что делать, Семен Митрофанович? Развестись, скажете? Так я готова. Я хоть сейчас готова, если бы одна я была. А с сынком куда же мне? Родителей у меня нету, угла нету, и специальности тоже нету. Развести-то разведут, в этом сомнение меня не тревожит, люди жалостливые, а жить где буду? Угла-то ведь никто не даст, значит опять с ним? Уж не как жена законная, а как неизвестно кто, да? Ну и что изменится? Пить, думаете, перестанет? Нет, не перестанет. Бить меня, думаете, перестанет? Тоже не…

— Ну тогда-то мы его за избиение женщины… — начал было младший лейтенант.

— А сейчас он кого бьет, лошадь, что ли? Нет, Семен Митрофанович, мне не разводиться с ним надо. Мне надо…

— Слушай, Вера, — таинственно зашептал вдруг Ковалев и даже подсел поближе для убедительности. — Слушай, Вера, я вот что тебе скажу. Ты здоровая, ты богатырь прямо, а он, Кукушкин твой? Он же, по силе ежели судить, в половину тебя будет, никак не больше. Да еще и в пьяную-то половину… Так ты, знаешь, что? Ты дай ему как следует, кулаком дай! Кулаком прямо по роже его, по роже пьяной!..

Вера смотрела серьезными круглыми глазами, и Семен Митрофанович вдруг запнулся. Покашлял, похмурился, вновь в папиросу вцепился.

— Нехорошо, — тихо сказала она и осуждающе покачала головой. — Ай, как нехорошо вы советуете, Семен Митрофанович! Как это так: дай кулаком по роже? Это бить, значит, так выходит? Человека бить, да?.. Ай, ай, ай, ну как можно-то, а?

— А что? — хмуро спросил Семен Митрофанович. — Он же тебя бьет?

— Так он дурной, — с непреклонной уверенностью сказала она. — Он очень дурной, а вы мне такой же стать предлагаете? Да разве ж можно

такое советовать, Семен Митрофанович?

— Ну, учи меня, учи, — проворчал смущенно Ковалев. — Будто ты милиция, а я неизвестно кто…

— Так это же вы от добра сказали, разве я не знаю? — Вера улыбнулась ему, словно маленькому, ласково и покровительственно. — Вы нас с Вовочкой жалеете очень, и мы это знаем прекрасно даже. Только не советуйте нам такое, ладно? Мы ведь с сыночкой человеками хотим остаться…

Семен Митрофанович вскочил, сделал круг и снова сел верхом на табурет.

— Ах, Верунька, Верунька!.. — вздохнул он. — Правда твоя, во всем твоя правда, и крыть мне нечем. Конечно, сгоряча я про драку-то, сгоряча. Это нельзя делать, это и закон запрещает, и вообще скотство это! Нет, тут другое надо, и ты прости меня, старого, что посоветовал…

— Да что вы, Семен Митрофанович…

— В деревню я завтра еду, — не слушая ее, продолжал младший лейтенант. — Там уже все семейство мое, там дом у нас имеется, хозяйство какое-нито заведем, может, даже кабанчика купим. А поезд завтра без пяти двенадцать ночи или, официально сказать, в двадцать три пятьде-

сят пять. И поедем мы все втроем: я, ты и Вовка, вот какой факт получается…

— Нет… — неуверенно улыбаясь, она затрясла головой. — Нет, что вы, что вы…

— Завтра без пяти двенадцать, — твердо повторил он. — Собирайся.

— Семен Митрофанович… Семен Митрофанович, миленький, что вы говорите-то, что?

Она опять заплакала, но не горько, как тогда, а радостно и словно бы с облегчением. И поэтому Ковалев улыбнулся и строго сказал:

— Не реви. У нас в семье реветь не положено.

— Семен Митрофанович, миленький, зачем же вам обуза-то эта, зачем? Ведь не отдаримся мы вам ничем за добро ваше, ничем же не отдаримся, потому что за такое и отдариться-то невозможно, хоть две жизни проживи!.. А Вовочке, Вовочке-то моему воздух деревенский нужен, ой как еще нужен: мне врач говорила!.. Нет, нет, это же не то я говорю, не то!.. Господи, я здоровая, я все по дому делать буду! Я полы мыть буду, стирать буду, воду носить…

Слезы мешались у нее со смехом, а Семен Митрофанович очень боялся такой смеси и хмурился еще больше.

— Перестань, — сказал он строго. — И не выду-

мывай: в колхоз работать пойдешь. Или учиться, пока мы с женой еще в силе, еще за внучатами углядеть можем.

— Учиться? — Она счастливо рассмеялась, и круглые слезы запрыгали, заиграли на тугих щеках. — А что? Я пять классов кончила, у меня даже пятерки были. Да нет!.. — Она опять засмеялась. — Я работать буду. Я очень теляток люблю. Я… Подождите!..

Она вдруг легко, по-девичьи сорвалась с места, кинулась в комнату. Семен Митрофанович улыбнулся ей вслед, покачал головой: немного, ой немного человеку для радости надо. Совсем немного, а мы подчас и этого ему не даем: либо жалеем, либо забываем…

Сияющая Вера ворвалась на кухню, крепко зажав в руке что-то, аккуратно завернутое в белую тряпочку. Она положила на стол этот пакетик, поглядывая на Ковалева и загадочно улыбаясь, развязала узелки на тряпочке и с торжеством распахнула вдруг эту тряпочку перед его носом.

— Вот!

Это были деньги: десятки, старательно уложенные одна к одной. Младший лейтенант зачем-то потрогал их пальцем, спросил вдруг строго:

— Откуда?

— Заработала, — лукаво сказала она. — Не подумайте дурного чего: я тайком от Кукушкина в уборщицы нанялась. Давно уж — два года скоро. Я, как поняла, что мне не жить с ним, так и решила: деньги скоплю. Скоплю сотен пять, а тогда уж и уйду от него. Угол сниму с сыночком или завербуюсь куда: деньги всегда пригодятся, правда?

— Правда, — сказал он. — Ты забери их, Вера. На книжку положи: на них и оденешься и обуешься.

Отодвинул ей деньги, но она встретила на полпути его руку и вновь передвинула эту тоненькую пачечку к нему. И так они некоторое время потолкались: Вера смеялась, закидывая голову, а он смотрел на синяк на ее шее и не смеялся, а только повторял:

— Ты спрячь, спрячь…

— Нет уж, Семен Митрофанович, нет уж.

— Вера… Что это еще?

Она вдруг перестала смеяться.

— Вы нас всерьез брать с собой хотите или так, от жалости просто сказали? Всерьез, сама знаю, а раз так, то деньги вы возьмите. Нет, нет, Семен Митрофанович, родненький, теперь мы с сынком ваши полностью, и все у нас общее должно быть. Берите, Семен Митрофанович, берите, а то

не поверю, что завтра увезете нас из ада этого кромешного в рай земной. Ну, берите же, берите, здесь уже много, здесь четыреста двадцать…

Но Ковалев все еще не решался брать эти плаканые-переплаканые деньги, заработанные горбом на заплеванных лестницах. Он словно видел сейчас, как трет она ступеньку за ступенькой, и потому хмурился, думал, как бы уговорить ее положить все на книжку, но Вера смотрела на него такими счастливыми глазами, что не поворачивался у него язык выкладывать соображения с деловым прицелом.

— Барахлишка много не бери, чего возиться-то? Не в тряпках счастье, а все, что надобно, мы и там купим.

— Да у меня и нет-то ничего: все Кукушкин пропил!

Это она беспечно сказала, весело, словно уже и не жила в этом пьяном угаре, словно уже шагнула в другую жизнь — с зеленой травой, птицами по утрам и глупыми добрыми телятами…

— Ну, добро. — Ковалев положил тряпочку с деньгами во внутренний Карман тужурки, подумал, что о них следует доложить комиссару, и сказал: — Завтра я еще по магазинам похожу: давай решим, что прикупить надо.

— А ничего не надо! — сказала она. — Там уж, как приедем, тогда и решим.

— Совсем-совсем ничего?

— Нам не надо. Вы общее покупайте, для всех: знаете ведь, что в деревне-то требуется. А нам… Знаете, чего? Вы Вовочке пистолетик купите, ладно? А то Кукушкин вчера пистолетик его каблуком раздавил, так сынок уж так в ванной плакал, так плакал…

— С пистонами пистолетик-то?..

— Нет, простой. Из пластмассы: они дешевенькие.

— Из пластмассы? — Ковалев улыбнулся. — Я своим огольцам сам пистолеты делал. Из дерева. Такие пистолеты, что прямо от настоящих и не отличишь, ей-богу!

— Да Вовка еще маленький, что понимает?

— Сделаем и ему пистолет. Настоящий пистолет, как положено. — Семен Митрофанович встал. — Завтра я в девятнадцать часов у товарища комиссара Белоконя быть должен, вот какой факт получается. А от него — прямо к тебе. Готовься.

11

Так и не дождался Семен Митрофанович Кукушкина. Да и не нужен ему был Кукушкин этот, если разобраться: о нем и Данилыч знал, и все их отделение, и в смысле профилактики здесь все было в порядке. А в смысле жизни он Семена Митрофановича больше не интересовал, так как Семен Митрофанович уводил от него этих людей.

Но, по счастью, лестница длинной была, а козлом скакать Ковалев давно отучился. По счастью потому, что еще на спуске он успел все заново обдумать и решить, что не поговорить с Кукушкиным права не имеет. Нет, не о вливании тут уже шла речь, а о том, что — хотел этого Семен Митрофанович или не хотел — объективно получалось, что именно он уводил от Кукушкина жену и ребенка. Хоть и не для себя уводил, а все-таки мужской закон требовал тут играть в открытую, и не повидаться с водопроводчиком — пьяным или трезвым, не важно — было уже невозможно.

Поэтому, спустившись во двор, он поворотил налево, к котельной. За домами уже слышались шутки, смех и веселые мужские голоса: там, среди детских песочниц и качелей, опустевших вве-

черу, собирали для него, младшего лейтенанта милиции Ковалева, прощальный товарищеский ужин. Но Семен Митрофанович на это сейчас не отвлекался, а раздумывал, где бы ему найти Кукушкина, и надеялся, что в котельной.

Однако Кукушкина в котельной не оказалось. Дежурный слесарь — немолодой уже, домовитый как мышь, которого во всех квартирах запросто звали Сашей, — пояснил:

— Увели его, Семен Митрофанович. Руки, значит, за спину — и как положено.

— Куда увели?

— На профилактику, — хохотнул Саша. — Сильно надоел он жильцам, Семен Митрофанович, если правду сказать. Деньгу цыганит, шабашничает, а дело свое исполняет плохо, и краны текут во всех квартирах.

— Кто же увел-то?

— А этот, из второго корпуса. Ну, у которого сыновья…

Дело было серьезным, и поэтому младший лейтенант рванул из котельной, как молодой оперативник. Забежал за дом, мельком глянул, что врытый в землю стол для пинг-понга, по которому ребята с утра до вечера шариком щелкали, женщины накрывают белыми скатертями. Но

этого Семен Митрофанович как-то не осознал, потому что профилактика была в полном разгаре.

Хмурый и трезвый Кукушкин стоял в центре мужского круга, заложив за спину корявые руки. Росту он был небольшого, но кряжист, широк в кости и на кулак увесист. Перед ним за детским столиком сидел Кирилл Николаевич.

— Сегодня у нас очень торжественный вечер, Кукушкин, — говорил он. — На вечере этом присутствовать ты будешь как полноправный жилец, а вот пить мы тебе не дадим. Ни грамма.

— Очень надо, — сквозь зубы сказал Кукушкин.

— Не надо, — подтвердил Кирилл Николаевич. — Пить не надо, а вот торжественное обещание Семену Митрофановичу тебе дать придется. При всех!

— Какое еще обещание?

— Торжественное обещание, что ты никогда пальцем жену не тронешь…

— Ну, пальцем-то пусть трогает! — засмеялся Петрович.

— Он понимает, что тут к чему, — улыбнулся Кирилл Николаевич. — Он у нас не дурак, Кукушкин-то. И соображает, что ежели сегодня выкинет фортель какой, так завтра с ним разговаривать

буду не я, а сыны мои — Витька да Володька.

Сыновья Кирилла Николаевича — близнецы-богатыри — вместе учились в заводском техникуме, вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили на танцы. Были они парнями скромными и незлобивыми, но не стеснялись и подраться, и кто-кто, а Кукушкин про это знал хорошо.

— Понял, — хмуро сказал он. — Сделано, считай.

— Вот это разговор! — улыбнулся Гриша. — Эй, пацаны, за Митрофанычем сбегайте.

— Здесь я, — сказал Ковалев. — Добрый вечер, граждане.

— Здесь он! — почему-то в восторге прокричал Гриша. — Мы его, понимаешь, всем миром искать собрались, а он здесь!

И все сразу засмеялись, заговорили, точно слова Гриши или присутствие младшего лейтенанта было событием чрезвычайно занятным. Семен Митрофанович понимал, что происходит это от радостного волнения, вызванного и наспех организованной складчиной, и им, младшим лейтенантом Ковалевым, и возникшим вдруг чувством необычайной общности всех людей во дворе.

— А жены нам мужской-то выпивон забраковали! — громко рассказывал чернявый мужчина, который собирался сбегать за грибками. — Мы, говорят, тоже Митрофаныча проводить желаем!

— А мы тут, понимаешь, с товарищем Кукушкиным немного поговорили, — несколько смущаясь, признался Кирилл Николаевич. — Кукушкин — парень артельный и самостоятельный, и слово у него — сталь, Митрофаныч.

— К столу просим, к столу! — певуче прокричала рослая и скандальная жена услужливого Гриши.

— Ну, уж закусить разве что… — сказал Ковалев, садясь к столу.

Удивительные это были проводы! И наспех накрытый стол для пинг-понга, и детские качели рядом с ним, и одинаковые силуэты домов по обе стороны, и кресло, которое Гриша притащил из квартиры специально для него, для Семена Митрофановича. Удивительным здесь было все, но самыми удивительными здесь были люди.

Все знал про них младший лейтенант Ковалев. Знал, что рослая супруга поколачивает безответного Гришу; что Петрович крутит с продавщицей из соседнего магазина; что суровый Кирилл Николаевич скуповат и постоянно ворчит на сыновей

за каждую копейку; что вот этот как-то ни с того ни с сего ударил вон того, а тот где-то обманул вот этого и что все они знают то, что он все знает. Но сегодня это стало вдруг каким-то мелким, второстепенным, отошло на задний план, заслонилось добрыми, мягкими, приветливыми лицами.

— Расстаемся мы сегодня с нашим Семеном Митрофановичем, — говорил, держа в руке стакан, Кирилл Николаевич. — Почему же мы так с ним расстаемся? Что он нам — сват, брат, сосед хороший? Отчего же происходит это? Да от того, что душа в нем есть, в Митрофаныче нашем. Есть душа, товарищи неверующие!..

Тут все разом засмеялись, загомонили, закричали. Кирилл Николаевич выждал, когда стало тихо, и продолжал:

— Вот за эту твою душу и относимся мы к тебе с полным нашим уважением, Семен Митрофанович. И дай я тебя, фронтовичок дорогой, по-нашему поцелую, по-гвардейски!

— За нас! От всего нашего имени! — кричал Гриша.

— Женщинам поручите, — советовал Петрович. — Товарищи женщины, окажите внимание Семену Митрофановичу!

Да, много было шуток, много речей, много ве-

селья. Мужчины тарелочку его наполнять не забывали, хоть и не ел он почти ничего: не хотелось. Папиросами угощали: каждый требовал, чтоб он непременно из его пачки закурил, и Семен Митрофанович старался никого не обидеть и только повторял:

— Спасибо. Спасибо, граждане. Спасибо.

А на другом конце вскоре и песни завели. Потом Серега на балкон радиолу вытащил, и как рванула она на всю мощь, так младший лейтенант вмиг за часы ухватился, но в режим, горсоветом установленный для искусства, пока еще укладывались.

И тут Семен Митрофанович решил вдруг с Петровичем поговорить насчет жены и продавщицы из соседнего магазина: по-хорошему поговорить, по-дружески. Только встал, чтоб подойти, за плечо тронули. Оглянулся: Кукушкин. Уставил на него трезвый, но совсем неласковый взгляд. Хотел Семен Митрофанович пошутить насчет профилактики, но во взгляд этот уперся и вовремя сообразил, что шутить не стоит. Спросил только:

— Дома был?

— Разговаривал. — Кукушкин перекинул папиросу в другой угол рта, плюнул, не разжимая губ. — Что ты ей там напорол, лейтенант?

— Это ж насчет чего? — Семен Митрофанович нарочно прикинулся непонимающим.

— Вот и я хочу знать, насчет чего, — раздраженно сказал Кукушкин. — Ходит по квартире и поет, как… — Он не нашел сравнения и опять плюнул. — Спросил, чего распелась. А она улыбается.

— Значит, настроение у нее доброе.

— Доброе? — Кукушкин сверкнул вишневым глазом. — Что же ты ей наговорил, если она такая веселая вдруг стала?

— А тебе веселые не нравятся?

Семен Митрофанович нарочно необязательные слова бормотал. Специально бормотал, потому что все время думал, стоит говорить водопроводчику правду или не стоит? Думал и никак пока не мог этого понять…

— Не любишь, что ли, веселых-то?

— Я для веселья, лейтенант, в цирк хожу. Клоунов смотреть.

— Дело, Кукушкин. Это — дело.

— Я ведь все равно все узнаю. Только не хочу к верному способу прибегать. Пока.

И так он сказал это «пока», что Ковалеву опять стало боязно за Веру и мальчишку: нет, нельзя было правду ему говорить, зверю этому. Никак нельзя!

— Ничего я ей не говорил, Кукушкин. — Семен Митрофанович, вздохнув, опустил глаза: он вообще не терпел вранья, а при исполнении служебных обязанностей в особенности. Но от правды сегодня могли пострадать безвинные, и он врал во спасение. — Тебя ждал, ну и калякал о чем-то…

— В деревню приглашал?

Знает, значит… Еще раз вздохнул Ковалев:

— Приглашал.

Круглые злые вишни на миг уперлись в его лицо, на миг сверкнули и спрятались. Кукушкин медленно провел ладонью по лбу, словно припоминая что-то, достал папиросы, протянул, не глядя:

— Закури моих, лейтенант.

— К своим привык…

Единственный это был человек, которому отказал на проводах Семен Митрофанович. Резко отказал, как отрезал:

— К своим привык.

— Ну, дело твое, — тихо сказал Кукушкин, прикуривая от собственного окурка.

Он курил медленно, опустив голову, рассматривая огонек папиросы. А вокруг гомонили, смеялись, плясали и пели, и играла радиола у

Сереги на балконе. А Семен Митрофанович, отрезав Кукушкину все пути к дружескому общению, нисколько об этом не жалел.

— До чего же просто вы все решаете, — вдруг тихо, словно нехотя, сказал Кукушкин. — Пьет да бьет — значит, надо воспитывать. Значит, кого-то жалеть надо, спасать надо, уводить надо. А на меня наплевать и растереть, да? Меня можно за стол не посадить, мне можно рюмки не поставить, а можно и в котельной избить без третьих глаз, как гвардеец тот говорит.

— Избить?

— Ладно, что было, то прошло: я не из жалостливых.

— А что же все-таки было?

— Знакомство, — криво усмехнулся водопроводчик. — Гвардейские сыны из меня непочтение к их папаше выколачивали. Тяжелые у них кулачки…

— Так что же ты сразу?..

— Ладно, лейтенант, не пыли. Сказано: не из жалостливых я. Сам не жалуюсь и сам не жалею. Только с одного боку вы все глядите.

Ковалев подумал, что о самоуправстве Кирилла Николаевича надо непременно рассказать Степешко. Рассказать и обдумать меры. Поэтому

спросил рассеянно:

— А что за вторым боком, с которого не глядим?

— Я, — сказал Кукушкин.

И замолчал. И Семен Митрофанович молчал, удивленный этим очень простым ответом. И так молчали они долго.

— Ты, Кукушкин…

— Кукушкин!.. — раздраженно передразнил водопроводчик. — Меня Алешкой зовут, а кто про это знает? Даже Верка и та — Кукушкин да Кукушкин.

Потоптался младший лейтенант.

— Дай закурить, Куку… — и запнулся.

Кукушкин рассмеялся невесело, достал пачку.

— Ты извини, — тихо сказал Семен Митрофанович. — Привычка, знаешь…

Вон как разговор обернулся. Вроде и не жаловался Кукушкин, и овечью шкуру на свою волчью шерсть не напяливал, а — поди ж ты! — высек искру из самого Семена Митрофановича.

— Завтра поговорим, Алексей, — сказал младший лейтенант. — Трезвым будь: разговор серьезный намечается. А состоится он ровно в половине одиннадцатого вечера: я к вам перед отъездом зайду.

— Добро, — сказал Кукушкин, но добра в тоне его не было.

— И гляди у меня, парень…

— Трезвым я не бью, — тихо сказал Кукушкин. — Трезвым я прощения прошу. А прощения мне никто не дает, и потому трезвым я бываю редко… Ты забудь все это, лейтенант. Я Верку не трону, слово даю, но и ты все, что наговорил тебе сегодня, тоже забудь. Забудь, очень прошу!..

Повернулся, не дожидаясь ответа; пошел куда-то из освещенного круга. Не домой — в обратную сторону…

12

И Ковалев заторопился. Заторопился потому, что было уже одиннадцать, а он еще обещал сделать сегодня пистолет для Вовки Кукушкина. И музыку тоже пора было кончать, потому что вступало в силу постановление горсовета. Ну, с этим особо не спорили, и Серега быстренько уволок радиолу в дом, а вот отпускать Семена Митрофановича ни за что никто не хотел, и он еле-еле отбился. Обошел всех, со всеми за руку попрощался, поблагодарил от всего сердца. Пошел было, да вскоре его Серега нагнал:

— Я провожу вас, Семен Митрофанович. Мож-

но?

— В наряд, значит, назначили тебя? — усмехнулся Ковалев. — В наряд по охране моей персоны?

— Да ну что вы, Семен Митрофанович… — Парень врал неумело, смущался. — Просто поговорить хотел…

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

Они уже далеко отошли от домов: шум, который провожал их (это жильцы разбирали по квартирам свои стулья, скатерки, рюмочки), здесь, на пустынных, слабо освещенных улицах, почти не слышался. Поскольку парень все еще молчал, соображая насчет разговора, Семен Митрофанович спросил:

— Кукушкина опасаетесь, что ли?

— Он чокнутый, — сказал Серега. — Ему что в голову ударит, то он и сделает.

— Не боишься его?

— Нет. — Парень ответил очень просто, и младший лейтенант сразу поверил, что он действительно не боится никого.

— И долго же ты меня конвоировать собираешься?

— Да я не конвоировать! — Серега улыбнулся. — Человек, может, просто поговорить с вами

хочет, пройтись, а вы — конвоировать да конвоировать…

Семен Митрофанович усмехнулся и сказал в точности как за пятьдесят шагов до этого:

— Поговорить? Ну, давай поговорим.

— Значит, на пенсию уходите, Семен Митрофанович? — Парень явно не знал, о чем ему говорить, но честно старался подладиться под грузно шагавшего рядом младшего лейтенанта. — Работать где устроитесь или так, на законном отдыхе?

Семен Митрофанович усмехнулся:

— Рано тебе, Серега, пенсией-то интересоваться. Ты мне лучше про ту девчонку расскажи, которую Толик у тебя отбил.

— Отбил?.. Нет, этого не было.

— Ты извини, конечно, что я так, понимаешь, прямо. Но я не из любопытства: мне знать про нее все нужно.

— Нет, «отбил» тут не подходит, — вздохнул Сергей. — Тут посложнее, Семен Митрофанович… — Он помолчал, почмокал сигаретой. — Черт, сигареты сырые… Мать у нее закладывает здорово, ну, пьет, значит: видать, отец из-за этого их и бросил, хотя Алка — ее Алкой зовут, — (Семен Митрофанович кивнул), — и в глаза его никогда

не видала. Ну, сначала она у тетки жила: там все нормально было, там она десятилетку хорошо закончила и даже в институт поступила.

— В институт?

— Ну да. В этот… иностранных языков на немецкое отделение: она там с Толиком-то и познакомилась. А проучилась всего два месяца, и тетка ее умерла. А Алка у матери прописана была, и пришлось ей к пьянчуге этой возвращаться. Ну, тут уж не до учебы, сами понимаете: мать каждый день пьяная, каждый день водит кого-то, каждый день у нее шум, гам, скандалы, а то и драки когда. Алке бы из дома уйти, а она не смогла, тогда и институт бросила. Год с мамочкой этой прожила: и поили ее там, и шоколадом кормили, и одевали, и продавали — все, наверно, было в год-то этот. Она, Семен Митрофанович, рассказывать об этом не любила, она вообще скрытная очень: это я все по кусочкам из нее вытянул, по намекам разным.

— А с уголовниками мать не связана, не знаешь?

— Все может быть при жизни такой, — вздохнул Серега. — Там и пьяницы были, и спекулянты — про это Алка сама рассказывала. Ну а где такая компания, там и блатные, возможно, появлялись,

не без того. Только это все прошло уже, Семен Митрофанович, это все теперь — древняя история, потому что через год жизни такой сбежала Алка. Летом где-то в Сочах прокантовалась…

— С кем?

— Говорит, с братом каким-то, — нехотя сказал Сергей: ему было неприятно вспоминать об этом. — Да это и неважно. Важно, что через год она к нам на производство пришла, потому что у нас общежитие и городским дают. Ну, поработала сперва ученицей, потом…

— Погоди, погоди, — остановил Семен Митрофанович. — А тот, что на Кавказ ее возил, брат-то этот, тот больше не появлялся?

— Не знаю, — с явной неохотой сказал Серега. — В то время мы с ней гуляли, и никого вроде у нее не было.

— А с матерью она связь поддерживала?

— Бывала. И я два раза был: один раз до того уклюкался, что на бровях домой уполз, ей-богу!

— Мамаша напоила!

— Нет, там у мамаши постоялец какой-то жил. Толстый такой…

— Ну а девчонка что, воробьиха-то?

— Какая воробьиха?

— Ну, эта… Алка твоя.

— А-а… А почему воробьиха?

— Ну, оговорился, про другую вспомнил. Вы что с ней-то, поссорились, что ли?

— Да как сказать… — Серега снова прикурил, почмокал и снова с отвращением швырнул сигарету. — Сырая, черт!.. Смесь у нее в голове странная, у Алки-то, Семен Митрофанович. По характеру-то она девчонка добрая: зла не помнит, денег не жалеет, не бережет их, как некоторые, и уж очень подарки делать любит. Пустяк, мелочь всякую — галстук там, запонку или еще ерунду какую, а подарит. Просто так, чтоб порадоваться только. Про некоторых, знаете, говорят: рубашку, мол, с себя последнюю снимет — так она такая, честное слово, такая. Она все отдаст и глазом не моргнет. И безалаберная какая-то в то же время: о завтрашнем дне не думает, получку в два дня спустит, а потом мороженое ест. Раз цветов на десятку купила. Я говорю: куда тебе охапка-то целая? А она: хочется, говорит, и все… Это характер у нее такой, а мамаша, да и тетка наверно, тоже воспитание к ней приложили. Всю жизнь ей одно жужжали: деньги, деньги, деньги. Мол, деньги — это сила, это счастье, это самое главное, и пока ты молода, пока в цвету — добывай. И вот все она только на деньги и мерила: «волга», конечно,

лучше, чем «запорожец», это понятно, но она и людей так же делила — по мощности. Профессор лучше, чем студент; инженер лучше, чем шофер; а артист какой-нибудь знаменитый, тот вообще лучше всех на свете, потому что у него рубли с колесо размером. Вот какая у нее психология сложилась, Семен Митрофанович, понимаете?

— Понимаю, — вздохнул Семен Митрофанович. — Дурная это, брат, психология.

— Вот и я ей то же самое говорил, и из-за этого мы с ней постоянно ругались. День мирно разговариваем, а к вечеру обязательно переругаемся: ее почему-то все больше вечером насчет шикарной жизни схватывало. Ну а тут Толик и объявился, и она отчалила. Хочу, говорит, пожить в свое удовольствие, пока молода. — Он помолчал. — А все-таки я уверен, что с Толиком у нее ничего не было.

— Уверен?.. — рассеянно переспросил Семен Митрофанович, думая о своем. — Это хорошо, что уверен ты…

— Я как-то вечером с тренировки ехал…

— С какой тренировки?

— Боксом занимаюсь, — улыбнулся Серега. — Думаете, почему Кукушкин меня не трогает? Да потому, что у меня разряд.

— Это хорошо, — рассеянно поддакнул Ковалев. — Спорт — это полезно…

— Да…

Они помолчали, потому что Семен Митрофанович вдруг перебил Серегину мысль, и Серега отвлекся. Но младший лейтенант опять направил интересующий его разговор:

— Ну, ехал ты, значит…

— Да, с тренировки ехал автобусом номер восемь. Вечером дело было, народу мало. Гляжу: Алка с каким-то типом у выхода стоит. Я — к ней: здорово, говорю, Алка, что-то давно не видались. А мы с ней в разных цехах-то работаем. Да… Сказал, значит, а этот тип — молодой мужик, а уже рыхлый, с лысинкой и перстень с печаткой на пальце, — тип, значит, этот на меня вдруг: «А ну, отлипни, пижон!» Ну, меня, понятное дело, на горло не возьмешь, я таких сырых на первом раунде уложу. А Алка испугалась вдруг чего-то, сильно испугалась, побелела: «Валера…» — говорит…

— Валера?

— Валера… Точно, Валера, — подтвердил Серега. — Только он к Толику никакого отношения не имеет.

— А к Алке?

— К Алке?.. — Серега помолчал, вздохнул. — Знаете, я до сих пор взгляд ее помню: за него она испугалась. А чего испугалась-то, знает ведь, что я первым никого не трогаю…

Он умолк, вздохнул, помотал головой. Некоторое время они шли молча, потому что Семен Митрофанович повторял про себя рассказ Сереги и старался поточнее его запомнить, чтобы пересказать завтра Данилычу. Здесь покопать надо было, и следователь Хорольский не так уж был сегодня не прав. Есть у него чутье, у Хорольского этого, ничего не скажешь, но методы… Комиссар Белоконь сказал однажды на собрании актива, что справедливее упустить десять виновных, чем задержать одного безвинного, и младший лейтенант Ковалев всем сердцем воспринял это.

— И чего она тогда испугалась за пижона этого? — размышлял Серега. — А ведь испугалась, я точно помню…

— Может, не тебя она испугалась, а милиции?

— Какой милиции?

— Ну, если бы скандал начался, драка, допустим, то могли же милицию позвать? Могли. Могли, Серега, могли, вот Алка за него и испугалась. А что это все значит? Это значит, — Семен Митрофанович еще раз подумал, вздохнул, —

значит это, что Валера этот недопеченный…

— Сырой, — поправил Серега.

— Ну, сырой, — согласился Ковалев. — Значит, сырой этот Валера нашего брата почему-то опасается.

— Опасается?

— Только ты, Сергей, о нашем разговоре пока помолчи. Я к тебе старшего лейтенанта Степешко пришлю, как только он из госпиталя выпишется. Ему все доложишь в точности. Как мне.

— Понятно.

— Ну а сейчас ступай. Спасибо тебе за провожание и особо — за разговор.

Семен Митрофанович пожал парню руку и свернул в переулок. Не к себе: он в противоположной стороне жил. К знакомому столяру, у которого всегда делал пистолеты для своих сорванцов.

Однако дома столяра не оказалось. Дверь открыла жена — яростная костистая старуха, с которой у Семена Митрофановича дружба так и не сложилась за все четверть века знакомства. Стрельнула сухими глазищами.

— Семен Митрофанович, ты? В половине двенадцатого людей беспокоишь…

— Что, опять молиться помешал? — пошутил Ковалев.

Не приняла она шутки. Рассердилась даже:

— Ты моего Бога не трогай. Я твоего не трогаю, и ты моего не касайся.

— Да молись ты хоть двадцать пять часов в сутки, Катерина Прокофьевна, слова не скажу. Я к супругу твоему, к Леонтию Саввичу.

— В преисподней ищи. В бездне самой…

И дверь захлопнула, не попрощавшись: одно слово — сектантка…

Семен Митрофанович спустился в преисподнюю, в подвал то есть. Там у Леонтия столярная мастерская была оборудована: он при домоуправлении столяром состоял, ну и заказы принимал на разные поделки. Когда-то, еще до войны, руки его славились на весь город, а в войну, хоть и пощадила она руки эти, что-то надломилось в нем, и никаких тонких заказов бывший краснодеревщик уже не брал. А тут еще — одна за одной — обе дочери его померли. Вот тогда-то жена его в Бога ударилась, а он попивать стал. Ну а с пьяных рук что за работа? И дела Леонтия Саввича пошли совсем набекрень.

— Пропил ты свой талант, Леонтий, — вздохнул Семен Митрофанович, когда достучался-таки до спящего на верстаке в подвале столяра. — А талант в тебе природой был заложен, и ты беречь

его должен был, как совесть к старости.

— Талант! — презрительно фыркнул Леонтий Саввич. Он сидел на верстаке в шерстяных носках, так как в подвале было сыровато. — А что же это такое — талант? Ты знаешь?

— Знаю, — сказал Ковалев. — Вот у тебя в руках талант был: ты умел такое с деревом сотворить, что дерево то в темноте светилось. А у иного талант — в голове: он, брат, законы всякие открывает или изобретает полезные машины. А бывает талант и в ногах: скажем, наш знаменитый футболист Игорь Нетто.

Худой, заросший, всклокоченный со сна столяр сидел перед ним на верстаке и качал головой.

— В руках, в ногах, где еще? — сердито спросил он. — Глупый ты, Семен, ровно дитя. Разве талант в руках или там в ногах живет? Там секреты живут, понял? Секреты того дела, которому человек обучен. Скажем, у рабочего секреты — в руках, у инженера — в голове, у танцора, к примеру, — в ногах. А талант, Сеня, он в сердце живет.

— Ох, чего-то ты плетешь, Леня! — вздохнул младший лейтенант. — Мистика это называется — насчет сердца-то, и наука это отрицает. Наука прямо говорит, что сердце есть такой мускул, который кровь по всему организму гоняет. Вроде

насоса.

— Насос! — закричал столяр. — Там любовь у человека, там горе, там ненависть, все человеческое там, а ты — насос!.. Глупый ты парень, Семен, раз такую околесицу городишь. Скажи, когда у тебя несчастье, что у тебя болит — голова? Сердце у тебя болит, сердце! А радость если какая, если, скажем, День Победы, что тогда в тебе ликует? Может, живот твой жратве радуется? Нет, сердце твое поет, Семен, сердце!

— Ладно, не будем спорить. Время позднее, а мне надо пистолет для парнишки сделать: обещал…

Столяр отыскал подходящую доску, и Семен Митрофанович, сняв тужурку и галстук, с радостью ухватился за инструмент. Пилил, вырубал, и Леонтий Саввич молча смотрел на него.

— Вот у тебя талант как раз там, где надо, — вдруг сказал он. — В сердце у тебя талант, Сеня.

— Опять ты, Леня, за свое…

— Поздно одну штуку понял, — вздохнул столяр. — А штука эта простая: для чего человек на свете живет? Чтоб есть, пить да с женой спать?

— Всякий человек живет для своего дела.

— Для дела? Нет, Сеня, дело — это само собой. Дело и лошадь может сделать или, скажем, ма-

шина. А человек — он для чего тогда?

— Ну и для чего же? — Семен Митрофанович был увлечен работой и слушал вполуха.

— Для добра, — убежденно сказал Леонтий Саввич. — Обязательно каждый человек должен хоть в одной душе добро посеять. Хоть в одной-единственной, и если Бог все-таки есть, то это ему зачтется. Это, а не машины какие, не табуретки там и не космосы.

— Вот ты уж и до Бога договорился.

— Это, Сеня, супруга моя с ним договорилась, а не я. Я с нею, с супругой то есть, сражаюсь ежедневно по этому вопросу, но, боюсь я, ничьей дело закончится. А мы с тобой, Сеня, фронт прошли и очень даже точно знаем, что Бога нет. Но ведь кто-то должен же добро творимое на весах взвешивать, а?

— А зачем его взвешивать? Для отчетности, что ли?

— Для очищения совести, Сеня.

— Ну, совесть сама все взвесит. Точно взвесит, как в аптеке.

— Это у тебя, потому что у тебя талант есть. А у простых людей, которые добро, может, раз в жизни-то делают? Совесть у них грубая, нетренированная совесть-то, и ничего взвесить не

может. И это мне обидно, потому что хочу я перед смертью точно знать, сколько я добра высеял и сколько зла расплодил. И поглядеть, какая чашка переважит.

— А ты не считай добро-то, Леня, не регистрируй его, так-то оно честнее выйдет. И помрешь ты тогда спокойно, и совесть тебя не потревожит ни разу.

К этому времени Семен Митрофанович уже отделал пистолет и теперь, расстегнув кобуру, вытаскивал из нее тряпки. Вытащив все, сунул в нее пистолет, и пистолет пришелся к кобуре тик-в-тик.

— Точная какая работа! — с удовольствием сказал Семен Митрофанович, застегивая клапан кобуры с деревянным пистолетом. — Утречком я его черной эмалью покрашу, а к вечеру он высохнет, и отнесу я его Вовке.

— Значит, не регистрировать? — спросил Леонтий Саввич. — Трудная задача, Сеня. Человек слаб, и ему свою собственную душеньку очень даже хочется по шерстке погладить. Очень даже…

Семен Митрофанович неторопливо убрал на место инструмент, подмел в мастерской. Потом посмотрел на Леонтия Саввича, как на больного, и вздохнул:

— А ты ведь о себе думаешь, добро делая. А если о себе, так какое же это добро? Это уже и не добро, это так, для утехи совести. Вот поэтому-то она, совесть-то твоя, и терзает тебя, что не от души ты добр, а от ума. А по мне так добро от ума хуже зла от души. Хуже, ей-богу, хуже! Подлее: вот как вопрос обстоит.

Столяр сидел на верстаке, угрюмо нахохлившись. Ковалев надел тужурку, повязал галстук, похлопал по кобуре, улыбнулся:

— Вроде опять я с оружием!..

— Обидел ты меня, Семен, — тихо сказал Леонтий Саввич. — Зачем же обижать-то на прощание?

— Я тебе правду сказал. А что обидела тебя правда, то не моя вина, а твоя беда. Перестань ты о себе-то думать, Леонтий Саввич, перестань! Ты о других страдай, о других думай, вот и переважит в тебе заветная чашечка…

— Обратно «равняйсь» командуешь? — криво усмехнулся Леонтий Саввич. — Все кругом только и делают, что «равняйсь» кричат. И по телевизору, и по радио, и по газетам…

— Равняйсь? — переспросил Семен Митрофанович. — Именно что равняйсь. Именно что так, Леонтий Саввич, и кричать мы вам эту команду

будем, покуда вы смысла ее не поймете.

— Кто это такие — мы?

— Мы, коммунисты, значит. Равняйсь — это что такое? Равняйсь — это значит грудь четвертого человека видеть. Не свою, персональную, не соседа даже, а четвертого! Как бьется она, вольно ли дышит, не мешает ли ей что… А ты скольких видишь, Леонтий? Себя ты одного видишь, на пуп свой собственный всю жизнь глядишь и примериваешься, как бы под старость с совестью сторговаться. А добром не торгуют, Леонтий Саввич, это не редиска.

Неспокойным он из того подвала вышел, очень неспокойным. Вышел в темный, глухой переулок, закурил (в столярной не покуришь, понятное дело), прошел к автобусной остановке. По ночному времени транспорт вообще ходил из рук вон плохо, но Семен Митрофанович пешком до дому своего идти не захотел, потому что сильно притомился за день. Здорово набегался в этот свой самый последний денек.

13

Он стоял на остановке автобуса, курил и думал, и думы его были не сердитыми, а горькими. Он не злился на Леонтия Саввича, а искренне

расстраивался, что вырос в его душе этакий ядовитый грибок и что вырвать его столяр, видать, не сможет до самой смерти своей. И это огорчало младшего лейтенанта Ковалева, потому что он видел за спиной Леонтия Саввича бесконечную вереницу последователей.

Семен Митрофанович был свято убежден, что добром торговать нельзя, что это едва ли не самое подлое, что может сотворить душа человеческая, и при этом отчетливо понимал, что добром этим торгуют направо и налево. Что продают его за почет и звания, за карьеру и удобства, за спокойную совесть и безмятежную славу. Продают тем, что творят это добро не для того, кто нуждается в нем, а для себя, и потому творят гласно, трубно и многолюдно. Творят, заранее прикидывая, какой отзвук вызовет оно в верхах и в низах и какие блага получит за это дарующий.

И еще Семен Митрофанович думал о том, что люди могут и должны быть счастливыми. Они станут счастливыми тогда, когда поймут, что добро не товар и что торговать им так же невозможно и противоестественно, как спекулировать лекарством. И убежден был, что это полностью будет достигнуто при коммунизме.

Показался автобус, и еще издали Ковалев заме-

тил, что народу в автобусе том было достаточно, и вспомнил, что сейчас аккурат конец второй смены. Автобус шел по восьмому маршруту, и Семену Митрофановичу был не по пути: до дому пришлось бы через парк идти, а это крюк немалый. Поэтому младший лейтенант отступил, чтобы не мешать людям, а потом, когда машина уже трогалась, вспрыгнул на заднюю подножку и прошел в салон.

Он не знал, почему так сделал. То есть знал, конечно, но не успел обдумать: просто глянул рассеянно на автобус и за стеклом в освещенном салоне увидел вдруг худенькую девчушку с сережками-слезками в маленьких ушах. Он даже не понял, воробьиха это его или нет, а вспомнил только, что Серега говорил про встречу в восьмом автобусе, и тут же вскочил на подножку.

Он в заднюю дверь вскочил — он всегда только через нее в городской транспорт входил, — а воробьиха (если это, конечно, была она, в чем Семен Митрофанович совсем не был уверен), воробьиха впереди стояла, у выхода, и Ковалев начал осторожно протискиваться вперед. Рейс действительно был рабочим, народу скопилось много, и все молчали, как это всегда бывает в автобусах, которые развозят людей, отработавших смену.

Сзади еще кто-то прорывался, давил младшего лейтенанта в спину, наступал на пятки, дважды почему-то в поясницу его толкнул и вроде ощупал кобуру под тужуркой. Ковалев хотел было обернуться, но тут на повороте автобус накренился, и тот, что тискался позади Семена Митрофановича, поспешно уцепился за поручень сиденья. Младший лейтенант тоже качнулся, тоже уцепился за поручень и увидел сырую руку: в толстый безымянный палец намертво впаялся перстень с печаткой. Семен Митрофанович вскинул глаза: за спиной стоял рослый, рано располневший мужчина лет тридцати. Черные брови его срослись на переносице, тонкие губы сжаты плотно, будто струбцинкой стянуты: щель одна. Глаза… Вот глаз Ковалев не разглядел. Бегали эти глаза из стороны в сторону, не давались.

— Валера?..

Семен Митрофанович спросил тихо: не для посторонних. И по тому, как дрогнули брови, понял, что не ошибся. Понял, что в точку попал, хотя услышал в ответ другое:

— Вы ко мне, товарищ младший лейтенант? Ошибаетесь тогда…

— Так вот ты какой, Валера, — тихо повторил Ковалев, не спуская глаз с его лица. — Это что,

Алка впереди?

— Какой Валера? Какая Алка?.. Путаете вы что-то, товарищ младший лейтенант.

— Путаю?

— Вы проходите? Или?..

Автобус тормозил. Семен Митрофанович прошел вперед — теперь между ним и той, со знакомыми сережками-слезками, еще двое было, не протолкнешься, а она не оглядывалась.

— Выходи…

Ясно сказали, отчетливо, как приказ. Сережки сверкнули на миг, повернулись, и младший лейтенант Ковалев в упор увидел свою утреннюю подопечную, воробьиху свою.

— Выходи…

Кто это говорил?.. Семен Митрофанович быстро обернулся, но тот, с перстнем, в окно смотрел, отвернувшись. А воробьиха — или Алка, он и этого-то в точности не знал, — воробьиха все еще в глаза ему глядела, и Ковалев вдруг понял, что глядит она на него с ужасом, и головой качает, и вроде шепчет беззвучно:

— Нет, нет…

Автобус вздохнул, двери разъехались. Девчонка эта еще раз отчаянно глянула на Семена Митрофановича и прыгнула прямо в темноту.

В какое-то мгновение хотел он за нею шагнуть, но оглянулся: рыхлый по-прежнему равнодушно смотрел в окно, и оставлять его Ковалеву не хотелось. Тем более им пока было явно по пути.

— Выходите? — спросил Семен Митрофанович на всякий случай.

— Пока нет.

Автобус немного опустел: он теперь на каждой остановке терял людей, исчезающих в темноте, а новых пассажиров не было. Места свободные появились, и рыхлый этот — все-таки Валера он или не Валера? — сел на сиденье, а Семен Митрофанович на всякий случай продолжал стоять, чтобы опять нос к носу столкнуться, если этот, с перстнем, вздумает вдруг выходить.

И еще одна остановочка подкатила, предпоследняя. Автобус почти опустел: сзади двое каких-то парней сидело, впереди несколько пассажиров да на отдельном сиденье — этот, с перстеньком. Выходить он, видно, не собирался, ехал до конца, и поэтому Семен Митрофанович подсел к нему.

— Не возражаете?

Рыхлый молча подвинулся.

— По пути, значит, нам, Валера?

— Ошибаетесь, товарищ младший лейтенант. — Теперь он и говорил спокойно, и улыбался

спокойно, и смотрел на Семена Митрофановича тоже спокойно. — Игорем меня зовут. Игорь Васильевич Колесников: паспорт могу показать.

— Покажите.

Чуть дрогнули брови. И голос сразу высох.

— Дома. С собой не вожу.

— Тогда придется пройти.

— Куда же?

— В отделение.

Промолчал рыхлый. Усмехнулся криво и промолчал. Почему?

— И без шума, — негромко добавил Ковалев. — Я официально прошу вас пройти со мной в отделение.

— Пожалуйста, пожалуйста! Разве я возражаю?

Вежливо вполне, даже с перебором. И спокойно. Вот это спокойствие, по правде сказать, сильно смущало Семена Митрофановича. И поэтому он добавил:

— После установления личности вас доставят домой на машине. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Пожалуйста.

И снова улыбнулся. И даже не поинтересовался, на каком основании его в милицию доставляют и зачем, собственно. Либо действительно младший лейтенант неприятную ошибку допускал в

самый последний день службы своей, либо этот рыхлый по дороге попросту удрать рассчитывал от старого милиционера. Тем более что дорога через парк пролегала, тот самый парк, где сутки назад кто-то и за что-то бил воробьиху. И она тогда крикнула: «Валера, беги!..» Кого же она выручала? Неужели вот этого, рыхлого, начинающего лысеть самодовольного пижона с перстнем на толстом пальце?..

Захрипел репродуктор в салоне:

— Конечная…

Автобус развернулся, со вздохом распахнул обе двери. Семен Митрофанович сошел первым, подождал рыхлого. Вслед за ними вышли последние пассажиры и те два парня, что сидели сзади. Пассажиры быстро свернули в улицы, а Ковалев и тот, что назвался Игорем Васильевичем Колесниковым, пошли в парк: темный, без единого фонаря, шумящий уже по-ночному — загадочно и тревожно. У входа висели последние лампочки, и, пройдя их, Семен Митрофанович оглянулся: парни, что ехали на заднем сиденье, шли следом за ними.

«Вот это хорошо, — подумал Семен Митрофанович. — Видать, заводские ребята, свои: в случае чего помогут…»

Но помогать пока не требовалось: рыхлый шел спокойно, по сторонам не глазел и убегать не собирался. Когда углубились в лес, в прохладную темень тропинок, спросил благожелательно:

— Что это вы припозднились сегодня, товарищ младший лейтенант? С дежурства, что ли?

— С дежурства, — сказал Семен Митрофанович, решив, что так лучше: пусть этот Игорь, или как его там, думает, что он при оружии. И добавил для убедительности: — Отрапортую, сдам оружие, а там, глядишь, и с вами разберутся. Вы где проживаете-то?

Блеснули в темноте зубы.

— Представьте себе, нигде. Ночую пока в семиэтажках: там у одного доброго человека старики на даче околачиваются. Впрочем, вы же все знаете: мы с вами сегодня чуть-чуть разминулись, буквально на минуточку.

— У Анатолия?

— Совершенно точно! — рассмеялся рыхлый.

Самоуверенно рассмеялся, почти с торжеством. Почему вдруг? Какая причина? Может, на темноту надеялся, на собственную силу, на парк этот пустынный, где и днем-то от милиции удрать — раз плюнуть? Семен Митрофанович осторожно оглянулся: две фигуры смутно виднелись позади,

и он опять успокоился.

— Откуда же вы Анатолия знаете?

Опять рассмеялся спутник его. И не ответил.

— Чего это вы развеселились вдруг?

— Смешно, товарищ младший лейтенант. Подумал я: сколько еще у нас неиспользованных возможностей, чтобы вас за нос водить, и мне сразу стало смешно.

— У кого это — у вас?

— Я умных людей имею в виду, товарищ младший лейтенант.

— Это ж каких таких — умных?

Семен Митрофанович подобрался весь, нехорошее что-то почуяв. Ой, не зря рыхлый этот разоткровенничался, не зря!.. Только что же он, чудак, пареньков тех не видит, что ли? И Ковалев на всякий случай шаг сбавил, чтобы парни те подтянулись поближе.

— Сутки назад как раз в этих кустах пришлось проучить одну глупую девчонку, — сказал вдруг его спутник. — И знаете, за что? За то, что она отказывалась участвовать в операции «Пистолет», которую разработал один умный человек. А сегодня эта операция разыгрывается как по нотам… — Он остановился. — Не хотите ли закурить? Я патриот, курю только советские…

— Идем, гражданин, идем, — сказал Семен Митрофанович, невольно отступив на шаг, чтобы быть поближе к тем парням, что шли за его спиной. — В милиции доскажешь…

— Пришли уже, — сказал рыхлый и чиркнул спичкой. — Пришли, лейтенант…

Удар обрушился на Семена Митрофановича сзади. Он не почувствовал его, а услышал и с какой-то странной горечью успел подумать о тех парнях, что напрасно они ударили его, ах напрасно: он ведь еще не на пенсии, он еще на службе, и им за это… Но он успел только пожалеть их, а что им будет за это, додумать так и не успел. И еще он успел почувствовать чужие, грубые руки, которые почему-то лихорадочно рвали из его кобуры игрушечный пистолет…

14

Комиссар Белоконь приходил на работу в восемь сорок пять. А ровно в девять часов Вера Николаевна пригласила к нему первых посетителей.

В тот день посетитель был приятный: начальник АХО доложил, что для городской милиции пришло первых пятьдесят комплектов обмундирования нового образца, и принес список

наиболее достойных кандидатов. Сергей Петрович, нацепив очки, придирчиво изучал этот список, отмечая французской ручкой фамилии тех, кто, вне всякого сомнения, должен был одним из первых получить новую шинель загадочного цвета маренго.

— А капитану Голованову не дадим, — улыбаясь, говорил он. — Капитан Голованов в театр не ходит: зачем ему шинель цвета маренго?

Полковник Орлов вошел в кабинет без стука. Вошел, остановился, точно собираясь с духом, а за ним молча шли начальники отделов. И стало вдруг очень тихо, и в этой тишине отчетливо было слышно, как всхлипывает в приемной Вера Николаевна.

— Час назад в парке нашли Митрофаныча, — тихо сказал Орлов.

— Что?

— Убит.

Кажется, комиссар крикнул. Крикнул, с маху хватил обоими кулаками по полированной столешнице, и шариковые ручки посыпались на пол. Слезы текли по морщинистым, старательно выбритым щекам, и комиссар не замечал их. Он сидел выпрямившись, бросив на стол огромные рабочие кулачищи, строго глядя перед собой.

Начальники отделов молча смотрели на него, и только бледный полковник Орлов повторял:

— Найду, товарищ комиссар. Под землей найду. Лично найду.

Белоконь рукою вытер лицо, недоуменно посмотрел на мокрую ладонь, сказал тихо:

— Ищи.

И Орлов тотчас же вышел. А начальник АХО робко потянул из-под комиссарского локтя список претендентов на новые шинели.

— Что? — спросил Белоконь.

— Ничего, ничего, — поспешно сказал начальник АХО. — Это список, это не обязательно. Это потом…

— Список?.. Подождите.

Комиссар тяжело нагнулся, поднял с пола знаменитую парижскую ручку и вписал ею в список младшего лейтенанта милиции Ковалева Семена Митрофановича.

А народ со всего управления все шел и шел и, стесняясь комиссара, оседал в приемной. Вера Николаевна плакала в углу и каждому, кто входил, говорила:

— Курите. Курите, пожалуйста…

И почему-то все закуривали, даже некурящие. И впервые за много лет густые облака табачного

дыма плавали в этой комнате.

— Может, с целью ограбления? — тихо расспрашивал кто-то. — Может, просто грабеж?

— Да какой там грабеж! — вздохнул рослый оперативник. — В порядке его кошелек, в кармане лежит. Там все его богатство: семьдесят восемь копеек. Пистолетик деревянный рядом валяется: видно, детям игрушку сделал. И еще — тряпочка какая-то…

В приемную вошел Хорольский. Он был как-то странно оживлен, и поэтому все отвернулись.

— Где полковник Орлов? — спросил он в дверях.

— Работает, — сухо сказал оперативник. — Просил не беспокоить.

Не удержался Хорольский. Даже в это утро не удержался: улыбнулся торжествующе.

— Ну, меня-то он примет, — сказал. — Там ко мне девчонка пришла. Вчерашняя девчонка. С показаниями. Вот адреса.

И положил на стол бумажку…

Кажется, со мной пойдут в разведку…

1

— Проклятущая у нас работа, — позевывая, говорит Федор. — Ни тебе отгулов, ни тебе двух выходных. Каторга!..

Он лениво переворачивается, подставляя солнцу могучую грудь, густо заросшую упругим ржавым волосом. Под левым соском видна чуть расплывшаяся наколка: орел, терзающий голую женщину. И надпись: «Не забудь Севастополь. 1960 год».

Мы лежим на берегу тихой, задумчивой речки. Купаемся, жаримся на солнце, дремлем и снова купаемся до синевы. Жарились вчера, жаримся сегодня, и неизвестно, сколько суток нам предстоит еще жариться на этой сонной речушке.

Вездеход, который мы испытываем, третьего дня ушел на завод: потекло масло из вентилятора. На базе остались вещи, горючее, запчасти. Никто на них не покушается, но для порядка решили держать караульщиков, и выбор пал на второй

экипаж. Второй экипаж — это мы: Федор и я. Федор — водитель, я у него на побегушках, хоть и числюсь по ведомости слесарем. Правда, оставался с нами еще Славка — третий член экипажа, помощник Федора. Но не успела осесть пыль, поднятая вездеходом, как Славка, подмигнув Федору, торопливо зашагал к речке: на том берегу, прямо от воды, начинались огороды деревни.

— Куда это он? — удивился я.

— К бабе, — лениво пояснил Федор. — Баба у него в деревне.

Когда при мне говорят «баба», я оглядываюсь, нет ли вблизи женщин. Оглянулся я и тогда, но вокруг не было ни души, только приблудный пес Фишка задумчиво искал блох. Вот с того дня мы и валяемся на берегу втроем: Я, Федор и Фишка. Славка как ушел, так и сгинул: там, конечно, интереснее, чем у нас…

— Труд есть необходимость, — вдруг изрекает Федор. — Так, что ли, Москвич?

Москвич — это я. Обычно Федор зовет меня по имени: Генкой, но, когда хочет позлить, прибегает к ироническому: «Москвич». Сначала я очень сердился, когда меня так называли, а потом сообразил, что надо терпеть. В моем присутствии все только и делали, что под разными предлогами

поносили эту машину.

— Ну, объясни: труд — необходимость или обходимость?

— Ну, необходимость…

— Значит, блох кормить ты по необходимости прибыл? — лениво продолжает он.

Он все делает с этакой артистической ленцой: лениво говорит, лениво переворачивается на другой бок, лениво ест, спит, пьет, работает. Точнее, это не лень: это расчетливое отсутствие торопливости. А блох действительно уйма. То ли их поставляет Фишка, то ли они размножаются в геометрической прогрессии. Первое время я не мог спать, но потом меня научили класть под себя полынь: блохи, оказывается, ее терпеть не могут…

Я молчу. Молчу изо всех сил.

— И какая у тебя была необходимость рвать когти от папы с мамой, не понимаю. Пользы от тебя, как от Фишки, а разговоров!.. «Мы — строители коммунизма! Мы — добровольцы. Мы — молодые энтузиасты. Мы, мы, мы!..» Вот и мыкайся теперь, товарищ идейный слесарь. Мыкайся и воображай, что без тебя всем нам будет сквозная дыра.

Ну, что я могу ему сказать? Что весь десятый класс мы до хрипоты спорили, как жить даль-

ше? Что тираж «Комсомолки» раскупается в две минуты? Что хочется уважать себя не только за пятерки в аттестате? У Федора на все один ответ:

— Мало отцы ремней излохматили о ваши задницы, энтузиасты. Мало!..

А меня отец вообще никогда не бил. Только страдал, когда я что-нибудь выкидывал. Страдал, страдал, а потом сгинул. И остались мы с мамой и с Наташкой: ей тогда только-только год исполнился…

— Если бы тебя на БАМ занесло или, скажем, на Нурекскую ГЭС, я бы понял, — продолжает Федор, не обращая внимания на мое упорное молчание. — Там — передний край, газеткой пахнет, слава опять же. А у нас, друг милый, работенка незаметная: мотай километраж, пока не посинеешь, да дефекты строчи в ведомость. Однако ты почему-то к нам завернул. Соображения у тебя какие были или так, от легкости ума?

Интересно, сколько дней он будет потешаться, если я расскажу, каким образом оказался здесь?..

Я ехал совсем в другую сторону. Ехал, выдержав мамины слезы после того, как срезался на приемных экзаменах в МЭИ.

Но маме-то я не сказал, что сознательно срезался: с той поры, как отец ушел, она отказалась от

алиментов и волокла нас с Наташкой на одну зарплату. А Наташка — почти артистка, ей учиться надо, все говорят. А у меня нет никакого таланта, я и поработать могу, чтоб маме полегче было и чтоб Наташка во ВГИК могла поступить. Вот я и наврал, что срезался. Тогда списались с дядькой, купили мне билет, нагрузили до отказа советами и сунули наконец в купе до Новосибирска.

Попутчиков было двое: молодой парень и невероятно интеллигентный старичок в золотых очках. От парня попахивало пивом, и мама начала обстоятельно разъяснять старичку, как нужно приглядывать за мной.

Как только поезд тронулся, старичок надел домашнюю куртку и ушел в соседний вагон играть в преферанс. С той минуты мы видели его только по ночам: он являлся ровно в половине двенадцатого, а утром, наскоро проглотив чай, удалялся «доигрывать пульку». В этом постоянстве было что-то мистическое, и все относились к старичку с огромным уважением.

А мы с парнем до Ярославля проторчали в коридоре у открытого окна. Парень оказался офицером. Он возвращался из отпуска и говорил только о подводной охоте. Перед Ярославлем он похлопал по карманам, извлек рубль и послал

меня на вокзал за сигаретами.

Когда я вернулся, я увидел ее. Увидел в самый невыгодный для женщины момент: в момент какой-то удивительно сосредоточенной раздраженности. Лейтенант только что водрузил ее чемодан наверх и повернулся к ней с улыбкой, с которой принято заговаривать с молодыми женщинами. Она равнодушно посмотрела на него и обратилась ко мне:

— Это ваше место? — Глаза у нее были шоколадные. Я никогда не встречал глаз такого цвета и такой бездонной глубины, онемел и едва успел кивнуть, как она заявила: — Вам придется уступить его мне.

Я молча перетащился на этаж выше. Проводница принесла белье, и новая пассажирка принялась стелить постель с таким ожесточением, что мы сразу вышли в коридор. Лейтенант закурил, протянул пачку мне:

— Н-да, очаровательное создание…

Почему-то я закурил тоже. Закурил третий раз в жизни, держа сигарету, как свечку. Пассажирка выглянула в коридор:

— Дайте закурить.

Лейтенант с неестественной торопливостью щелкнул зажигалкой. Женщина прикурила, вер-

нулась в купе и села возле столика.

Мы молча стояли у окна: лейтенант спиной, а я боком к полуоткрытой двери. Я смотрел в окно, но уголком глаза все время видел ее. Она достала книгу, положила на столик и закинула ногу на ногу. Узкая юбка натянулась, соскользнув с круглого колена, но она не заметила. Сидела, глядя в книгу отсутствующими глазами, держала сигарету кончиками пальцев, и я сразу догадался, что курить она не умеет. Вдруг она повернула голову, и я увидел слезы на ее лице. Я невольно вздрогнул, а она, вскочив, с лязгом захлопнула дверь…

Утром я проснулся от незнакомого звонкого голоса:

— Подъем, юноши!.. — Она стояла в дверях, сунув руки в карманы халатика и… улыбаясь. — Пять минут на одевание! — скомандовала и закрыла дверь.

Мы молча смотрели друг на друга.

— Н-да… — Лейтенант поскреб затылок. — Женщины, брат, существа непостижимые.

В этом вопросе я мог опираться только на семнадцатилетний опыт жизни с мамой и тринадцатилетний — с Наташкой и поэтому промолчал. Мы пошли умываться, а когда вернулись, на сто-

лике стояли шесть стаканов с чаем.

— Доставайте провизию, у кого что есть, — сказала она. — У меня нет ничего, но зато я буду за вами ухаживать.

Уничтожая мамины пирожки, мы узнали, что пассажирку зовут Владленой Ивановной…

А потом лейтенант встретил однополчанина и надолго перекочевал в другой вагон. Мы остались одни. Выбегали на станциях пить фруктовую воду, покупали семечки и поразительно невкусный шашлык, нанизанный на рубленные топором лучины. Где-то за Кировом ей пришло в голову раздобыть вареной картошки и огурцов. Мы раздобыли и долго бежали по перрону за последним вагоном.

Я почти не говорил, только смеялся, большей частью невпопад. Зато она болтала за двоих, и скоро я узнал, что она инженер, ездила в Ярославль в командировку, а сейчас возвращается на завод. Узнал, что резина на катках вездехода никуда не годится, что вентилятор еще не отработан, что мотор перегревается на тяжелых грунтах, что… Словом, я узнал все, кроме того, что случилось в Ярославле и почему она плакала вчера вечером.

По-моему, потом я уже ничего не соображал.

Я смотрел в ее шоколадные глаза, слушал, как бьется мое сердце, и думал, что такой красивой женщины я никогда еще не встречал. Даже знаменитая Ирка из 9-го «Б», в которую была влюблена вся школа, теперь казалась мне просто смазливой ломакой.

Пришел лейтенант. Он страшно радовался, что едет в гражданском и может плевать на патруль. Спать он не желал, но Владлена все-таки уложила его. Мы с нею вышли в коридор и, вероятно, простояли бы там до утра, если бы проводница не предупредила Владлену:

— Через час ваша остановка.

— Жаль, — сказала Владлена и пошла в купе укладывать вещи, а я остался.

Я ни о чем не думал. Просто слушал, как стучат колеса, и смотрел в темноту, подставив лоб ночному ветру. Было очень грустно и тревожно, и я чувствовал, что сейчас сделаю либо непоправимую глупость, либо шаг навстречу счастью. Я прошел в купе и снял сверху два чемодана — ее и свой…

Поезд ушел. Мы стояли на маленькой, скудно освещенной платформе. Было два часа пятнадцать минут.

— Если бы ты был хоть на пять лет совершен-

нее, я бы, пожалуй, влюбилась в тебя, — сказала Владлена. — Пойдем в зал: первый автобус на завод только в пять утра…

Прошел месяц, и вот я лежу на горячем песке рядом с опытнейшим водителем завода. Он хороший парень, и я готов терпеть его насмешки. Готов не спать ночей или валяться на песке, когда вездеход отправляют на ремонт. Готов жевать черствый хлеб, запивая водой, когда «мотают километраж» и нет времени даже на то, чтобы перекусить в какой-нибудь придорожной забегаловке. Готов махать кувалдой до оранжевых кругов перед глазами, соединяя тяжелые траки гусеницы. Ко всему этому я подготовился, когда стоял один в коридоре вагона и слушал, как стучат колеса. Но к одному я оказался не готов — к тому, что я и Владлена будем работать на расстоянии двухсот километров друг от друга: она осталась на заводе, а меня сразу же послали на испытания…

Фишка поднимает лохматые уши. Пес он деликатный и никогда не позволит себе залаять, если хозяева молчат. Только поднимает уши и чуть слышно ворчит.

Я тоже прислушиваюсь: из-за кустов доносятся неразборчивые голоса. Федор садится, обняв

голые колени.

— Кто-то пожаловал. Поинтересуемся?

Не ожидая ответа, он встает и, пригнувшись, идет к кустам. Он умеет ходить так, что не дрогнет ни одна ветка. Фишка бежит впереди, прижав уши и оглядываясь. Я поднимаюсь, когда оба скрываются в кустах.

Я хожу, как всякий нормальный городской житель: спотыкаюсь на ровном месте и цепляюсь за кусты. Исцарапавшись и вдоволь наломав веток, выдираюсь наконец на простор.

Противоположный берег скрыт песчаным косогором. Мне не видно, что там происходит, но голоса слышны отчетливо: молодые девичьи голоса. Федор лежит на вершине, замаскировавшись кустами лозняка. Фишка расположился рядом. Пыхтя и оступаясь в сыпучем песке, поднимаюсь к ним. Федор грозит кулаком:

— Тихо!

Сдерживая дыхание, тяжело плюхаюсь на горячий песок. Устроившись, осторожно выглядываю.

До противоположного берега можно спокойно добросить камень. Он рядом — узкая полоска песка, с трех сторон зажатая непролазными зарослями ольшаника. На кустах белеют поло-

тенце, платья и что-то еще, а у самой воды — две девушки. Толстуха сидит лицом к нам, подняв коленки и скручивая на затылке волосы. Сначала мне кажется, что на ней белый купальник, но потом понимаю, что ничего на ней нет, а то, что я принял за купальник, — просто куски незагорелого тела. Улыбаясь, она что-то говорит второй, но слов не разобрать: рядом журчит протока.

Вторая — тоненькая, с покатыми плечами и прической, какую можно соорудить только в городе, — стоит возле. Она уже сняла платье, и то, что пока осталось на ней, невесомо и не предназначено для пляжа.

— Кино… — беззвучно шепчет Федор. — Как это называется?

Я знаю, как это называется: стриптиз. Я никогда не видел его, но наврал ребятам, что однажды попал в Дом кино на закрытый просмотр французского фильма, где под музыку раздевалась героиня. А на самом-то деле я впервые вижу девушку не в купальнике, и сердце стучит так, словно я второй час подряд машу полупудовой кувалдой.

Засмеявшись, она отводит руки за спину и, шевельнув плечами, сбрасывает лифчик. Размахнувшись, бросает лифчик к кустам, но он не

долетает и мягко ложится на песок. А она вертится по берегу, приплясывает, и размахивает руками, и смеется, закинув голову. Белая девушка в розовых трусиках на желтом песке. Она танцует и поет, и сквозь безостановочное журчание воды я слышу, что она поет. Сейчас она снимет последнее, что на ней надето. Снимет, поскольку не знает, что мы лежим за кустами. Снимет и станет еще беззащитнее. И тут вдруг я подумал, что кто-то вот так же тайком подглядывает за Владленой, видит, как она раздевается, как поет и танцует для самой себя. Подумал, и мне стало жарко — кажется, я даже покраснел, — и что есть силы заорал то, что пела девушка:

— Пусть всегда будет мама!..

Что тут началось! Фишка залаял, девушки с криком бросились в кусты, а мы с Федором, пригнувшись, ринулись назад и остановились только у нашей заводи.

— Псих, — отдышавшись, говорит Федор.

Я ожидаю бури, но он молча натягивает штаны, закидывает на плечо майку и, не оглядываясь, идет к базе. Я остаюсь один.

Я понимаю, почему Федор злится: за всю жизнь я не слышал столько разговоров о «бабах», сколько наслышался за этот месяц. Все, кто приезжает

к нам, словно с цепи срываются. Я слушаю всегда с замиранием сердца, ожидая, что вот-вот кто-то со смаком, с разухабистой циничностью помянет Владлену…

И все-таки подглядывать подло. Пусть меня сколько угодно называют сопляком, мальчишкой, психом — я не играю в такие игры. Пусть я рискую навсегда потерять расположение Федора и других ребят, пусть так, но я не могу поступить иначе. Не могу и не хочу. Влажный нос тычется мне в плечо: вернулся Фишка, провожавший Федора до базы. Он очень привязан ко мне — вероятно, за то, что я первым назвал его Фишкой.

— Ну, что скажешь хорошего, пес?

Пес усиленно машет хвостом и пытается улыбаться. Конечно, было бы здорово обнаружить сейчас за ошейником записочку: «Прости, друг, ты абсолютно прав». Но с ошейником Фишка незнаком, а Федор никогда не напишет записки…

Я ложусь на спину и закрываю глаза. Солнце бьет в лицо, жаркие лучи проникают сквозь веки, и мне кажется, будто я плыву в густом розовом тумане. Он клубится, то рассеиваясь, то сгущаясь, и я сначала смутно, а потом все яснее и яснее вижу розовый песок, и розовые кусты, и розовую

девушку, танцующую в розовых трусиках на розовом берегу... Я поспешно открываю глаза и сажусь: такие розовые видения мне совсем ни к чему.

Фишка чуть слышно скулит: время обеда, а за этим он следит с точностью хронометра. Я вспоминаю, что сегодня дежурю, и начинаю натягивать джинсы...

С питанием у нас дело поставлено на прочную ногу. Наш завхоз — тщедушный пожилой человечек, поросший каким-то гагачьим пухом вместо волос, — привез из города бездну свиной тушенки, а колхоз вдоволь снабдил картошкой. Завхоза все зовут Ананьичем, и никто не знает, сколько ему лет. Раздобыв тушенку и картошку, Ананьич решил, что с него хватит хозяйственной деятельности, и ударился в длительный загул.

Ананьич исчез, а тушенка и картошка остались. Правда, среди ребят ходили слухи о каком-то мешке с макаронами, но мы с Федором мешка этого не нашли. Это навело Федора на здравую мысль, что хозяйственный Ананьич обменял макароны на самогонку. Мы прекратили розыски и стали три раза в день готовить картошку с тушенкой. Поскольку готовили мы с Федором по очереди, то, естественно, могли заимствовать опыт только

друг у друга. В результате естественного отбора в нашем меню утвердилось два блюда: либо мы бухали тушенку прямо в кипящую воду и таким несложным путем вырабатывали суп, либо отварная картошка перемешивалась с тушенкой, и получалось второе. Как бы там ни было, а Фишка ни разу не отравился.

От речки до базы — три минуты ходьбы. Базу мы арендуем у колхоза: два дома, где живут отцы-командиры, и длинный сарай, в котором ночуем мы. Когда испытания идут полным ходом, народу у нас много: две смены экипажей, инженеры, техники, два контрольных мастера ОТК. Тогда из колхоза приходит повариха тетя Настя, которая готовит то же самое, что и мы с Федором, но в больших количествах. А сейчас — тишина. Никого нет.

Обычно мы помогаем друг другу: один чистит картошку, другой растапливает печь. А сегодня все наперекосяк: Федор мрачно доедает тушенку, цепляя на хлеб желтые ломти застывшего жира. Он не обращает на меня внимания, нарочно чавкает и с хрустом ломает наш зачерствевший до твердости наждачного камня хлеб.

Ну и черт с ним! Я вскрываю вторую банку, отваливаю порцию Фишке и сажусь напротив.

Молча жуем, не глядя друг на друга: холодная война.

Закончив трапезу, Федор выволакивает из сарая тяжеленный танковый брезент: им мы должны накрывать вездеход, но с молчаливого согласия руководства накрываем сено, на котором спим вповалку. Брезент дьявольски тяжел и громоздок, и Федор тащит его по земле, оставляя за собой идеально подметенную дорожку.

В тени сарая он разворачивает его и заваливается читать.

Места на брезенте — на добрую роту, и в обычные дни мы валяемся рядом, но сегодня я ни за что не пойду на этот брезент. Сегодня — война, и тот, кто первым захватил территорию, тот и владеет ею вполне безраздельно. Я устраиваюсь на крыльце и жду, когда Федор отложит книгу, повернется на правый бок и начнет храпеть. Тогда я реализую свой план, — я составил его, пока Федор, демонстративно чавкая, опустошал банку.

Но сегодня он, как назло, не желает спать. Шелестит страницами, всякий раз обстоятельно мусоля пальцы. Я не верю, что он уж так увлекся; просто, вероятно, чувствует, что я готовлю ему какую-то пакость.

Наконец-то! Книга отложена, Федор — на правом боку. Для верности выжидаю еще минут десять, потом подзываю Фишку и шепотом отсылаю его к Федору. Фишка изо всех сил вертит хвостом, но идти не решается: ему строго-настрого запрещено приближаться к брезенту. Борьба между долгом и условным рефлексом заканчивается в мою пользу — Фишка поджимает хвост и ползком подбирается к спящему Федору. Я со злорадством наблюдаю, что будет дальше. Сначала ничего не меняется в этой идиллической картине, и я уже начинаю подумывать, не растерял ли Фишка своих иждивенцев. Но тут Федор вздрагивает и начинает остервенело чесать босую ногу. Первое попадание.

Интересно, сколько времени он может выдержать? Пока не просыпается, но чешется уже всеми четырьмя конечностями. Пора отступать.

Ухожу за угол и, устроившись поудобнее, осторожно наблюдаю. Блохи атакуют Федора с беспощадностью пулемета. Через минуту он уже вскакивает, дико озираясь. Пока умудренный опытом пес, поджав хвост, улепетывает подальше, Федор с яростью срывает с себя штаны и начинает исследовать их, приплясывая от очередных укусов. Волосатые ноги его безоста-

новочно почесывают одна другую, и со стороны похоже, что голый человек ни с того ни с сего отплясывает в полном безмолвии загадочный танец.

— Ну, погоди, Москвич!.. — кричит он, сообразив, кому обязан внезапным пробуждением. — Я тебе устрою карнавал!..

Теперь мне следует быть начеку: Федор отплатит чем-то неожиданным. По принятым у нас законам, на такие вещи обижаться не полагается, и мне грозит только розыгрыш, а не затрещина. Поэтому я смело выхожу из-за угла:

— Звал, Федя?

Федор встречает меня уничтожающим взглядом: он еще не остыл, и шутить с ним пока не следует. Я молча отхожу в сторону, а Федор, вытряхнув одежду, напяливает штаны и вновь укладывается на брезент. Изредка почесываясь, изображает спящего, но я-то знаю, что он не спит, а злится.

До ужина я соблюдаю ультрабдительность. Но ничего не происходит: проспавшись, Федор усаживается делать мундштук из разноцветных пуговиц и ручек от зубных щеток. Он прилежно пилит, с удивительной ловкостью обращаясь с инструментом. Что бы он ни взял — напильник

или ножовку, гаечный ключ или зубило, — все эти железные предметы вдруг оживают в его руках. Толстые пальцы Федора, с такой неуверенностью орудующие карандашом, нежно и невесомо держат инструмент. Он никогда не бросит даже тяжелую кувалду («доктора», как называют ее ребята), а всегда бережно опустит на землю, словно она может расколоться или обидеться на него за грубое отношение.

Обычно я сажусь рядом и наблюдаю за его работой. Федор гордится своим мастерством, но не делает из него секрета, будучи убежденным, что овладеть им может всякий, у кого возникнет необходимость. Здесь он не признает никаких чудес и со смаком издевается над теми газетчиками, которые оснащают производственные очерки словами о творчестве, искусстве и таланте.

— Еще один талантливо заколачивает гвозди, — сообщал он, просматривая газету. — А второй с творческим огоньком устанавливает сортиры для новоселов. Начитается таких статей какой-нибудь полудурок вроде нашего Москвича и прет сломя голову в рабочий класс, не узнав у папы с мамой, почем нынче колбаса…

Ужинаем мы опять врозь: каждый в обнимку с личной банкой тушенки. Это совсем невкусно

— глотать холодную тушенку, но характер превыше всего.

Потом мы мрачно укладываемся спать подальше друг от друга. Федор засыпает мгновенно, а я долго еще ворочаюсь и вздыхаю…

Месяц назад меня привез на испытания сам Юлий Борисович Лихоман — руководитель группы. Поставил перед ребятами и сказал:

— Парнишка ни черта не умеет, но хочет уметь. Сделать из него испытателя — ясна задача, второй экипаж?

Второй экипаж понял это распоряжение с некоторой поправкой, задавшись целью «сотворить из меня в кратчайший срок стопроцентного парня», как выразился Славка. В соответствии с этим меня начали проверять со всех сторон, а я, ощетинившись, начал врать. Ребята всему верили, но гнули свою линию, и сегодняшний случай на речке был из той же оперы. Федора ведь не столько интересовали купальщицы, сколько моя реакция, в которой он усмотрел чистоплюйство энтузиаста, приехавшего зарабатывать биографию, а не гроши на жизнь. Потому-то и был объявлен суровый бойкот. До этой мысли я добираюсь уже ощупью, и наваливается сон…

Ночью я просыпаюсь от нестерпимо колючей

жажды: проклятая тушенка стала комом в горле, а в животе пламенеет пожар. В сарае — полный мрак, щедро озвученный могучими легкими Федора. Ощупью нахожу ведро: оно стоит на скамеечке слева от входа. Кружки нет, и я лакаю прямо из ведра, встав на четвереньки.

Жажда была столь пугающа, что я, как выяснилось, отволок ведро на брезент и оставил в ногах у Федора. Потом заполз на место и уснул мертвецким сном.

Не могу сказать, от чего я проснулся. Теперь мне кажется, что от грохота, криков, лая и холодной воды одновременно. В причинах этих была, конечно, своя последовательность, но тогда они разом обрушились на меня, я вскочил, кинулся к выходу, споткнулся о пустое ведро и лбом открыл дверь.

По сравнению с мраком в сарае, на улице почти светло: огромная лунища нагло уселась на коньке крыши, освещая голубоватую, уже остывшую землю. Крики и яростный лай не прекращаются и тогда, когда я, потирая лоб, поднимаюсь на ноги.

На площадке перед сараем топчутся, хрипя и ругаясь, пятеро парней. Полуголый Федор яростно отбивается от двоих сразу. На Славке разодрана рубашка, на одной ноге нет ботинка, а лицо за-

лито кровью. Он дерется молча, задыхаясь и вяло отмахиваясь кулаками. Фишка носится вокруг, но никого не атакует, по собачьей простоте принимая все это за очередную глупую шутку.

Я драк не люблю, и по этой части опыта у меня мало. Просто мне как-то не очень понятно, зачем ребята чуть что сразу же лезут с кулаками. По-моему, всякое дело можно решить логически, без всяких завываний, хуков и ударов в солнечное сплетение. Дело от этого только выиграет, потому что, по моим наблюдениям, человек в драке глупеет и напрочь забывает о той точке зрения, которой придерживался до начала потасовки. В школе у нас был кружок бокса, и, говорят, неплохой, но я в него не записался. Я тогда занимался проблемой расселения полинезийцев.

Федор лихо отшвыривает одного из своих противников. Это здоровенный детина с челюстью, как у Щелкунчика. Он приземляется всей спиной сразу и некоторое время лежит без движения, а потом переворачивается на живот и медленно поднимается на ноги. Не выпрямляясь, шарит руками по земле и вдруг рывком бросается к Федору, подняв над головой узловатую дубину.

Я кидаюсь вперед. От волнения и страха я не бью, а всей тяжестью с разбега толкаю парня в

бок. Он отлетает к стене сарая, а я падаю на него и что есть силы молочу кулаками. Некоторое время мы ковыряемся на земле, а потом я каким-то чудом успеваю вскочить первым. Он поднимается следом, но ему уже некогда брать жердь. Некогда!.. Это последнее, что я успеваю сообразить, когда вдруг все озаряется передо мною дружелюбными фестивальными огнями и я лечу куда-то очень долго и совершенно не чувствую боли.

Мысли отсутствуют напрочь. Свет сужается до узкого коридора, в центре которого возвышается фигура моего врага. Чувства мгновенно атрофируются, и я теряю все болевые ощущения. Единственное, что я испытываю, — ненависть, жгучую, как серная кислота…

Потом я пытался подсчитать, сколько раз я летал на землю от кулака Щелкунчика. Это была явно двузначная цифра, но в нокаут он меня так и не послал, потому что я тут же вскакивал и вновь спешил получить очередную порцию. Зачем я так тогда торопился, этого я никогда объяснить не смогу. Просто махал кулаками и лез на рожон…

— Да очнись-же, чудак!..

Это доходит, так как меня вдобавок трясут за плечи. По инерции я еще несколько раз тюкаю Федора в живот кулаками и выключаю двигатели.

Враг бежал, поле битвы осталось за нами. В рассветном тумане гулко разносится лай Фишки, преследующего противника. Судя по лаю, бой кончился не только-только, и, следовательно, последние две минуты я лупил Федора. Славка, скорчившись, сидит на земле. Голова разбита, а красивые волнистые волосы, которые он обычно расчесывает через каждые полчаса, залиты кровью.

— Генка, воды… — хрипит он.

Я бодро хватаю ведро и бегу к колодцу. Зачерпываю, не глядя, сколько набралось: сегодня мне не до насмешек. Федор отбирает ведро и поливает Славкину голову.

И тут я чувствую, что с коленями у меня происходит какая-то трясучка. Медленно опускаюсь на бревно, и боль вдруг наваливается на меня, словно только и ждала, когда я присяду. Болят лицо, голова, грудь, руки, живот — болит все, что способно болеть, даже волосы. Дыбом они вставали, что ли?..

— Генка, воды!.. — Это Федор.

— Не тронь его, — хрипит Славка. — Ему досталось не меньше нашего.

Федор идет к колодцу, а я удивляюсь настигшему меня приступу невесомости. Земная

невесомость в отличие от космической имеет тенденцию к разделению тела на части: в то время как ноги наливаются ртутью, голова приобретает легкость и явно стремится ввысь. Словом, лечу я!..

Прихожу в себя, когда солнце светит вовсю. Я лежу в тени на брезенте, укутанный в два одеяла. Все у меня на месте, и закон всемирного тяготения вроде опять существует, но тело ломит так, будто я накануне слегка попал под грузовик.

— …из армии вернулся. А я и не знал, что Верка до призыва с ним гуляла! Пошел, как телок на бойню…

Славка прерывает свой рассказ тихим и очень жизнерадостным смехом. Я выглядываю из-под одеял: мои наставники сидят на траве под полузасохшей березой. На расстеленной газете стоят бутылка, три стакана, нарезанная большими кусками нечищеная ставрида и обломки нашего давным-давно засохшего хлеба. Чуть в стороне — завернутая в телогрейку кастрюля, возле которой, пуская слюни, лежит Фишка.

— Захожу, а в избе полно ребят: дружки его. Выпивши уже здорово, бельма на меня выкатили. Ну, я сразу понял ситуацию и двинул в окно. Хорошо еще, дом современный — окна широкие.

Ребята, конечно, за мной, но я рву вперед и пока лидирую, как Борзов на стометровке. Все-таки колом они меня пару раз по башке достали, но ноги я унес. Ботинок, правда, в речке утопил: жалко. Хороший был ботинок…

— Мало тебя, Славка, за баб, видно, били.

— Много! — радостно не соглашается Славка. — А что делать, если они меня любят? Разве женщине откажешь, Федя? Грубость это — женщине отказывать…

Он опять заливается беззаботным смехом. Он смеется всегда, в любых обстоятельствах, и за это ребята многое ему прощают.

— Давай быстрей, картошка стынет, — говорит Федор в ответ на мое «доброе утро», произнесенное довольно косноязычно по причине онемения нижней челюсти.

По этой же причине я и умываюсь весьма символически, так как проклятая челюсть не терпит, оказывается, никаких прикосновений. Осторожно промакиваю лицо полотенцем, о цвете которого лучше никогда не говорить маме, и, прихрамывая, подхожу к ребятам. При моем приближении на Славку нападает приступ смеха, но особенно всплескивать руками ему тоже не очень-то сладко. Он все время ойкает и хватается

за разные места.

— В зеркало… В зеркало глянь!..

Федор серьезно подает мне зеркало. Да, портретик вполне модернистский: преобладают фиолетово-багровые тона…

— Выпей. — Федор разливает водку. — Сразу легче станет.

Оказывается, мне больно не только говорить, но и трясти головой. Объединив то и другое, категорически отказываюсь.

— Дурак! — Славка искренне хочет, чтобы мне стало лучше. — Это же для лечения!

Лечение — порошки и пилюли. Ну, там, банки, компрессы, на крайний случай — укол. А водка… Я бы сказал об этом ребятам, если бы мог, но шевелить челюстью свыше моих сил. Я молча сажусь на траву и выбираю огромный ломоть ставриды: к счастью, аппетит мне не отбило… А рот не раскрывается. То есть раскрывается, но туда ничего не всунешь. Вид, вероятно, у меня глупейший, потому что Славка от хохота не может проглотить свою водку.

— Есть хочешь? — спрашивает Федор.

Я осторожно — чуть-чуть! — наклоняю голову.

— Тогда придется выпить, брат, — улыбается Федор. — Водка боль снимет, поешь по-челове-

чески.

Давясь, выцеживаю полстакана противной местной водки. В голове начинаются шум и звон, но челюсть действительно можно передвинуть и вверх и вниз, и боли почти нет. Сразу повеселев, наваливаюсь на ставриду, а тут Славка распаковывает кастрюлю, и горячий картофельный пар столбом поднимается в небо.

Интересно, что по поводу этого завтрака сказала бы моя мама?

2

Пыль вездесуща, как воздух: скрипит на зубах, жжет глаза, зудит на всем теле. Я убежден, что она выстлала мои внутренности тем же толстым бархатистым слоем, каким я покрыт снаружи.

Вторую неделю мы «мотаем километраж». Сторожевая служба кончилась, когда с завода вернулся вездеход. Мы приступили к нормальной посменной работе, но начальство приказало в кратчайший срок намотать двадцать пять тысяч километров. Техником-испытателем назначили Юрку Березина, интересы ОТК представляет Степан Смеляков, а командиром вездехода стал сам руководитель группы испытаний Лихоман.

Написать портрет Лихомана очень сложно,

потому что оперировать придется всего двумя красками — красной и оранжевой. Больше никаких оттенков Лихоман не отражает: он поглощает их, как голодный Федор тушенку. Оранжевой частью спектра наделила нашего командора природа-мать, красный — благоприобретение на тернистой стезе испытателя гусеничных машин. Дело в том, что при всем гвардейском росте, любви к испытаниям и зычном голосе Лихоман не может ездить внутри вездехода. Его укачивает, как малокровную филологичку. Поэтому перед выездом мы укладываем наш чудо-брезент на передний надмоторный лист, и Лихоман возлежит там, как римский полководец. Говорят, что и зимой он путешествует на том же месте, только ребята дополнительно заворачивают его в тулуп.

Степан Смеляков, наоборот, возмутительно черен. Черен какой-то разбойной чернотой: не негритянской, не цыганской, а ночной. Плюс к этому он невероятно хитер и никогда не скажет ни «да», ни «нет», а всегда промычит так, что это мычание можно истолковать как угодно. Выбить из него подпись под каким-нибудь документом столь же сложно, как уговорить Фишку выкупаться в реке. Это обстоятельство стяжало

Степану славу самого ценного работника отдела технического контроля.

По причине жары мы катаемся без тента. Лихоман лежит на брезенте и дремлет, когда дорога ровная, а машина работает нормально. Если Степан не за рычагами, он обычно сидит рядом, по-турецки скрестив ноги. Я и Славка болтаемся в пустом кузове — я стою на сиденье, чтобы все видеть; Славка либо глубокомысленно курит, либо ковыряется в походной рации: по совместительству он радист.

Юрка с нами не общается: он недавно кончил техникум и еще не привык к своему полувысшему образованию. Каждые десять минут он влезает на сиденье и через голову водителя заглядывает на щиток приборов. Это занимает в среднем минуту, остальные девять Юрка старательно записывает показания в журнал испытаний. Он очень аккуратен, степенен и важен, но все равно его никто не принимает всерьез.

Мы кочуем по пустынным, заброшенным проселкам, как моторизованные цыгане. Проселки часто упираются в речки или овраги; тогда вездеход останавливается, и все вылезают. Федор следует под мост изучать быки и стропила; Степан проходит на середину сооружения и на-

чинает озабоченно топать; Лихоман привычно окидывает взглядом окрестности, ища объезд. Мы с удовольствием разминаем затекшие ноги; Юрка, естественно, разминает их отдельно от нас.

Когда разведчики возвращаются, происходит следующий разговор.

— Выдержит, — бурчит Федор. — Сваи — во! В обхват.

— М-да… — вздыхает Степан. — Сваи — это точно. И настил…

— Там — укосины, — уточняет Федор.

— Укосины есть, — соглашается Степан. — Однако дерево.

— Ехать-то можно? — интересуется Славка.

— Можно.

— Кто его знает…

Лихоман молча переходит мост, на той стороне приседает, заглядывая под настил, и кричит:

— Давай в объезд!..

— А я говорю: можно!.. — орет Федор. — Чего мы там-то кувыркаться будем?.. Прошлый раз не послушали меня, а что вышло?

Прошлый раз мы сунулись в топь и потом часа четыре вытаскивали машину.

— А я говорю: давай!..

— А я говорю: опять в топь сунемся!..

— Да?..

— Я тебе говорю!..

Лихоман лезет под мост.

Степан вздыхает:

— Баламут ты, Федор.

— Считаешь, мост не выдержит?

— Вообще-то… — Степан начинает прикуривать, и разговор обрывается.

Федор терпеливо ждет ответа, но спички у Степана гаснут ровно до того мгновения, пока из-под моста не появляется Лихоман:

— Давай, Федя, в мою голову!..

При такой команде мы не имеем права садиться в машину. Только водитель и техник-испытатель по долгу службы обязаны рисковать провалиться вместе с мостом. Юрке очень нравится эта особенность его должности. Он бросает на нас горделивый взгляд и небрежно говорит:

— Рискнем?

Мы переходим к Лихоману, а Федор осторожно вводит на шаткий мостик тяжелую машину. Приглушенно урчит мотор, шлепают о дерево гусеницы, а все сооружение немилосердно скрипит и раскачивается. Славка толкает меня:

— Гляди, Москвич, сваи-то, как ухваты, скрю-

чились!..

Что-то зловеще трещит, но вездеход, победно рыча, уже выбирается на нашу сторону. Юрка воображает себя по меньшей мере Туром Хейердалом.

— Во-во, — говорит Степан. — Я же говорю: дерево. Оно кого хочешь выдержит. А объезд — дело ненадежное, Юлий Борисыч. Топь — это не для нас.

По деревням мы пролетаем с особенным шиком. Услышав рев нашего вездехода, наиболее сообразительные собаки забиваются в подворотни. Глупые, хрипя и страдая, скачут рядом, задыхаясь от злобы, страха, пыли и синих клубов газойля. Славка уверяет, что после такой пробежки они на этом свете долго не заживутся, потому что стерпеть весь комплекс нашего страшилища могут только люди.

— Почему человек — царь природы, знаешь? Ты сейчас скажешь, что, мол, разум, дубину сделал да горшок из глины слепил? Чепуха: горшок и медведь слепить может, если захочет. Просто человек — самое терпеливое животное, вот и все. И дрессировать его куда проще, чем обезьяну. И все он стерпит, даже наш вездеход.

Я сомневаюсь. Но у Славки в запасе давно про-

думанный аргумент:

— Ты прикинь, что было бы со слоном, если бы его запихали в нашу коляску да помотали бы по проселкам полтысячи километров. Сдох бы тот слон как миленький. Откинул бы хобот, и вся игра…

Пока ребята высматривают место для обеденного привала и разводят костер, я иду в деревню за молоком и хлебом. Если покупок предполагается много, со мной идет Славка.

Я люблю эти походы. Люблю шлепать дырявыми кедами по нежнейшей пыли проселочных дорог и ждать, когда утихнет наконец застрявший в ушах грохот нашей колымаги. Через полчаса он идет на убыль, и сначала я слышу, как брякает пустое ведро, а потом — даже жаворонка в белесом от зноя небе… Впрочем, чаще мы ходим со Славкой, и поэтому вместо жаворонков я слышу его:

— …если бы не было ледникового периода, не видать бы нам телевизоров, как своих ушей. Максимум, до чего бы доперло человечество, так это валить мамонта с одного удара. Соображаешь — почему?

Соображаю я туго, но, надеюсь, не от природы. Кроме того, на этот вопрос можно не отвечать:

Славка все равно доскажет свою гипотезу до конца.

Он излагает новые гипотезы в среднем раз в три дня. Он вычитывает их в «Науке и жизни», «Технике — молодежи», «Знании — силе», «Вокруг света» и еще каких-то журналах. Журналы эти Славка покупает в букинистическом магазине оптом за весь год — не потому, что это дешевле, а по нетерпеливости характера. У него солидные знакомства в среде букинистов, где и оседает львиная доля Славкиной зарплаты. Начитавшись статей, он перемешивает их в своей голове и выдает порциями.

— Три причины. Во-первых, возникшие трудности в смысле жратвы заставили наших предков соображать насчет завтрашнего дня. Во-вторых, мерзнуть они стали, а холод последнего дурака заставит о шубе подумать. Шить начали, кроить, короче — заниматься начертательной геометрией. Опять же в холод без кипятку не проживешь, значит, хочешь не хочешь, а физику познавать пришлось. Но самое главное — пункт третий: лед. Лед вошел в соприкосновение с человеком, и начал этот человек пить талую воду. А известно, что в талой воде дейтерия почти нет, и, следовательно, нет биологического тормоза для дальнейшего

развития.

Он смотрит на меня победоносно, но мне лень реагировать. Жарко. Тело ломит от постоянного встречного ветра. Даже губы стали твердыми: их трудно растянуть в улыбку без того, чтобы не треснула кожа.

— Талая вода — сила, — бубнит Славка. — Если пить ее каждый день по два стакана…

Что будет, если пить талую воду каждый день по два стакана, я так и не узнаю, потому что Славка вдруг замолкает и достает расческу: за поворотом виднеются первые дома деревни.

Я не приспособлен для хождений по магазинам: вероятно, родители допустили какой-то пробел в моем воспитании. Очередь в десять человек всю жизнь приводила меня в уныние — я сразу же поворачивал домой и объявлял маме, что указанного продукта в магазине нет и быть не может. Мама вздыхала и сама шла на розыски.

Сейчас ситуация изменилась не в смысле очередей, а в смысле отсутствия мамы. Славку я считаю специалистом по молоку: ему очень нравится шляться из дома в дом, болтать с хозяйками и торговаться. А я почему-то всегда нарываюсь на очереди. В сельпо они носят принципиально другой характер: они добродушнее, короче и

медлительнее городских и возникают не в силу товарного дефицита, а по причине старых знакомств и родственных отношений.

— Клавка моя письмо прислала. Пишет: посылают мужа в Африку.

— Ну?.. — удивляется продавщица. — А сама-то поедет?

— Не решается. Жарища там, говорит, и картошки нигде не купишь.

Письмо перекочевывает за прилавок. Продавщица вытирает руки и достает из конверта два мелко исписанных листка.

— Вслух читай!.. — требует очередь.

— «Здравствуйте, дорогие мама, брат Валерий и сестра Тоня…»

Торговля прекращается. Очередь слушает обстоятельное письмо далекой Клавки, спрашивающей, ехать ли ей с мужем в Гвинею или отпустить его одного. Стоящий впереди меня бородатый мужик на скрипучем протезе закуривает, пряча папиросу в огнеупорную ладонь.

— Нет, мужа одного в Африку отправлять — непорядок, — басит он в паузу. — Негритянки тоже, знаешь, не дуры. Пляшут-то как, видала? Срамота, а он мужик видный и со специальностью.

— С них подписку берут, — говорит продавщица. — Чтоб ни-ни — и не знакомились.

— Подписку… — ворчит мужик. — С подпиской спать не ляжешь…

Я тихо злюсь: голодные, усталые ребята ждут свежего хлеба. Злюсь и глупо торчу в замершей очереди. И все-таки если не телепатия, то какая-то чертовщина существует. Иначе не объяснить, почему я вдруг оглядываюсь.

Оглядываюсь и мгновенно глохну: в дверях стоит девчонка. Худенькая, с небрежно взбитой прической, в легком, явно городского покроя платье. Видно, влетела с разгону и не может со света понять, что за собрание происходит в полутемном магазине.

Это она, та, что танцевала на берегу. Правда, танцевала она на расстоянии добрых сорока километров отсюда, но это неважно. В конце концов, география — наука не точная.

Девчонка сталкивается со мной взглядом. Это, конечно, глупо, но с пятнадцати лет я утратил способность играть с девчонками в гляделки. А на этот раз я задерживаю взгляд чуть дольше и успеваю заметить, как сердито съеживаются ее выгоревшие бровки. Девчонка вздергивает нос и стремительно вылетает из магазина, парашютом

раздув широкое платье.

— «…у Наташеньки зубки режутся, и она тянет все в рот, — читает тем временем продавщица. — В наших краях и то врачи велят на это внимание обращать, а какую дрянь она в той Африке потянет, так это и представить себе невозможно…»

На крыльце громко звякает крышка, и в сельпо появляется Славка.

— Чего застрял?

— Очередь, — шепотом поясняю я.

— «Очередь, очередь»… — ворчит он и начинает медленно пробиваться к прилавку. — Гвинея-Бисау!.. — вдруг громко объявляет он. — Знакомое местечко.

Очередь дружно поворачивается к Славке. Продавщица прекращает чтение.

— Здравствуйте, — весело говорит Славка, оттерев плечом какую-то пригорюнившуюся старушку. — Год в Судане инструктором работал. Как раз на границе с Гвинеей: мы туда за кока-колой по воскресеньям бегали. Насколько я помню, Судан никак не соприкасается с Гвинеей, но очередь, видимо, помнит географию еще хуже меня.

Все смотрят Славке в рот.

— Жара кошмарная. Ну конечно, змеи там, скорпионы, мухи цеце. Но вообще-то ничего,

привыкаешь. Кто едет-то?

— Дочь, — всхлипывает стоящая впереди. — С детишками…

— Перебьются, — твердо говорит Славка. — Советую черных сухарей насушить мешка четыре: хлеба там нет.

— Совсем нет? — поражается мужик на протезе.

— Ни крошки, — авторитетно заявляет Славка. — Кстати, а у вас-то хлеб свежий?

— Свежий…

— Ну, отпустите нам пока килограммов десять, Генка, давай мешок. Да, так насчет Гвинеи…

Через три минуты мы выходим из сельпо. Я волоку мешок с теплым хлебом. Славку провожают благодарственными возгласами и приглашениями погостить. На крыльце я останавливаюсь: нет, девчонки не видно. Что за чертовщина?..

— Давай мешок, — ворчит Славка. — Давай мне мешок, а сам попрешь молоко. Что ты головой вертишь?

— Шея онемела, — говорю я, беру ведро с молоком, и мы неторопливо идем по щедро усыпанной коровьими лепешками деревенской улице.

— Ну и народ наши славяне! — вдруг смеется Славка. — Чем хлеще врешь, тем больше верят…

А я не слушаю его. Я гляжу через плетень: у крыльца стоит она, та самая. Значит, не чертовщина, значит, она действительно существует!.. Я набираю полную грудь воздуха и начинаю очень громко петь:

Пусть всегда будет солнце,

Пусть всегда будет небо...

Кажется, она смотрит в мою сторону!..

Пусть всегда будет мама...

— Чего ты разорался? — удивляется Славка. — Мама ему понадобилась!

Она не только смотрит — она быстро идет к калитке, открывает ее и выходит на улицу. Значит, она — это она, та, что танцевала...

— Славка, бежим!.. — кричу я, наступаю на свежую коровью лепешку, поскальзываюсь и с ног до головы обдаюсь прохладным, отстоявшимся в погребе молоком...

Славка корчится. Смеется девчонка, смеется какая-то женщина. А я весь мокрый и весь перемазанный. Видно, встал не сразу, а побарахтался, ища ускользавшую точку опоры.

У Славки судороги от хохота. Он абсолютно лишился дара речи, а только показывает на меня

пальцем:

— Ва… ва… ва…

Я брожу по молочной луже и никак не могу отыскать ведро. Не раздавил же я его, в конце концов!..

— Вот ведро! — кричит девчонка, давясь смехом. — Ты его за плетень забросил!..

Я молча поднимаю слегка погнутое ведро. Штаны, рубашка и кеды промокли насквозь и стали противно жирными; наверно, со стороны я похож на осеннего сома, сонного и жирного. Мне бы следовало подобрать ведро и уносить отсюда ноги, а я начинаю выпрямлять его на коленке.

— Балет!.. — выдавливает наконец Славка.

Я молча гну ведро в трех шагах от девчонки и чувствую, как от меня пахнет коровой.

— Иди умойся, — говорит она. — Волосы у тебя слиплись.

Я прекращаю попытки придать ведру прежнюю форму и, не поднимая головы, иду к мешку. Подхватываю его и вдруг замираю.

Вокруг слышится гнусное жужжание: зеленые толстые мухи нагло атакуют мои штаны. Славка отбирает мешок:

— Ты рассадник! Я с тобой и шагу не сделаю!..

Потом мы оказываемся во дворе. Я остаюсь в

одних плавках, и Славка поливает мне из бадьи колодезной водой. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать, и все время лихорадочно ловлю ускользающий брусок колючего мыла. Девчонка стоит рядом и командует:

— Намыль голову еще раз. Уши забыл. Локти грязные.

— Сохни, — говорит Славка, обдав меня последней двухведерной порцией. Он берет ведро, к которому теперь никак не подходит крышка, и опять идет за молоком.

Я стираю свое барахлишко в долбленой колоде. Девчонка сидит на срубе колодца и болтает ногами.

— А ты кто? — спрашивает она.

— Испытатель, — к сожалению, обстоятельства не позволяют вложить в это слово достойную долю гордости. — Вездеход гоняем на гарантийный километраж.

— Это такая вонючая машина?

— Почему вонючая?.. — уныло обижаюсь я.

— Не знаю почему. Вероятно, такую сделали. А сам откуда?

— Из Москвы.

Некоторое время она молчит. Потом объявляет:

— Смешно.

— Почему?

— Потому что я тоже из Москвы. Я в гости к дедушке приехала.

Сердце мое чуть бултыхнулось, но я все-таки спросил:

— Это дедушкин дом?

— Нет, это тетин. Дедушка далеко отсюда, в Бруснятах. Там, где ты за мной подглядывал.

Я мучительно краснею. Просто чувствую, как наливаюсь кровью.

— Я не подглядывал…

— Врешь, подглядывал, я тебя по голосу узнала: очень уж ты противно поешь. И вышла специально, чтобы сказать, что подглядывать подло. — Девчонка слезает с колодца, отряхивает платье и идет в дом. — Мыло не стащи.

Я собираю в охапку свои вещички, взваливаю на спину мешок с хлебом и в одних плавках выхожу на улицу. Выбираюсь из деревни и раскладываю на обочине одежду. Потом ложусь на живот в горячую пыльную траву. Горько, но справедливостью на свете и не пахнет. Я же действительно не подглядывал, я же случайно влип в эту историю, я же жертва, я не преступник. Наоборот, я нарочно заорал тогда, но как

это ей докажешь? И вообще в этой девчонке, как выяснилось, ничего нет — только что розовой казалась, ну, так это просто оптический обман, разложение белого цвета на составляющие. Между прочим, черный цвет честнее белого: он ни на что не разлагается, а обладает собственным характером.

Вот если бы мы видели черными лучами, а не белыми, так эта девчонка никогда бы не показалась мне розовой, а была бы такой, какая есть…

Весь день ребята потешаются надо мной. Юрка просто отвратительно смеется, и поэтому я очень на него злюсь. Если человек попал в смешное положение, над ним можно немного повеселиться, но зачем же элементарно тыкать пальцем и гоготать?

Возмездие наступает вечером. Впрочем, судьба перестаралась, и нам было совсем не до смеха.

Ежедневно с семи до девяти у нас урок вождения. Лихоман выбирает укромное местечко, и мы по очереди садимся за рычаги. Обычно машина ходит по кругу, и поэтому все, кому надоело трястись, слезают на землю. Остаются ученики — я и Юрка — и инструктор Федор, или Степан.

Сегодня инструктором Степан, а это значит, что замечаний будет в девять раз больше. Степан

очень придирчив и дотошен:

— Носком дави на газ, носком!..

— Я знаю, — огрызается Юрка.

— Рычагами не дергай: не грабли.

— Знаю! — злится Юрка, во всем усматривая унижение своего среднего технического образования.

— Говорю, рычагами не дергай!..

Машина рыскает, как ищейка. Я болтаюсь на надмоторном листе, то приваливаясь к Степану, то откатываясь к правому борту. Мотор воет в такт дерганьям: у Юрки какая-то странная взаимосвязь между конечностями, и он не может не шевелить рукой, если двигает ногой. Это очень раздражает Степана:

— Что ты все дрыгаешься?

— Сам знаю! — привычно парирует Юрка, а машина по-прежнему выписывает вензеля.

Мы учимся на широченной полосе отчуждения высоковольтной линии. Полевая дорога петляет между опор, и Степан все время направляет Юрку подальше от них. Линия, наверно, не очень мощная, потому что опоры деревянные. Тысяч шесть вольт, не больше.

— Левый рычаг, левый!.. Левый…

Бац! Машина с ходу бьет носом в опору. Столб

трещит, провода раскачиваются, с них пригоршнями сыплются искры, а перед моим носом вдруг мелькают рыжие сапоги Степана. Тишина, только мелодично позванивают медные провода. Подрубленный столб наклонился в нашу сторону, и непонятно, почему он до сих пор не падает. Степана рядом нет, а из люка водителя торчит Юркина голова.

— Где Смеляков?

— Не знаю. — Я гляжу, как над головой, сверкая на солнце, раскачивается толстый провод. — Как ты в столб угодил?

— Левый тормоз не держит, — говорит Юрка. — Я тяну, а он не схватывает.

— «Не схватывает»!.. — кричит невесть откуда появившийся Степан. — Тебя бы так схватывало, раззява! А ну, вылазь из машины к…

Грудь, ноги и живот его в желтой пыли. Поскольку наши наряды всегда пропитаны маслом, пыль эта пристает раз и на всю жизнь.

— Вылазь!..

Юрка молча выбирается из машины. Степан с опаской подходит к столбу и, задрав голову, изучает его. Я слезаю и тоже задираю голову.

— На чем держится, а?

— На машине, — говорю я. — Видишь, провода

не натянуты.

— Повезло, — вздыхает Степан. — Шесть тыщ — это тебе не шутка. Упади провод на машину — было бы в ней три головешки.

— Две, — уточняю я. — Ты сиганул, как Володя Ященко.

— А я, брат, ученый. Отойди-ка…

Он осторожно, как к раскаленному, прикасается к наклонившемуся столбу. Юрка стоит в стороне, ковыряя носком ботинка рыжую траву. Осмелев, Степан дергает столб:

— Держится.

— Отъедем — упадет.

— Да-а… — Степан закуривает. Обстоятельства требуют решения, и это сильно беспокоит его. — Ну-ка, техник, ноги в руки и рысью к Юлию Борисычу.

Юрка на этот раз слушается. Мы садимся на жесткую траву поодаль от машины. Степан никак не может успокоиться.

— Дурак чертов! Устроил бы головешки из людей. Закуривай.

— Я не курю.

— Ну?.. — приятно поражается Степан. — Это хорошо, что не куришь. Здоровье, значит, экономишь. А его, известно, на базаре не купишь…

Тут он начинает толковать про одышку, отсутствие аппетита и плохой сон. Все это он увязывает с курением но, по моим наблюдениям, курение на него пока еще не действует, потому что спит Степан как сурок, а ест за троих. Но Смеляков очень любит жаловаться:

— Бок болит. Как вертанешься влево — ну прямо ножом…

— А ты не вертись влево.

— Дурак! — сердится Степан. — А еще докторский сын. Это же противоестественно, когда колет. Это же — явление ненормальное.

Насчет ненормальных явлений он дока, если эти явления происходят с машиной. Даже всезнающий, опытнейший водитель Федор не слышит и десятой доли тех нюансов, которые улавливает Степан своим большим, заросшим буйным цыганским волосом ухом: «А смазочку-то в планетарке менять надо, Федя». — «Да я же менял! На прошлом техосмотре!..» — «Шестерни приработку кончили. Слышишь, как поют? Как Уральский хор “Рябинушку”…»

К машине быстро идут Лихоман, Федор и Славка. Сзади уныло плетется Юрка.

— Лихо ты в него врезал! — искренне восторгается Славка, разглядывая созданную Юркой

конструкцию.

— Я ему кричу: левый, мол, левый!.. — поспешно и маловразумительно докладывает Степан. — А он…

— Знаю. Не зуди, — сквозь зубы говорит Лихоман, с силой раскачивая столб. — Шлем!..

Юрка поспешно срывает с головы шлемофон. Лихоман зло натягивает его, зачем-то застегивает под подбородком.

— Юлий Борисыч… — начинает Федор.

— Молчать!..

Черт возьми, мне это нравится! Именно таким металлом звенел, вероятно, голос зампотеха батальона Лихомана тридцать лет назад. Именно так, непререкаемо и резко.

— Всем отойти!..

Мы отходим молча, и это тоже ново, потому что до сих пор ни одно распоряжение еще не выполнялось без ворчливых комментариев. Лихоман лезет в люк, опускает сиденье водителя. Некоторое время он ковыряется там, потом по плечи высовывается наружу:

— Генка!..

Почему-то он выбрал меня. Выбрал разделить с ним смертельный риск и неминуемую славу. Сердце мое сладко ноет, пока я бегу к машине.

— Опусти люк. Поплотнее и без стука.

Только и всего. Я опускаю люк, возвращаюсь к ребятам. Все молча курят, не отрывая глаз от запечатанной наглухо машины.

Ревет мотор. Чуть звякают шестерни включенной передачи. Гул мотора падает, потом начинает медленно нарастать. Машина вздрагивает. Мы смотрим на провода. Раскачиваясь, они нестерпимо сверкают в заходящем солнце. Вездеход отползает почти незаметно, почти неуловимо для глаза, но просвета между ним и столбом все нет и нет, а это значит, что столб наклоняется. Федор, присев, напряженно ловит этот просвет.

— Есть!.. — торжествующе кричит он. — Держится, Борисыч! Давай!

Лихоман увеличивает обороты. Все быстрее и быстрее отползает машина. Столб держится.

Резкий рывок, красивый разворот — на одной гусенице при точно дозированных оборотах мотора, предел моей водительской мечты. Со стуком откидывается люк. Лихоман вылезает, снимает шлем; кирпичная физиономия его краснее обычного на пять тонов.

— Пойдешь в деревню, скажешь, чтобы выключили напряжение, — говорит он Юрке.

Притихший Юрка уходит в деревню. Мы от-

гоняем машину в укромное место, расстилаем брезент. Степан, Федор и Славка шушукаются, вытаскивают из карманов смятые рубли. Потом Славка причесывается и следом за Юркой топает в деревню, а я иду за хворостом. Федор разводит костер. Степан, бормоча какие-то заклинания, варит картошку. Я бегаю за водой, мою посуду, таскаю хворост. Все происходит сегодня в полной тишине, потому что Лихоман молча лежит на брезенте.

Славка приносит водку. Степан наливает кружку. Федор держит наготове располосованный надвое огурец и густо посыпанную солью горбушку.

— Борисыч! — торжественно провозглашает Степан. — Ну?

— Выпей и, того, не журись. Починят они этот столб, чтоб он сгнил!..

Лихоман садится, берет кружку:

— Ну, за тех, кто в поле!

— За тех, кто в поле, Юлий Борисыч!..

Лихоман сквозь зубы цедит омерзительную жидкость, которую здесь гонят, по-моему, из квашеных калош. Вторым пьет Степан. Он ревниво следит за Славкой:

— Еще чуть. Хорош… Ну, чтоб погода не под-

вела.

Федор выпивает молча. Славка произносит стандартное «будем здоровы», и Степан снимает с костра картошку, залитую тушенкой. Мы по очереди лезем в ведро личными ложками и жуем, пока тишину не нарушает скрип ложек о дно. Тогда все откидываются на брезент и закуривают, а я начинаю мыть посуду.

— А ты зачем шлем надевал, Борисыч? — вдруг спрашивает Федор.

— Черт его знает. Вроде изоляция, — неуверенно говорит Лихоман. — Рукоятки у рычагов резиновые, прокладка на люке тоже. Если бы провод упал, все-таки, знаешь, шанс.

— Самообман это, а не шанс, — ворчит Федор. — Во-первых, напряжение большое, а во-вторых, днище-то все равно — металл.

Лихоман смеется:

— Точно, Федя!.. Знаешь, об этом не думалось…

Где-то в темноте, за светлым кругом костра, ржет лошадь. Все замолкают, прислушиваются. Нет, показалось…

— А вот мне монтер рассказывал — не знаю, может, врал… — начинает Степан.

К костру неслышно подходит Юрка:

— Юлий Борисыч, они акт требуют.

— Кто?

— Да председатель…

— Кретин! — бросает Лихоман и уходит в темноту — туда, где тепло и мирно вздыхает лошадь.

Мы молчим. Юрка виновато громыхает ведром:

— Пожрать-то оставили?

— В миске, — говорит Славка. — Так что ты там насчет монтера?..

— А-а… — Степан садится: он не умеет рассказывать лежа. — Стало быть, вызывают его на линию — он линейным монтером работал.

— Геннадий! — официально орет командор. — Садись. Поедешь со мной.

Мы залезаем в телегу. На передке возвышаются две фигуры, а мы усаживаемся сзади.

— Просил же я вас, Юлий Борисыч, звать меня просто Генкой. Поверьте, это не от инфантильности…

— Ладно, — обрывает Лихоман. — Напишешь объяснение, как это случилось. Вали все на пэ-эм-пе.

ПМП? Планетарный механизм поворота?.. Какое же тут ПМП, когда во всем виновато Юркино упрямство? Если бы он слушал Степана… Я не выдерживаю:

— Юлий Борисыч, а при чем здесь пэ-эм-пе? Это же Юрка…

— Вали все на пэ-эм-пе, — чуть резче говорит он и, нахохлившись, замолкает.

Поскрипывает телега, о чем-то шепчутся фигуры в передке, неприступно молчит Лихоман, а я ничего не понимаю. Я же знаю, что Лихоман никогда не врет, какой бы горькой ни была правда. Знаю по рассказам ребят, по личному опыту, по интуиции, поскольку она существует. И вдруг — простое дело и… Я искоса поглядываю на начальство, нарочно громко вздыхаю, верчусь, но командор недвижим, как монумент.

— Юлий Борисыч…

— Ты зачем сюда приехал?

— Как? — растерянно переспрашиваю я. — То есть я хотел…

— Без трепа, — строго предупреждает Лихоман. — Врать сложнее, чем говорить правду.

Я молчу, собираясь с духом. Сейчас соберусь и все выложу. И про папу, который и вправду был врачом, да только сгинул бог весть когда. И про маму, которая из-за него, меня и Наташки так и не кончила институт и тянула нас на зарплату медицинской сестры да приработок от уколов, компрессов, банок и прочих процедур на дому.

И про себя, который ехал зарабатывать деньги Наташке на ВГИК, а сюда попал из-за шоколадных глаз.

— Мода — всегда пошлость, потому что предусматривает обезличку, — не дождавшись, говорит Лихоман. — А мода на социальную принадлежность — пошлость в квадрате. Ты же из другой элитной группы, что тебя связывает с рабочим классом? Энтузиазм? Чушь, не верю! Ничего, кроме лозунгов, моды и желания взлететь на волне. Следовательно, ты приехал сюда зарабатывать биографию. Так или не так?

— Не так, — говорю я. — Мне не справка нужна и даже не профессия, мне… Как бы объяснить? Уверенность, что ли…

— Рабочему легче сохранить внутреннюю гармонию. — Лихоман, как видно, и не нуждается в моих ответах. — Делай честно, что поручено, и тебе не придется ни ловчить, ни хитрить, ни изворачиваться. Рабочий свободнее всех, потому что у него нет подчиненных. И в этом его сила. Если так, то я тебя понимаю и приветствую, только не задавай мне никаких вопросов и вали все на планетарный механизм поворота.

Я неожиданно прозреваю, в голове образуется некий просвет, и в этом просвете я отчетливо ви-

жу Юрку. Унылого пижона Юрку, с видом побитой собаки громыхающего пустым ведром. «Пожрать-то оставили?..» И как это я раньше не сообразил, что огненный Лихоман выручает его?!

Я с обожанием гляжу на рыжего командора. Есть валить все на планетарный механизм поворота, дорогой Юлий Борисыч! Полевое братство дороже истины!

Потом мы оказываемся в большой неуютной комнате, стены которой сплошь увешаны плакатами. Трое сумрачно настроенных мужчин уныло перечисляют наши грехи: потравы, разрушенные мосты, передавленных кур и какую-то сожженную скирду сена. Столб выплывает в конце, но Лихоман вцепляется в него хваткой утопающего и решительно отметает все остальное. Глубокой ночью мы наконец приходим к соглашению, смысл которого до меня так и не доходит. Лихоман скрепляет сделку рукопожатием и уходит на почту, а я пишу акт.

Спать хочется до боли. Я изо всех сил таращу глаза и медленно ползаю пером по бумаге, напрочь забывая начала фраз. Но про ПМП я помню и, согласно директиве, все валю на него: если бы наш главный конструктор прочитал этот документ, его бы хватил удар. В полусне на меня

снизошло вдохновение, и я предал ни в чем не повинный агрегат зловещей анафеме.

— Пэ-эм-пе, — угрюмый мужчина в выцветшей рубашке разбирает мои довольно игривые строчки. — Шифр, что ли?

— Шифр. — Я мужественно проглатываю зевок. — Где мой начальник?

Второй угрюмый ведет меня по спящей деревне. Ноги заплетаются, я с наслаждением рухнул бы сейчас в крапиву.

На почте за украшенным чернильными пятнами столом клюет носом девица в платке поверх накрученных бигуди. А у телефона мается Лихоман — кричит, надувая жилы, приседает, раскачивается и чуть ли не ныряет под стол:

— Что?.. Не слышу… Ни черта не слышу!.. Я говорю: пэ-эм-пе!.. Планетарка барахлит, черт бы ее побрал!.. Планетарка! Тьфу, господи… Планет…

Ага, значит, во имя спасения бестолкового Юрки Лихоман врет самому главному. Разбудил в два часа ночи и громко врет по телефону:

— Что?.. По складам!.. По складам прошу, не слышу!.. Выезжать? На базу? Понял!.. Понял, говорю!.. Утром буду на базе!..

Он с треском вешает трубку и вытирает платком мокрое лицо.

— Поговорили? — сонно интересуется девица.

— Поговорили, — мрачно кивает Лихоман. — Министру бы в кабинет ваш телефончик…

Я ловлю его озабоченный взгляд и торопливо докладываю, что написал.

— Хорошо. Копию взял? Нет? Ладно, сам возьму. Крой, Генка, к нашим, скажи, чтоб собирались…

И вот я иду обратно по смутно белеющей полевой дороге. Луны нет, но, если присесть, видны темные полосы ячменя и четкие силуэты опор высоковольтной линии. Чуть светлеет горизонт.

Я иду и улыбаюсь, потому что меня всю жизнь звали домой, как только начинало смеркаться. А теперь я шагаю по проселку, и кругом — глухомань, и ночь, и звезды, и прохладная пыль под ногами. Ау, мама! Жизнь вносит известные коррективы в твое воспитание, но мне хорошо. Мне дьявольски хорошо живется, мама!..

3

— Ну, рассказывай, как дела? Как живешь, как устроился? Не жалеешь, что приехал сюда?

Я гляжу в ее шоколадные глаза и молчу, как сундук.

Только улыбаюсь. До того деру рот, что начинает болеть за ушами.

— Почему ты молчишь? Не нравится?

— Нравится…

Я слышу свой голос со стороны: лохматый такой голос, неотутюженный. И вообще я словно вылез из самого себя и сижу поодаль. И вижу удивительную, необыкновенную женщину, а против нее — худого, рукастого долдона в грязной ковбойке без пуговиц. Его кидает то в синеву, то в зарево, язык не ворочается, ногти грязные, дурак дураком, и уши холодные.

А она аккуратна, прекрасна и уверена в себе, как богиня. Тугой свитер без единой морщинки обтягивает грудь. Эта грудь все время то поднимается, то опускается, и я вдруг делаю открытие: они дышат совсем не так, как мы. «Грудь ее вздымалась от волнения…» Теперь я понимаю, что это значит.

— А чего глаза прячешь?

Вот оттого-то и прячу. О, черт возьми, кажется, мне пора жениться…

Главное, что все случается вдруг, без всякой подготовки. В кино как-то по-другому: завязка, развязка, все ясно и логично. А вот в жизни…

Мы прибыли утром: петухи в Бруснятах с перепугу недокукарекали, но Фишка примчался в ту же секунду. Лихоман пошел в дом, а мы за-

нимались машиной. Пока ее установили, пока проверили горючее, из дома повысыпала целая орава конструкторов. Всем страшно некогда, все чего-то требуют, и гвалт кончается тем, что нам предлагается дефектовать гусеницы.

— Добро, — говорит Федор. — Подписывайте наряд на сверхурочные.

Подписывать никто не хочет. Ведущий по ходовой части, румяный, как девушка, Виталий Павлович произносит короткую речь об энтузиазме, и я выволакиваю кувалду. Однако Федор отбирает ее и аккуратно кладет на траву.

— Не спеши, Генка.

— Вы срываете план! — кричит ведущий. — Юлий Борисович, прикажите своим работникам…

— Деньги на бочку, Витенька, — улыбается Лихоман. — И разметаем тебе гусеницы, в лучшем виде.

— Но я же специально приехал…

— У экипажа выходной.

— Сверхурочные, — басит Федор. — Будут сверхурочные — проведем дефектовку, нет — подождем до завтра.

— Но, товарищи, я вас прошу!.. — Виталий Павлович умоляюще прижимает руки к груди. — Ведь

это же так важно, поймите, товарищи! Вездеход ждут в Антарктиде, в пустынях Монголии, на Крайнем Севере. Мы делаем государственное дело, товарищи!..

Он говорит так проникновенно, что мне делается стыдно за ребят. Крохоборы чертовы!..

— Правильно!.. — кричу я. — Не хотят — не надо! Мы с вами, Виталий Павлович, вдвоем…

— Па-ачему машина грязная? — вдруг бешено орет Лихоман. — Слесарь, а ну — тряпку в руки и марш! Выдраить до блеска от кормы до носа. Лично проверю!..

Я съеживаюсь от львиного рыка командора. Хватаю ведро, со всех ног бегу к колодцу.

Когда возвращаюсь, все уже уходят в дом. Только Юрка сверяет записи в журнале с показанием спидометра.

— Нарвался? — ядовито интересуется он.

Я молча скребу машину. Окатываю водой, снова бегу к колодцу, тру, окатываю и опять бегу за водой. Вездеход грязен, как мартовский кот.

— Давай тряпку.

Оглядываюсь: Славка. Притащил два ведра воды, драит борта. Я не выражаю восторга только потому, что это считается у нас дурным тоном: подумаешь, помог! Вот если бы не помог, тогда

следовало пошуметь… Четверть часа мы добросовестно сопим. Потом Славка не выдерживает:

— Ловко ты дурачком прикидываешься.

— Почему?

— Талант, наверно.

— Нет, почему дурачком?

— Потому что здесь не комсомольский субботник.

Я запаздываю с аргументом: приходится делать вид, что не хватило воды. Пока иду к колодцу и обратно, сочиняю.

— Славка, но ведь есть же долг перед обществом? Есть?

— А кого считать обществом? Виталия? Группу ходовой части? Конструкторский отдел? Ну, так этому обществу мы ничего не должны. А если выше берешь, так и наше дело выше поставь. Вот тогда можно и про деньги забыть.

Я смутно улавливаю смысл его речи, хотя понимаю, что он прав. Но есть моральная сторона:

— Нехорошо быть алчным.

— Попугай ты! — кричит Славка. — Вызубрил слова, маменькин сын, а у Федора — семья, дети, мать беспомощная.

Семья?.. Об этом я никогда не думал. Я воспринимаю Федора как товарища, а у моего товарища

никакой семьи быть не может. Но между нами разница почти в двадцать лет. Двадцать!.. Целое поколение.

— Славка, получается, что он — из отцов, а мы — из детей.

— Кто — он?

— Федор.

— А-а… Ну и что?

— А мы на «ты»: Федор, иди жрать.

— Так мы же на работе, Генка. Тут не до этого.

— Я на него еще блох напустил…

— Каких блох?

Славкина тряпка замирает в воздухе, а я готов откусить себе язык. Нет, смеяться над Федором больше нельзя. Никак нельзя!

— Это в переносном смысле. Конфликта, значит, нет.

— Какого конфликта?

— Поколений. Отцы и дети.

Славка подозрительно смотрит на меня:

— Болтун ты, Москвич…

Мы в последний раз окатываем машину и протираем насухо тряпками. Разгибаем затекшие спины и любуемся работой. Славка курит, сидя на перевернутом ведре.

— Знаешь, почему нет конфликта? — вдруг

спрашивает он. — Потому что нет разницы. Соображаешь?

Я не соображаю. Вообще Славкины сентенции — по ту сторону нормального соображения: он мыслит зигзагом.

— Нет между нами разницы ни с какой стороны. И возраст потому тут ни при чем. Нету его у нас, возраста. Вообще нету.

Из дома выходит довольный Федор:

— Порядок, ребята: выходного не будет!..

Продефектовать гусеницу — значит разбить ее на траки, выпрессовать резиновые втулки — сайлентблоки, промыть в гайзоле, протереть и аккуратной стопкой сложить возле Виталия Павловича. Он старательно измерит все сочленения, сверится с технологическими картами и установит износ.

Кувалды летают в руках: вверх — удар, вверх — удар. Через полчаса уже не помнишь, хорошо ли ты позавтракал. Через час — ощущаешь голод. Через два — мечтаешь о могучем обеде. Чтоб мясо — кусищами, а хлеб — ломтями.

А потом все выветривается, даже голод. Полупудовая кувалда уже не просто восемь килограммов — восемнадцать. Двадцать восемь. Восемьдесят. Откуда берутся силы?.. Черт их знает — откуда. От

предков, наверно. Они тоже хорошо вкалывали — и на князей, и на Золотую Орду. Значит, передали и мне кое-что. А то бы опозорился. Упал бы мордой в траву — и обедом не подняли бы…

— Генка, с оттяжкой бей!.. Спишь?

Огрызаться нет сил. Пот заливает глаза. Во рту пересохло. Колени противно дрожат и подгибаются. Господи, хоть бы сломалось что!..

— С оттяжкой, Генка!..

Ну, почему я не студент? Слушал бы лекции, горланил в «Молодежном», провожал бы девчонок до последнего поезда метро. Даже на картошку с удовольствием бы ездил. Первым. Абсолютно добровольно. «Вы студент, конечно?» — «Безусловно. Будущий инженер или кандидат…» Звучит? Звучит. Не то что специалист по кувалде…

— Стоп!

Швыряю кувалду в траву, падаю рядом. Сердце колотится уже где-то в горле: еще минута — и я свободно мог бы его пожевать…

— Гости, — ворчит Степан. — Главного нелегкая принесла.

И хорошо, что принесла. Вовремя…

Против меня разворачивается заводской газик. Лихоман и конструкторская орава идут к нему. Ребята отступают к вездеходу: начальство — это

не для нас.

— Здравствуйте, испытатели!..

Грузная фигура с усилием вытискивается из машины. А с заднего сиденья вдруг выпархивает некто в свитере и брючках:

— Привет, коллеги!..

Лихоман круто поворачивается к нам:

— На махновско-матросском диалекте не разговаривать впредь до особых указаний!..

И вот я сижу против Владлены, гляжу в ее шоколадные глаза и страдаю.

— Почему ты молчишь? Не нравится?

— Нравится…

— Приходи вечером. Поболтаем.

Поболтаем?.. Не тот глагол. В лучше случае могу мычать. Или хрюкать.

И все-таки я жду этого вечера. Жду с ужасом и нетерпением. С отчаянием и надеждой: а вдруг во мне что-то сработает и я стану веселым и остроумным?

Но чем ниже солнце, тем больше страха. Кажется, я уже не хочу этого свидания. Я хочу работать. Выполнять что-нибудь сверхсрочное. Нарочно верчусь на глазах у Лихомана, но никаких заданий не поступает. Наконец меня ловит Федор:

— Пошли в баньку, Генка.

— Какую баньку?

— Нормальную. Славка в деревне организовал. Пошли, пошли.

Я слабо упираюсь, а он подталкивает меня сзади. А я ломаюсь, и что-то вру, и сам никак не могу уяснить, что мне нужно в данный момент. В конце концов вместо первого свидания я оказываюсь в бане. В натуральной сельской баньке с каменкой и полком под самой крышей.

— Поддай, Славка!..

Колючий пар взрывается под потолком. Воздуха нет и в помине. Разинув рот, я корчусь на полке под хлесткими ударами веника.

— Славка, поддай еще!..

Ну, все. Прощай, мама. Жизнь кончилась в этой чертовой баньке, потому что я сейчас умру. Я знаю это совершенно точно, и нет сил бороться. Федор с оттяжкой хлещет меня веником, Славка поддает пару. Они давно вышибли из меня все мысли, чувства и силы, я пресмыкаюсь на горячих досках и медленно дохожу.

— Ну куда, куда ползешь?

— Фе-е-е…

— Славка, поддай!..

Славка поддает такую порцию, что вся банька скрывается в облаке пара. Федор теряет меня, я

куда-то ползу, извиваясь всем телом, и в конце концов падаю вниз, смачно, как жаба, плюхнувшись на дощатый пол.

— Здесь он!.. — радостно кричит Славка. — Вывалился!..

И в ту же секунду сердце мое делает тройное сальто: Славка выплескивает на меня ведро колодезной воды.

— Сла-а… ва-ва-ва…

— Закаляйся! — смеется Славка и, взяв веник, лезет на полок к Федору.

Кажется, прихожу в себя. Выясняется, что сижу я на полу у двери, в щели которой тянет вечерним холодком. Все тело охватывает какая-то удивительно приятная усталость, голова — как у новорожденного, и хочется петь. Бодро вскакиваю и тут же с грохотом лечу под лавку, сшибая ногами ведро.

— Гляди, Федя, он под лавку полез! — хохочет Славка.

— Скользко!.. — весело поясняю я. — Пол как намыленный!

— Поддай, Генка!..

Теперь поддаю я. С маху плещу водой на раскаленные камни, задыхаюсь в пару, что-то кричу, взвизгиваю, завываю. Потолочная пытка кончи-

лась, а в душе зреет совершенно необъяснимый восторг.

— Хорошо, Генка?

— Грандиозно!..

— Баня — сила, — басит Федор. Голой громадой он возвышается на лавке. Курит и философствует: — Организм полезно на режиме погонять, он этого требует. Клетки обновляются.

— Пивка бы, — мечтательно вздыхает Славка.

— Обещанное-то будет? — настораживается Федор.

— Порядок! — Славка смеется и как-то странно смотрит на меня.

Разомлевшие и ласковые, мы выходим из бани. Федор по-братски обнимает меня за плечи, что-то гудит в уши и направляется в сторону кособокого, замшелого домика.

— Куда, Федя? Нам же налево.

— Точно! — хохочет Славка. — Ну, Генка, ты даешь!..

На крыльце стоит незнакомая женщина. Из-за большого количества упругих окружностей она кажется трехъярусной, как театр.

— С легким паром! — нараспев говорит она. — Закупались вы, соколики. Мы уже все жданочки поели.

Тут мне ловко дают под зад. Я метеором пролетаю мимо трехъярусной, минуя сени и вваливаюсь в комнату:

— Здрасте.

В комнате накрытый к ужину стол. За столом еще две женщины.

— Здрасте… — удивленно тянет одна из них.

Поспешно поднимаю сбитую при появлении табуретку и пытаюсь ретироваться. Но в дверях Федор. Ловит меня за плечи и раскланивается:

— Вот и мы! Это Генка-Москвич, любимец экипажа.

— Милости просим! — певуче отзывается третья женщина. — Славочка, со мной сядешь, со мной. Я тебе местечко нагрела.

Через минуту я уже сижу за столом, зажатый между Федором и второй женщиной. Передо мной тарелка с горой закусок и стакан.

— Мне не надо, Славка! Я же не…

И я все-таки пью. Пью, ничего не соображая. Ем, снова пью, что-то принимаюсь рассказывать. Славка хохочет, а соседка заботливо, совсем как мама, кормит меня с ложечки.

Потом мы поем песни. Я не знаю слов, но добросовестно ору, когда надо подпевать. Славка вылезает плясать и пляшет очень ловко. За ним

пляшут Федор и первая женщина, а я сижу в углу и доказываю своей соседке, какие у нас в экипаже замечательные люди. Она смотрит в упор и кивает, соглашаясь с каждым словом. Потом вдруг все начинает плыть…

— Федя, где выход?

— Укачался! — смеется Славка.

Придерживая за плечи, Федор ведет меня во двор, усаживает на бревна:

— Что, Генка, худо?

— Худо, — соглашаюсь я.

— Может, стравишь?

Это предложено просто, как пирамидон. Но я отказываюсь:

— Водички бы…

— Сейчас. Только не упади.

Он уходит в дом. Хлопает дверь, и я ощущаю великую тягость. Встаю и, заметно пошатываясь, иду напрямик. Натыкаюсь на ограду, перелезаю, ковыляю по грядкам, утопая в ботве. Потом меня энергично выворачивает, и горизонт сразу светлеет. Я выбираюсь из огорода, попадаю в чужой двор и нахожу целый ворох восхитительно грязной соломы.

Просыпаюсь внезапно. Надо мной густое вечернее небо. Где-то брешет собака, где-то пиликает

гармонь и въедливый женский голос выводит частушку.

Сажусь и долго соображаю, что к чему, с трудом соединяя разбежавшиеся под черепом обрывки: напился, забрел в чужой двор и уснул. Стыд разливается во мне, как чернила. Брожу задами, отбиваясь от собак. Интуитивно выбираюсь к реке. Радостно лезу в нее, окунаюсь по шею, плыву и вылезаю на незнакомый берег. Оглядываюсь, трясясь от озноба, и никак не могу сообразить, где база.

— Генка-а!..

Далекий призыв с того берега. По тенорку узнаю Славку.

— Москвич!..

Это Федор. Значит, ищут, и, судя по охрипшим голосам, ищут давно. Имя мое в различных словосочетаниях еще некоторое время сотрясает вечернюю тишину, а я сворачиваю вдоль берега в надежде выйти на траверз нашей базы.

Слева тускло поблескивает река, и я продираюсь сквозь кусты напролом. Выхожу на откос и долго иду, утопая в песке. Скоро должны показаться огни базы.

И вдруг слышу голоса. Один бубнит толсто и недовольно, другой тонко и настойчиво насе-

дает.

— …заладили: пэ-эм-пе да пэ-эм-пе! Как может инженер да еще испытатель решать априори судьбу трехлетней работы? — рокочет толстый голос.

— Слушайте, давайте начистоту, без кастовых заблуждений, — резко говорит тонкий. — Мы одни, и баки заливать некому. Сочинили в кабинете, хватанули премию, а теперь бьетесь за дерьмовую конструкцию с волчьим остервенением. Я гоняю машину двадцать тысяч километров, и всю дорогу из планетарок хлещет масло, как из рождественского гуся. Шестерни гремят, фиксаторы ни к черту не годятся, и только мои асы еще кое-как умудряются управлять… У вас, кажется, клюет.

— Черта тут клюнет, — вздыхает толстый. — Загнали меня в болото, где отродясь ничего не водилось.

— А червяка, между прочим, сожрали.

— Да?.. Темно, как в печке. Я сматываю удочки, Юлий Борисович.

— Что вы, Георгий Адамыч. Клев только начинается.

Теперь я соображаю, кто сидит под кустами: главный конструктор, которого ребята нелегаль-

но называют Жорой, и наш Лихоман. Я шагаю, но, услышав главного, вовремя останавливаюсь, а затем и сажусь.

— Слушайте, вы меня специально сюда заманили?

— Да. И не отпущу, пока не поговорим по душам.

— Ну-ну, — недовольно ворчит главный. — Между прочим, ваши методы, Юлий Борисыч, мягко выражаясь, неэтичны. Акт, столь вдохновенно сочиненный слесарем, оказался липой. Да, липой! Я говорил с техником Березиным, и он сознался, что сам налетел на столб.

— Березина уволю к чертовой матери.

— За то, что говорит правду?

— За то, что глуп и путает причину со следствием. Вездеходом управлять сложно, а в условиях бездорожья и опасно… Клюет!..

— Разве?

— Клюет, тяните!.. Эх вы, рыбак. Сажайте нового червя: сожрали.

— Ни черта не вижу.

— Привыкнете. Я вам заявляю с полной ответственностью: пэ-эм-пе надо менять коренным образом. Будете упираться — подам докладную. Откажете — напишу в министерство.

— Пугаете?

— Предупреждаю. Я испытатель, Георгий Адамыч. Вы отвечаете за конструкцию, я — за эксплуатацию… На червяка, между прочим, полагается плевать.

— Мистика.

— Примета. Дадите задание переделать планетарку?

— Я правильно плюнул?

— Сойдет. Да или нет?

— Ох и настырный же вы мужик, Юлий Борисыч, — вздыхает главный. — Сказать «нет» в нашем деле труднее, чем сказать «да»…

— Генка!!! — со страшной силой гремит над моей головой.

Вскакиваю и сталкиваюсь с Федором и Славкой.

— Ну я. Чего кричишь.

Федор с размаху отпускает мне увесистую затрещину. Искры сыплются из глаз.

— Кто тут? — сердито спрашивает Лихоман. — Что за крик?

— Мы, Борисыч, — хмуро говорит Федор.

— Нашли время и место. Марш спать: в пять утра выезд.

Спотыкаясь, шагаем через кочковатое болото к

базе. Федор — впереди, не оглядываясь.

— Задал ты нам шороху! — тихо смеется Славка. — Всю деревню облазили, Федор в речку нырял…

Я обиженно молчу, придерживая рукой распухшее горячее ухо.

Полоса невезений оказывается куда шире, чем я мог себе представить. В пять утра, буквально за минуту до выезда, нарываюсь на восставшего от сна главного:

— Слух прошел, что вы кончили школу с золотой медалью.

— С серебряной.

— Надеюсь, четверка была не по русскому письменному?

— По пению, Георгий Адамыч.

Главный добродушно смеется, а я злюсь: ребята ждут. К нам идет Лихоман.

— Юлий Борисыч, я забираю этот молодой кадр, — говорит главный.

— Останешься, — приказывает Лихоман. — Поможешь с отчетом.

— Валить все на пэ-эм-пе? — как можно наивнее спрашиваю я.

— Писать правду, — режет Лихоман.

Вездеход уходит без меня.

Целый день торчу в душной комнате, выписывая из журнала испытаний дефекты. От обиды на главного работаю столь добросовестно, что к обеду составляю список на сто восемьдесят три дефекта. Все как полагается: со ссылками на километраж и время. Отдаю главному и с чувством исполненного долга иду на кухню, где орудует тетя Настя. Мы в приятельских отношениях, и моя порция соответствует широте ее души. Мы калякаем о всяческих житейских невзгодах, и не успеваю я управиться с первым, как в кухню влетает разъяренный главный:

— Слушайте, что это такое?..

Мой труд жирно шлепается на стол.

— Список дефектов…

— Список? Это смертный приговор машине, а не список! Сто восемьдесят три дефекта, полюбуйтесь!.. Сколько у вас было по арифметике?

— Пять.

— Вот на пять вы все и разделите. Сколько получится?

— Тридцать шесть и шесть десятых…

— Шесть десятых оставьте себе, а список извольте сократить до тридцати шести пунктов. И без вольностей, молодой человек!

Он поворачивается и идет к дверям.

— Ничего сокращать не буду.

Я это сказал или не я? Сказать-то сказал, но перепугался до потери аппетита. Главный грузно топает ко мне: брови сомкнуты, как белогвардейцы в психической атаке. Я встаю с застрявшим в горле куском:

— Что вы сказали?

Молчу. Проклятый кусок щекочет горло.

— Мне нужен список на тридцать шесть дефектов. Ясно? Тридцать шесть. Предел.

Он опять топает к дверям, а я, потея от страха, повторяю как попугай:

— Ничего сокращать не буду…

Главный всем телом разворачивается ко мне и начинает наливаться кровью. Словно надувает большой красный шар.

— Смешки? Юмор? «Ну, заяц, погоди!»? Здесь работа, молодой человек! Правительственное задание! Отчет идет в министерство. Министерство, соображаете? Через час чтобы список был у меня!..

Он поворачивается к дверям, многократно переступая ногами.

— Ничего…

— Что? — гремит он.

— Ничего, ничего! — поспешно кричу я. — Ни-

чего, говорю, не поделаешь! Сто восемьдесят три — это сто восемьдесят три, а если разделить на пять, то тридцать шесть и шесть десятых. Нормальная температура…

Черт меня вынес с этой нормальной температурой. Главный вскипел, как молоко:

— Шуточки шутите? Мальчишка! Пойдете в цех, к станку! Вам не место на ответственной работе!..

Он кричит что-то еще, с криком убегает, и последнее, что мы слышим, носит уже характер обобщения:

— Распустили! Избаловали!

— Ох, напрасно ты, напрасно, — вздыхает тетя Настя. — Толстого нельзя сердить: кондрашка хватит. Да и незачем: толстые — они добрые.

— И Чингисхан тоже, да? — с обидой спрашиваю я и, недообедав, иду на улицу.

Пес тычется в колени и машет хвостом. Я чешу его за ухом, он млеет от восторга, а я отсчитываю время ударами собственного сердца. Через час список из тридцати шести дефектов должен лежать у главного. Должен… А что должен делать я? Стоять на своем или исполнить приказ?

Сам я придумать ничего не могу. Взвешиваю так и этак, делю на пять, умножаю на два, вконец

запутываюсь и решаю все рассказать Владлене.

Владлене выделили крохотную каморку с окном, выходящим в поле. Долго прислушиваюсь: за дверью тишина.

— Кто там?

Боком вхожу в комнату. Владлена стоит у окна, скрестив руки, и взгляд у нее какой-то загнанный. Вместо отчетов на столе одеяло и утюг.

— Я на минутку, Владлена Ивановна.

— Я не работаю.

Голос у нее какой-то дистиллированный. Но я слишком озабочен собственными неприятностями и выпаливаю их с ходу.

— Делай, что говорят.

— Ага.

Вроде все стало на свои места. Не очень, правда, радостно сдавать позиции, но с мостика виднее. Благодарю, пячусь к двери.

— Подожди, Гена.

Застреваю. Владлена долго хмурится, покусывая губы:

— Ты не съездишь на станцию?

— Зачем?

— Надо встретить представителя шинного завода.

— А как я его узнаю?

— Седьмой вагон. Поезд Москва — Владивосток.

Странно: внутренне я ощетиниваюсь от этой просьбы.

Вздыхаю, смотрю в пол. А глаза у нее тревожные, умоляющие.

— Сделаешь, Гена?

— А ехать на чем?

— На газике, я договорюсь. Идем.

Увидев меня, Георгий Адамыч начинает сопеть. Но Владлена тут же укрощает его:

— Он все осознал, Георгий Адамыч. И поедет на станцию встречать Колычева.

— А почему он, а не вы встречаете Колычева?

— Я неважно себя чувствую.

— Да? Ну, дело ваше, пусть список сначала составит.

— Составлю, — покорно соглашаюсь я. — Тридцать шесть пунктов.

— Тридцать пять! — вдруг торжествующе кричит он. — Тридцать пять, я передумал!

Вечером еду на станцию. Сижу на командирском месте, и это несколько примиряет меня с жизнью.

— Кого встречаем-то? — интересуется шофер. — Андрей Сергеича, что ли?

— Колычева.

— Во-во. Его Владлена обычно встречает. Чирикают там, сзади.

— Чирикают?

— По резиновому делу. Катки, сайлентблоки. Ничего мужик, видный. Издалека узнаешь.

Узнаю действительно издалека: рост баскетбольный. Вертит головой мимо меня.

— Товарищ Колычев?

— Я. — Взгляд у него как у мороженого судака. — А где Владлена?

— Ивановна? — глупо спрашиваю я.

— Естественно.

И вдруг я прозреваю. В упор смотрю на него и вижу купе вагона, лейтенанта в коридоре и слезы Владлены.

— Вы из Ярославля?

— Из Ярославля… — Он несколько озадачен моим агрессивным тоном. Ждет, что последует дальше.

— Идемте, — говорю я с интонацией постового. Иду впереди, не оглядываясь. Распахиваю дверцу, откидываю сиденье, жестом приглашаю в машину. Он не торопится: шумно здоровается с шофером, угощает его папиросами, болтает о погоде. Наконец пробирается назад. Сажусь рядом с

водителем, независимо хлопаю дверцей.

— Поехали.

Едем молча. Колычев пытается завязать разговор, но с шофером беседовать трудно, а я покрепче стискиваю зубы.

Проселочная дорога лениво вьется среди хлебов, ныряет в березняки. За машиной шлейфом тянется пыль, и я думаю о ребятах. Темнеет — значит, организовали привал, расстелили брезент и устало ждут, когда сварится картошка. Славка, как всегда, что-нибудь травит насчет неандертальцев, Федор пилит свой мундштук, но слушает с интересом, а Степан все опровергает. И командор вставляет ехидные замечания…

Водитель раскатисто сигналит: впереди одинокая фигура. Пестрая косынка, чемодан в руке, босоножки заброшены за плечо. Голые ноги мягко топают по пыли. Машина сигналит, девушка сходит на обочину, и я что есть силы кричу:

— Стой!..

Газик тормозит. На ходу распахиваю дверцу, прыгаю.

— Девушка! Идите сюда! Идите, не бойтесь!

Не идет. Смотрит настороженно. Бегу к ней.

— Опять на деревню к дедушке? — И отбираю у нее чемодан. — Нам, кажется, по пути?

Мы идем к машине, и тут я жалею, что так необдуманно уселся на командирское место. Но не пересаживать же Колычева?.. Девушка пробирается назад, чемодан ее я беру на колени:

— Поехали!..

Машина трогается, и Колычев сразу начинает чирикать:

— Издалека едете?

— Да.

— К родственникам в гости?

— Да.

— А как вас зовут?

— Аня.

— Анечка! Прекрасное имя…

Я не выдерживаю. Кое-как разворачиваюсь на сиденье, чтобы оказаться к ним лицом, и переключаю разговор на себя:

— А знаете, что с нами было в тот вечер? Мы в высоковольтный столб врезались. Искры, грохот — ужас что творилось!..

— У нас неделю света не было.

— Вот-вот, из-за нас…

Утрись, долговязый товарищ Колычев!..

Удивительно все-таки у девчонок уменье моментально осваиваться в новой обстановке! Ведь тихоней прикидывалась, а не проехали мы и

десяти километров, и уже трещит как сорока, и смеется, и швыряется своими глазищами, словно режется в пинг-понг со мной и Колычевым одновременно. А я бы на ее месте молчал всю дорогу как удавленник…

У развилки Аня просит остановить. Я вылезаю первым:

— Счастливо! — И очень эффектно хлопаю дверцей.

Газик отъезжает. Аня хмурится.

— Зачем это?

Но я вижу, что она довольна. Просто ее девичье естество диктует ей алогичные слова и логичные поступки. Молча подхватываю чемодан на плечо. Аня сердито фыркает и, вскинув голову, шагает впереди. Мы сворачиваем на тропинку. Уже темно. Босые ноги звонко топают по твердой земле.

Сейчас бы самое время заговорить. Рассказать что-нибудь смешное, захватывающее или умное. Мучительно ворочаю в голове чугунные болванки мыслей, потею, как шахтер, но ничего путного не подворачивается. Так, какая-то чепуха, вроде того, что сайлентблоки больше изнашиваются с внешней стороны.

Господи, что со мной происходит?..

— Знаешь, мы в столб врезались, — вдруг уныло

начинаю я. — Искры, знаешь, треск…

Язык цепляется за каждый зуб в отдельности. С ужасом вспоминаю, что один раз об этом уже рассказывал, и не могу остановиться. Несет.

— А у нас свет погас, — насмешливо говорит она. — Ты что, на экзаменах провалился?

— Нет…

— А может, ты тунеядец?

— Я слесарь-испытатель.

— А почему ты слесарь здесь, а не в Москве? Может быть, ты сирота?

— Ну, почему сирота? Просто захотел так, и все.

— Кто захотел?

— Я.

— Ты?.. — Она недоверчиво хмыкает. — И чего же ты захотел? Слесарем стать? Мечта всей жизни?

Молчу. Ну, как тут объяснишь? И почему это вообще надо кому-то объяснять? Почему если ты студент, то это само собой разумеется, а если слесарь, то изволь объяснить, как это случилось?

— Наверно, ты двоечник, — решает она наконец, и дальнейшие расспросы отпадают.

Опять идем молча, но теперь я уже не хочу ее развлекать. Я хочу ей ответить. Ответить не на

конкретно поставленные вопросы, а на тот, невысказанный, который чувствовался все время.

— Ну, а ты кем хочешь стать?

— Я?.. — Она думает, но, по-моему, не над ответом, а над тем, стоит ли вообще отвечать. — Археологом.

— Это профессия. — Я нагоняю ее. — А я спрашиваю: кем?

— Я тебе сказала.

— А я не о том!.. — Я почти наступаю ей на пятки. — Если бы ты сказала, что хочешь найти библиотеку Ивана Грозного, я бы понял. Если бы ты мечтала расшифровать письменность этрусков или открыть Атлантиду, я бы тоже понял. А ты просто хочешь получить специальность, вот и все.

Она вдруг останавливается. Я чуть не налетаю на нее и снимаю чемодан с плеча.

— Ну, а ты кем хочешь быть? — наконец спрашивает она. — Слесарем? Испытателем? Это тоже только профессии.

— Я?.. — У меня перехватывает дыхание. — Я хочу, чтобы со мной пошли в разведку.

— Что-о?.. — с невероятным презрением тянет она. — Какая разведка? Болтун.

И опять гордо топает вперед. А я иду сзади и

улыбаюсь. Мне кажется, что я нашел что-то звонкое и сверкающее, как горный хрусталь.

Тропинка выводит к речке. Аня останавливается:

— Снимай кеды и иди за мной.

Разуваюсь, вешаю связанные шнурками кеды на шею, подхватываю чемодан. Аня идет впереди, подобрав платье, и я все время смотрю на ее ноги. Понимаю, что глупо, но смотрю.

Джинсы намокают до колен, а конца этому броду не видно. Аня еще выше подбирает платье и вдруг останавливается:

— Иди вперед.

— Куда?

— На тот берег.

— А где он, тот берег?

— Ну, не дури! — строго говорит она. — Ты же разведчик? Вот и разведай. Шагай, шагай.

Шагаю, и то ли от холодной воды, то ли оттого, что не вижу больше, как она подбирает платье, а только понимаю, что не все объяснил.

— Ты умеешь печь хлеб?

— Хлеб? — Вопрос ошарашивает, и Аня не может сразу сориентироваться. — Какой еще хлеб?

— Черный, белый, орловский — неважно, какой. Умеешь?

— Хочешь предложить мне работу на ваших испытаниях?

— Хочу узнать, что мы можем, кроме сдачи экзаменов, интеллигентного трепа ни о чем и прыганья под музыку. И выясняю: ничего. Если нас забросить на необитаемый остров, мы либо элементарно помрем с голодухи, либо снова превратимся в обезьян. Ты не умеешь печь хлеб, а я не знаю, с какой стороны запрягается лошадь, — это примеры, не понимай буквально. Просто мы не умеем трудиться без примеров, планов, приказов, указаний. Сами трудиться, понимаешь? Мы ненадежные люди, с нами не то что в путешествие — с нами в турпоход ходить опасно.

— С тобой наверняка, — обиженно говорит она. — Ну, куда ты в осоку лезешь?

Кое-как выбираемся на крутой берег. Обстоятельно шнурую кеды и внутренне торжествую, поскольку она молчит. Значит, я что-то все-таки доказал: зацепило. Подхватываю чемодан:

— Пошли?

Мимо громоздких сараев выходим на дорогу. На обочине стоит трактор. Две фигуры при свете переноски копаются в моторе. Мы подходим, и они еще издали освещают нас переноской:

— Никак, Анечка?

— Привет, — говорит она.

А я останавливаюсь: на меня в упор глядят маленькие глазки. Медленно двигается тяжелая, как у Щелкунчика, челюсть, и луч переноски обшаривает мое лицо.

— Знакомый, кажется?

Сердце мое сжимается, словно из него выпустили воздух, и жалким комочком летит вниз.

— Подержи-ка, Костя, переносочку.

Он отдает переноску, медленно сжимает кулак, и у меня мгновенно начинает чесаться челюсть. Зудит где-то внутри, точно предчувствуя, куда мне влепят. Сейчас влепят. Сию секунду…

— Ты что это кулачищи стиснул? — вдруг пронзительно кричит Аня и, шагнув, толкает парня в грудь. — А ну, отойди! Отойди, а то как дам сейчас!..

— Ну, чего, чего ты? — бормочет парень и пятится от рассвирепевшей Ани.

— Ладно, Леха, оставь, — басит второй, с переноской. — Мы его в другой раз встретим.

Они расступаются, и мы идем дальше. Молча проходим по тихой, уже уснувшей деревне и останавливаемся возле нового, в три окна дома.

— Вот здесь я и живу, — тихо говорит Аня.

Снимаю с плеча чемодан. Стоим, смотрим друг

на друга.

— Спасибо тебе, — наконец говорит она.

И протягивает руку. Я держу ее за руку и опять молчу. Она мягко вытаскивает ладошку.

— Иди домой. Ну, иди же.

— Сейчас.

Я задерживаю дыхание, как перед прыжком, и беру ее за руку. Я держу ее руку двумя руками, и она не вырывает ее. Потом вдруг делает шаг вперед, бодает меня головой и шепчет:

— Ну, иди же, иди. Завтра.

— Где?

Она выдергивает руку.

— Там, где подглядывал.

— Я не подглядывал, Аня!..

— Ладно уж. — Она берет чемодан, идет к крыльцу. — Гена…

Я бросаюсь к ней.

— Той дорогой не ходи. Изобьют. Пройди от магазина вниз. Там есть мостик. Ну, до завтра?

— До завтра.

— Иди. Иди, стучу. — И быстро, словно боясь передумать, стучит в окно.

Я отступаю в тень. Звякает крючок, дверь распахивается, Аня на секунду задерживается на пороге, оглядывается, поднимает руку. И дверь за

нею захлопывается.

А что же будет завтра?

Честно говоря, я ни разу не целовался с девчонками. То есть, конечно, целовался, но не так. Дважды был на каких-то дурацких вечеринках, где гасили свет, но мне это не понравилось. Когда зажигают свет, все сидят красные и прячут глаза, и у тебя ощущение, что ты спер в трамвае полтинник и все об этом знают. Ну, а завтра все будет по-другому.

Все-таки здорово, что я сказал ей про разведку. Иногда я бываю умным, хотя об этой разведке и не думал. Просто сказалось как-то само собой, словно лежало внутри и вдруг вылезло, как шампиньон. И если разобраться, это-то и хорошо, что не думал, потому что такие вещи нельзя сочинять заранее. Они должны рождаться сами, как кристалл в насыщенном растворе. Это ведь не треп, это…

И тут я останавливаюсь как раз возле магазина, за который мне сворачивать к мостику. Останавливаюсь, потому что вдруг чувствую, что иду сейчас совсем не по той тропе. Она удобная и проторенная, и мостик есть, и морду здесь не набьют, и к базе, пожалуй, поближе, и тем не менее я не хочу по ней идти. Понимаю, что глупо,

что все равно никого нет, что даже не расскажу никому, и все-таки не могу поступить по-другому. У меня такое чувство, будто сделаю шаг — и эта тропа станет моей на всю жизнь, и тогда то, что я говорил про разведку, — голая брехня. Я поворачиваюсь и со всех ног пускаюсь назад.

Проношусь по деревне, вылетаю за околицу и вижу трактор, огонек переноски под капотом и две фигуры. Останавливаюсь, чтобы передохнуть, а потом начинаю красться, как глупая кошка к индюку. К счастью, мне вовремя делается стыдно, я вызывающе кашляю и топаю напрямик к трактору. Щелкунчик с приятелем оглядываются, освещают меня переноской и замирают в крайней степени обалдения.

А у меня опять начинает чесаться челюсть. С трудом подавляю желание рвануть в темноту и неожиданно противным голосом спрашиваю:

— Нет ли у вас папиросочки?

Идиот некурящий, на кой черт тебе эта папиросочка?..

Парни одновременно лезут в карманы, Щелкунчик лично зажигает спичку. Прикуриваю, и меня тут же разбирает неудержимый кашель. Давлюсь, хриплю, глотаю слезы и завываю, как припадочный. Не в силах ничего сказать, делаю

парням ручкой и деловито ухожу в темноту.

— Эй, друг, погоди!..

Кажется, это голос Щелкунчика. Я подпрыгиваю и с места включаю вторую космическую. Мелькают сараи, кусты на берегу, и вода бьет в колени…

— Эй, друг, ты в дизелях разбираешься?..

Поздно: я уже на той стороне. Мокрый по горло и с папиросой в зубах. «Вот дурак-то, — сказала бы моя мама. — Вот дурачок, господи боже ты мой…»

4

На следующий день, вместо того чтобы спешить к Ане, я спешу совсем в другую сторону.

Оказывается, пока я рассуждал о профессиях, наши послали по рации SOS: лопнул вал подвески, именуемый торсионом. Вместе с валом решили отправить и меня, поскольку главный зеленел при упоминании моего имени. Но торсион-то в наличии был, а меня не было, и поездку отложили до утра: утром мне дали взбучку.

Грузовик трясет немилосердно, и торсионный вал, как взбесившийся, мечется по кузову. Я приглядываю за ним и вовремя уношу ноги, прыгая к другому борту. Иного способа уберечься нет, так

как вал весь в смазке и скользкий, как налим.

Мы с ним вдвоем в кузове, а в кабине, кроме шофера, Виталий Павлович и Колычев. Изредка Виталий Павлович на ходу заглядывает в кузов:

— Ну, как тут у вас?

Он беспокоится о торсионе, поскольку это — его хозяйство. А я беспокоюсь о своих ногах, поскольку это — мое хозяйство. И вот скачу по кузову, а торсион скачет за мной, и победа достанется тому, кто перепрыгает. Он оказывается более выносливым, и я приезжаю весь в мыле и с синяком на ноге.

Ребята валяются на брезенте. Сломанный вал уже промыт в газойле и насухо протерт тряпками. Виталий Павлович коршуном вцепляется в него. Лихоман садится рядом, и они начинают спорить, по очереди колупая пальцами свежий излом. Я спрашиваю, где можно умыться, и Славка ведет меня к соседнему болоту.

— Ну, чего интересного?

— Ничего, — говорю я и чувствую, что промолчать не смогу. — Знаешь, я ее опять встретил.

— Кого?

— Ну, ту, помнишь?.. Ну, когда я молоком облился.

Славка начинает хохотать. Хохочет он долго,

но я терпеливо жду, потому что мне хочется похвастаться. Наконец ему надоедает смеяться:

— Ну и что?

— Аней ее зовут. Знаешь, я ее провожал.

— Потискал хоть на прощанье?

Мне сразу делается скучно. Молча вытираюсь, иду к машине.

— Ну, чего молчишь? Не далась?

— Знаешь, Славка, ты извини, но я на эту тему говорить не буду.

— Стесняешься?

— Это что — цель жизни, да?

— А ты как думал? — Славка даже останавливается. — Цветочки-василечки? Вздохи при луне? Это все мура. Мужчина должен себя заявить сразу, потому что он — сторона нападающая, понятно тебе? Не нападешь — не завоюешь, вот и вся любовь.

— Какая же это любовь?

— Ох, и мусору в тебе, Генка! — сокрушенно вздыхает Славка. — И все от девственности.

— Ну, знаешь…

— Точно говорю. Природа требует, а ты ей теорийки подсовываешь. Как голодному — лекцию о гербицидах. А не сбежал бы тогда — и дышал бы сейчас по-другому.

Еще на подходе мы слышим повышенные голоса. Период тихого обмена мнениями кончился, и теперь Лихоман и Виталий Павлович вульгарно орут друг на друга.

— Дефект металла, Юлий! Протри глаза!

— Какой, к черту, дефект! Мал запас прочности…

Раньше я не разбирался в подобных спорах: считал, что каждый выгораживает себя. А потом понял, что к чему: конструктор рассчитывает, а испытатель проверяет. Тут дело не в чести мундира, а в принципах профессионального долга; помню, как радовался Славка, доказав, что крепление радиопередатчика не обеспечивает его сохранности при длительной тряске. А сегодняшняя поломка еще серьезнее: если торсионный вал лопнул из-за брака металла, надо просто поставить новый и гонять вездеход дальше; а если виноват не металл, а сама конструкция? Тогда наша обязанность доказать непригодность торсионов сейчас, на испытаниях, пока машина считается опытной и не пошла серийно в народное хозяйство. Вот потому-то они и орут друг на друга.

— Я категорически отрицаю, Юлий!

— А я утверждаю!

— А я тебе говорю, что во всем виноват металл, понятно? Я тебе цифры дам: посчитай сам, если еще не разучился.

— Ладно, стоп. Здесь испытатели, Витенька, их и спросим. Федор!

Федор калякает с Колычевым. Лениво оборачивается:

— Ну?

— Отчего лопнул торсион?

— Поломка. Вы радиус галтелей увеличьте, Виталий Павлович.

— Ну, простите…

— Точно, — с ленцой продолжает Федор. — Мал радиус перехода, вот и режет.

— Стоп! — командует Лихоман. — Степан!

— Вообще-то… — Степан начинает прикуривать. — Галтельки, конечно, увеличить не помешает.

— Вот, — с торжеством говорит командор. — Учитесь, товарищи конструкторы, у атакующего класса.

— Первый случай, — вдруг влезает в разговор Колычев. — Еще рано судить о конструкции.

— Первый? — Федор поднимается. — Хотите, сейчас второй сделаю?

— Не хвались, водитель, не хвались! — машет

рукой Виталий Павлович.

— Спорим? — Широкая ладонь Федора выдвигается вперед, как совковая лопата. — Укажите, какой желаете: левый или правый.

— Новый! Тот, что привезли! — кричит Колычев. — Я спорю, и мне вас жалко!

Лихоман улыбается.

— Ну, добро, творцы, сейчас получите наглядный урок. Ребята, торсион на место. Быстро!

Мы ставим моего врага в машину. Работаем в десять рук, и конструкторы всячески острят в адрес Федора. Мне очень хочется, чтобы он победил, но Смеляков негромко вздыхает:

— Погорел ты, Федя.

— Считаешь, не сломаю?

— Вообще-то, конечно… Только новый он, между прочим.

Славка не участвует в аврале; ворча, снимает свою рацию:

— Растрясете все, паразиты!

И Юрка Березин чего-то куксится. Сидит под кустом, поджав колени. Постно вздыхает:

— Разрешите мне не ездить, Юлий Борисыч. Живот схватило.

— Ну, а кто поедет? — хмурится Лихоман. — Сачок ты, Березин.

— Я! — кричу. — Я поеду, Юлий Борисыч! Я не хуже Юрки все запишу!..

— Это правильно, — улыбается Виталий Павлович. — Знаешь, Юлий, он главному подал докладную на сто восемьдесят три дефекта…

Желающих присутствовать при поломке почему-то не оказывается, и мы выезжаем вдвоем. Я стою на месте Юрки, на сиденье позади водителя, и прямо передо мной торчит из люка Федорова голова.

Выезжаем на дорогу и едем, пока не кончаются хлеба. Здесь Федор вылезает и начинает детально изучать кюветы. Он долго топает сапогами на одном месте и наконец возвращается:

— Ну, держись покрепче, Москвич.

«Москвич» — значит, не забыл еще, как ему пришлось нырять в речку, разыскивая мой труп…

Вездеход, покачиваясь, перебирается через кювет и идет по скошенному лугу. Федор разворачивает его носом к дороге и что-то кричит, но я записываю показания приборов и не слышу. Машина с ревом срывается с места. Федор беспощадно разгоняет ее, и дорога все ближе: сейчас, вероятно, он сбросит газ, но все происходит совсем не так. Он продолжает гнать, пока нос не

нависает над кюветом, резко убирает обороты и неуловимо накреняет машину.

Я перестаю держаться и подпрыгиваю, чтобы самортизировать удар, но запаздываю, а когда возвращаюсь в исходное положение, меня со страшной силой подбрасывает встречным толчком. Я подлетаю выше борта, почему-то переворачиваюсь вверх тормашками и ныряю в люк впереди Федора. Башкой утыкаюсь в какое-то железо, застреваю, и Федор вместо дороги видит мой обтянутый джинсами зад.

— Говорил, держись крепче, раззява!.. — орет он сверху, а я стою на собственной голове, двигаю ногами и не могу выбраться, потому что нас заклинило в люке насмерть.

— Вылезай!.. — орет Федор. — И не дрыгай ногами: песок в глаза сыплется!..

— Ты вылезай! — глухо кричу я изнутри. — Мне некуда тут!..

— Да я же встать не могу, холера!.. — бушует Федор. — Повис на мне, а еще командует!..

— Ну, некуда тут, Федя, некуда!.. Ты меня вверх тяни! За штаны, Федя!..

— Ты же мне руки прижал, балда!.. Чем я тебя за штаны буду тянуть? Зубами, что ли?

Тут он начинает двигать своими ручищами, и

моя голова вертится вместе с ними, как рулевое колесо.

— Тише!.. — кричу. — Шею сломаешь!..

Федор перестает вертеть мою голову и начинает шевелить ногами. Он пытается поджать их, чтобы можно было встать вместе со мной, но ему мешают мои плечи. Пыхтит, тискает меня своими жердями, но толку из этого не получается. Я не выдерживаю:

— Не могу, Федя…

— А я могу? — огрызается он. — Даже покурить нельзя, и муха, гадина, шею жрет…

— Едем к нашим, Федя. Задохнусь я…

Федор размышляет, вздыхая. Потом говорит:

— Погоди, педали нашарю.

Пять минут пытки, и Федор наконец нащупывает рычаги. К счастью, мотор не заглох, и Федору удается, невероятно свернув мне шею, включить передачу.

— Задницу можешь убрать? — спрашивает он.

— Куда?

— Ну вперед, что ли.

Я складываюсь, как перочинный ножик, свесив ноги на нос машины. В голове шумит от прилива крови.

— Только передачи не переключай.

— Ладно, — ворчит он. — Энтузиаст чертов, связался я с тобой…

Ползем невероятно медленно. Вокруг стоит адский грохот, поскольку я влип ухом в моторную перегородку. Не знаю, сколько времени мы так ехали, но я до гробовой доски буду считать это путешествие самым длинным в своей жизни.

Сознание я каким-то чудом сохраняю, хотя ухо зажарилось, как картошка. Слышу, как вдруг глохнет мотор, настает пауза, а потом идиотский вопрос удивленного Славки:

— Что, Федя, уже сломал?..

— Что сломал, чертова дура?.. — орет Федор. — Псих этот голову сломал, понятно вам?.. Вынимайте его из меня к такой-то матери!..

Но вынимать меня они не торопятся. Может, онемели от страха за мою жизнь? Чтобы успокоить их, я задираю ноги и несколько раз свожу и развожу их.

И тут слышится рев, визг и хрюканье: в жизни не слыхал такого пошлого смеха. Они воют на все лады, Федор кроет их матом, а Колычев кричит:

— Не трогайте! Не трогайте их! Фотоаппарат возьму!..

Позируем под их восторженные вопли. Колычев отщелкивает пленку, и только после этого

они выволакивают меня из люка. Ставят на ноги, но я тут же начинаю валиться, как чурка, и они волокут меня в тень. Лихоман лично исследует мою голову:

— Все нормально, только шишка на темени.

Пока он меня щупал, они из вежливости молчали, но, как только изрек диагноз, все началось сначала. Я не злюсь потому, что понимаю: над Федором не похохочешь. Славка, икая от хохота, приносит воду, я осушаю подряд две кружки и сажусь, хотя голова вроде еще не совсем моя. Федор мрачно курит возле машины; рядом крутится Степан:

— Расскажи, Федя. Ну, не скрывай, Федя…

Федор отсылает его подальше и, швырнув окурок, лезет в машину.

— Куда, Федор? — интересуется командор.

— Куда, куда?.. На кудыкину гору! — ревет Федор.

— А техник на той горе не понадобится?

Федор угрюмо молчит. Я встаю, пытаюсь выпрямить шею, но она не поддается. Иду к машине лбом вперед, как бык на тореро.

— Слазь! — кричит Федор. — К чертовой матери!..

— Нет уж, Федя, — говорю я. — Принципиаль-

но.

— Вторая попытка! — объявляет Виталий Павлович, все веселятся, но Федор заводит мотор, и мы поспешно отъезжаем.

Все повторяется: Федор съезжает на луг, разворачивается и вдруг глушит мотор.

— Вылезай.

— Зачем?

— Вылезай, говорят тебе!..

— Не ори, я на работе.

Он привстает, пытаясь меня схватить, но я предусмотрительно отступаю. Федор разражается длиннейшей руганью.

— Генка, не заводи меня!..

— Не слезу. Бить будешь — все равно не слезу.

Он яростно пялится на меня, но я выдерживаю этот взгляд. И вдруг вижу, что уголки его губ неудержимо ползут в стороны, и тоже начинаю улыбаться. Через секунду мы уже хохочем до изнеможения.

— Ну, номер!.. — стонет Федор. — Ну, ты даешь, Генка!

— Ты тоже хорош: чуть башку мне не открутил...

— Тогда держись!..

Он мог бы этого и не говорить: я вцепился как

клещ. Федор дал полные обороты, раскачал машину перед кюветом, довернул и всей массой ударил правым бортом в землю. Я на сей раз удержался, но все мои печенки-селезенки лихо поменялись местами. Федор вылез, критически осмотрел машину и плюнул:

— Крепкий, холера…

Я судорожно глотаю воздух, мучительно пытаясь вогнать свои внутренности в места, предназначенные им от природы. Федор подозрительно смотрит на меня:

— Может, на травке посидишь?

Отрицательно качаю головой, слова куда-то провалились. Федор улыбается:

— Придется повторить.

Повторяем. Торсион цел, но в животе у меня такая боль, что вот-вот заору.

— Слез бы, Генка.

— Нет… — хриплю я.

— Молоток. Ну, сейчас хана этому торсиону.

Но хана приходит только на четвертом заезде. К этому времени я настолько ошалеваю от рева, ударов и боли, что Федор снимает меня с машины, как ребенка, и укладывает на траву.

— Ты, Генка, не тужься никогда, — наставляет он, покуривая с чувством выполненного

долга. — Держи себя свободно, но в готовности. Соображаешь?

— Соображаю…

— От тужливых пот один, а толку — нуль. Потому, они все время не то напрягают: либо глотку, либо спину, либо еще что. А включать в себе надо только то, что требуется, но до упора. Болит?

— Немного.

— Ну ничего, зато выиграли! — Он торжествующе смеется. — Чудаки! Борисыч, тот сразу смикитил, что я дело говорю, а этих никак не проймешь. Конечно, радиусы галтелек маловаты, это ж ясно. Потому мы с тобой и рвали тут животы, чтоб доказать. Лучше здесь двадцать торсионов сломать, чем хоть один где-нибудь в Антарктиде. Тут ты шишечку на темечке заработал, а там люди свободно головы потерять могут. Это же ходовая часть, не шуточки. Борисыч, он голова…

Вечером у нас банкет с возлияниями за счет проигравших интеллектуалов. Ребята гогочут у костра и чокаются, а я лежу на брезенте. Аппетит мне отшибло надолго, шея не ворочается, и в животе свинцовая тоска.

Хорошо бы сейчас оказаться дома. Принял бы ванну, поужинал и смотрел бы телевизор. Никуда

бы не пошел и никому бы не позвонил, честное слово. Просто сидел бы с мамой рядом, а она бы радовалась втихомолку. Я никогда с ней ничего не смотрел, разве только хоккей, а так все время улепетывал на улицу или читал в своей комнате. Не люблю я глядеть в этот ящик и слушать замечания, что Наташка сыграла бы не хуже, но мама это обожает, и ей, наверно, было бы очень приятно, если бы я торчал рядом…

Славка о девчонках травит. И все смеются. Выпивки сегодня хватает, и они будут мусолить эту тему до глубокой ночи…

— …а она говорит: не обманешь? Обману, говорю. Ну, честно тебе говорю: обману. Лучше уходи. А она что делает? Она расстегивает свои пуговицы-крючочки…

Да, так о доме. В общем-то я неплохой сын, только невнимательный. Теперь я это понимаю, но тогда сама земля для меня вертелась, вот что отвратительно. Подай, прими, купи… А на что купишь-то? Джинсы мои маме зарплату стоили, а у самой одни туфли. Старые туфли: Наташка из-за них в театр с ней идти отказалась. С подругой пошла, а мама плакала. Сволочь я, если вдуматься…

Все-таки я правильно сделал, что снял тогда

с полки свой чемодан. Не в том смысле, что без меня им тут была бы сквозная дыра, как говорит Федор, а в том, что мне эта самая дыра выпала бы наверняка. И не в энтузиазме дело: надо сперва понять, кто ты, для чего ты и зачем ты. Тогда и энтузиазм, я думаю, появится. Вот как у ребят, хоть их и коробит от этого слова…

Лихоман выцедил свою кружку и к водке больше не прикасается. Он мужик с характером, и ребята не настаивают. Виталий Павлович интеллигентно клюнул с донышка, очки у него сразу вспотели, и командор спешно уволок его в сторонку. Сидят там, что-то чертят и ругаются. Но пока вполголоса.

Зато Колычев разошелся. Чокаться с нашими надо через раз, это и ежу ясно, а его понесло…

— В очередь, в очередь!.. — кричит он. — Федя, давай исповедуйся!..

Федор что-то негромко и, кажется, не очень охотно бубнит. Рассказывать он не мастер, но слушатели в таком состоянии, что смеются авансом.

— Нет, Федя, не проник ты в женскую душу!.. — бархатно рокочет Колычев. — А она стоит того. Стоит, друзья!..

Он уже дирижирует. Ребята терпят: они народ снисходительный. Да и, по правде сказать, рас-

сказывать он умеет.

— …а в гостинице — отдельный номерок. Раз зашел: поговорили. Второй: опять поговорили. Ну, думаю, пора. А надо вам, друзья, сказать, что по психологии относится она к четвертому классу: любит опекать, и тут нельзя сразу лезть под юбку — свободно схлопочешь по морде. Таких берут охватом с флангов…

Колычев говорит легко, поигрывая голосом. Он слушает каждое свое слово и упивается, как тетерев.

— …словом, припасаю трогательную историю. Мол, любил, боготворил — ну, в этом духе…

Я поднимаюсь. Не могу объяснить, почему я это делаю, а только встаю. Шея у меня не выпрямляется, и я шагаю к ребятам, уставя лоб. И слушаю во все уши.

— …два часа заливал! Зубами скрипел, по комнате метался, слезу выжимал — все, как полагается. И чувствую, тает. Раньше все о резине говорили, о катках да сайлентблоках, а тут…

Я хочу крикнуть и — не могу. Сип какой-то вместо голоса. И Лихомана, как назло, принесло к костру прикуривать…

— Ну, у меня, естественно, коньячок нашелся: горе залить. Выпили мы за мою нескладную

жизнь — и поцеловались. Для начала целомудренно, как брат с сестрой, а уж на втором заходе я осмелел. Грудь-то у нее, сами знаете, как у Джины Лоллобриджиды: ослепнуть можно. И вот, значит, кладу я на эту божественную возвышенность свою лапищу…

Я хватаю его за волосы, разворачиваю к себе лицом и наотмашь бью по щеке. Он падает на Славку, глядит рыбьими глазами, а на щеке — моя пятерня. Точная пятерня: со всеми мозолями. Секунду все молчат, а потом Колычев совсем по-звериному рычит:

— А-а-а!..

Он пытается вскочить, но Славка дергает его за рукав.

— Пусти!.. — хрипит он. — Убью!.. Гад!..

Лихоман встает и, невозмутимо покуривая, идет к Виталию Павловичу. Рядом со мной оказывается Степан. Меня колотит, и он обнимает меня за плечи:

— Давно я, понимаешь, хотел спросить, чего это у меня под ложечкой по утрам холодит? Натощак, знаешь…

— А ну, пусти!.. — рвется Колычев. — Пусти, говорю!..

— Сиди, — тяжело, как булыжник, роняет

Федор. Колычев все-таки вскакивает. Славка бросается ко мне, но Колычев, наткнувшись на Степана, вдруг сворачивает к начальству:

— Это возмутительно! Мальчишка! Он ударил меня!..

— Кто ударил? — спокойно спрашивает Лихоман. — Геннадий? Вам показалось.

— Это что, круговая порука? Вы ответите, Лихоман! Я подам докладную…

— Не забудьте в ней указать, сколько вы сегодня выпили.

— Ну, я этого так не оставлю! Не на того напали! Я еще… А мальчишку этого…

Федор неторопливо, враскачку идет прямо на него, и Колычев замолкает.

— Все понял? — спрашивает Федор. — Ну, молодец. Соображаешь.

— Нет, не все! — вдруг рубит Степан. — Вы, гражданин конструктор, делайте свои замеры, и чтобы завтра к вечеру духу вашего тут не было. Борисыч, это я всерьез: или мы, или он.

— Ультиматум? — смеется Лихоман. — Вот банда у меня, Витенька. Мне бы молоко получать за вредность…

— Мы без дураков, Борисыч, — басит Федор. — Работа работой, но у костра с этой дешевкой

сидеть ты нас не заставишь.

— Ладно, разберемся, — сухо говорит Лихоман. — А сейчас спать, ребята. Завтра до солнышка подниму.

К утру нам привозят новый торсион, мы ставим его и выезжаем. До обеда безропотно гоняем вездеход согласно указаниям молчаливого, как схимник, Колычева. Он терпеливо трясется в кузове, а на остановках долго замеряет нагрев резиновой ошиновки катков. Пишет. Что-то высчитывает, потом лезет в машину, буркнув:

— Грунт — булыжник.

— Давай, Федя, на Сибирский тракт, — приказывает командор.

Сегодня Лихоман не торопится с обедом. Нас давно уже протрясло до полного вакуума, но в ответ на все намеки командор роняет:

— Перебьетесь.

К пяти часам заканчивается наша трясучка. Колычев заносит в блокнот последние цифры, щелкает пижонской шариковой ручкой:

— У меня — все.

— Федя, на станцию. Аллюр — три креста.

С грохотом врываемся в пристанционный поселок, распугивая кур. Федор лихо разворачивается возле приземистого вокзальчика.

— Прошу, — говорит Лихоман Колычеву.

— В каком смысле?

— В непосредственном. Работа закончена, счастливого пути. До базы доберетесь поездом.

Колычев медленно собирается. Ищет свой «Киев», проверяет чемоданчик с приборами. Мне кажется, что он сочиняет речь.

Ребята ведут себя так, будто он не рождался на свет. Степан и Славка идут в привокзальный магазин, Юрка пишет заново в журнале, командор и Виталий Павлович калякают на переднем листе, а Федор с головой ныряет в люк водителя и грохочет там железками. Только мне нечем заняться, и я стараюсь не смотреть на Колычева. Честное слово, мне его жалко. Если бы я влип в такую историю, я бы, наверно, покончил с собой.

Наконец Колычев вылезает из вездехода и подходит к носу, на котором восседает наша научная мысль.

— Ну, спасибо, — сквозь зубы цедит он. — Не забуду гостеприимства, товарищ Лихоман.

Лихоман продолжает невозмутимо болтать с Виталием Павловичем. Колычев, потоптавшись, быстро идет к вокзалу.

— Ну-ка, Федя, посигналь нашим, — говорит командор. — Обедать пора.

Свирепая сирена разрывает сонную тишину безлюдного поселка.

Вот и все, инцидент исчерпан. И все молчат, будто ничего не произошло. А я весь день хожу съежившись, и в душе словно треснуло что-то и — царапает. Сто раз мою руки и не могу отмыть режущее прикосновение потной щеки.

Я жду трудного разговора. Сознательно верчусь на глазах, пристаю с вопросами: Лихоман ровен и невозмутим, как всегда. И когда я с облегчением решаю, что все миновало, он подзывает:

— Объясняйся.

— А что объяснять, Юлий Борисыч? — При разговоре присутствует Виталий Павлович, и мне легче. — Сами все слышали.

— Слышал. Но бить не торопился, как ты мог заметить.

— Хотя следовало, — осторожно вставляет Виталий Павлович.

Золотце ты мое румяное!

— Не ломай педагогику, Виталий, — хмурится командор. — Кулак — это что, единственный аргумент?

— Нет, но… С такими, Юлий Борисыч, лучше кулаком.

— В присутствии ребят, которые пальцем тебя

тронуть не дадут?

— А при чем тут ребята? При чем?.. Вы думаете, я без ребят испугался бы, да?

— Ну и измолотил бы он тебя.

— Ну и пусть!..

— Прав он, Юлий, — улыбается Виталий Павлович.

— Ну ладно, прощаю, — великодушно говорит командор. — Ситуация оправдывает. Но если ты еще раз выкинешь такой фортель — спишу с испытаний. Запомнил?

— Запомнил.

— Иди. Стоп! Вождением будешь заниматься сегодня со мной. Скажи, чтобы готовили машину. Березин не поедет.

Выезжаем втроем. Находим простор, и Лихоман вылезает из машины. Насвистывая, бродит по высохшему болоту и втыкает в кочки ольховые ветки.

— Что это он строит? — интересуется Виталий Павлович.

Лихоман возвращается:

— Можете отдохнуть на грешной земле.

Слезаем. Лихоман занимает место водителя и трогает машину. Не снижая скорости, проходит по болоту, аккуратно объезжая натыканные в

шахматном порядке ветки. Вдали разворачивается и точно так же возвращается к нам.

— Слалом! — улыбается Виталий Павлович. — Почти. Геннадий, давай.

Первая передача, как назло, включается с поросячьим визгом, но я все-таки трогаюсь. С грехом пополам перехожу на вторую, миную ветку, тяну рычаг и никак не могу уловить фиксацию плавного поворота. Дергаю, понимаю, что опоздал, сбрасываю скорость и разворачиваюсь на тормозах, как трактор. Да, красиво не получилось, и до Лихомана мне еще далеко. Медленно проползаю дистанцию, ломаю три ветки и возвращаюсь.

— Не так уж плохо, — великодушно говорит Лихоман. — Только почему на тормозах разворачивался?

— Фиксатор никак не поймаешь, Юлий Борисыч.

— Ага! Ну, Витенька, с богом…

У Виталия Павловича получается то же, что и у меня: ползет с черепашьей скоростью, дергает машину и ломает ветки. Вылезает смущенный:

— Черт знает что. Фиксация плавает, пэ-эм-пе практически пользоваться нельзя.

— Вот! — с торжеством говорит Лихоман. — Уразумел, конструктор? Так поддержи меня в

святом бою с Жорой.

Они усаживаются обсуждать планетарный механизм поворота, а я до позднего вечера гоняю машину по болоту. Под конец у меня начинает что-то получаться, но командор приказывает сматывать удочки.

— Я поведу, Юлий Борисыч! Я!..

— Ну, давай.

Начальство заваливается на передний лист, а я веду машину к лагерю. Настоящую машину по настоящему шоссе, мама!..

5

«Дорогой Геночка!

У нас огромная радость! Наташеньку приняли в Молодежный театр. Это такое счастье, такая удача, что я заплакала. Правда, Наташенька теперь каждый вечер там, и я осталась одна, но для нее это – широкая дорога на сцену».

Ананьич сидит напротив и терпеливо ждет, когда я кончу читать. Маленькие глазки его ласково туманятся, и легкое амбре витает над нами, как дух, отделившийся от бренной оболочки Ананьича. То ли он проспиртовался до предела

дней своих, то ли уже успел где-то перехватить.

> «…На днях встретила Сережу и Валерия. Они оба учатся: Сережа – в Бауманском, а Валера – на биофаке педагогического…»

Вот номер: Валерка и биофак. За всю жизнь этот Валерка не пропустил ни одной кошки, чтобы не шмякнуть в нее камнем, а теперь будет учить детей любить природу.

> «…Боже мой, мне все время кажется, что ты калечишь свою жизнь! Подумай, ведь ты был таким уравновешенным мальчиком. У тебя, наверное, тоже есть какие-то способности, и не развивать их – просто преступление…»

Развиваю, мама, не волнуйся. Вожу машину и «пальцы» в гусеницы загоняю со второго удара, не хуже Славки.

> «…Учиться все равно придется, но не забудь, что осенью тебя призовут в армию. Я понимаю, что это важно и нужно, но чем ты восполнишь такой пробел в будущем? Потерять два года и остаться

без образования, без специальности…»

Ну почему же без специальности? Все уже решено: я иду в танковые войска. Два года практики в вождении — это не шутка. Сам Лихоман обещал, что возьмет меня после этого в испытатели.

«…Как ты питаешься? Не похудел ли? Старайся пить молоко…»

Молоко у нас, мама, все больше от бешеной коровки, но я его не пью. В этом смысле ты можешь быть абсолютно спокойна.

«…Как у тебя со стиркой? Неаккуратный человек вызывает в людях антипатию, помни об этом. И не ходи в неглаженых брюках…»

Вообще без брюк скоро буду ходить. Джинсами можно ловить рыбу, а комбинезонов почему-то не дают. Может, у Ананьича спросить?

«…Следи за ногтями, сынок. Работа у тебя грязная, но опускаться нельзя. Мой руки как можно чаще, а чтобы кожа не сохла, втирай на ночь глицерин…»

Вот глицерина мне сильно не хватает. Представляю, как повеселились бы ребята…

> «…И еще, сынок, один очень серьезный вопрос. Я знаю, что ты уже взрослый, живешь на собственный заработок и справедливо гордишься этим. Знаю, что у тебя нашлись прекрасные друзья – ты писал нам о них. Но ты ни слова не пишешь о своих сердечных делах. Я не верю, чтобы у тебя не было привязанностей: возраст требует своего, и я не против, но твое молчание настораживает. Может быть, ты просто не считаешь нужным писать об этом? Будь осторожен, сын: к сожалению, в жизни встречаются плохие женщины…»

Мне бы хоть плохую, мама, а то ведь никакой нет. Появилась было Аня, но ты же знаешь, как мне иногда не везет.

> «…Крепко целуем тебя, сынок. Береги себя. И пиши. Ради бога, пиши!..»

— Ну, что пишут-то? — с любопытством спрашивает Ананьич. — Как в Москве с продуктами?

Больше всего на свете его мучает продовольственный вопрос. Позитивные ответы он выслушивает с откровенным недоверием, но стоит сказать, что в Камышине трудно с арбузами, как глазки Ананьича мгновенно загораются:

— Во-во!.. Нахозяйничали…

Мы только что вернулись на базу для техосмотра. Главный уже укатил, и Лихоман с Виталием Павловичем отправились на почту докладывать ему. Представляю, как они орут там в два голоса.

Ребята пошли мыться, а меня перехватил Ананьич с письмом. Пока я читал, он сидел рядом и нежно дышал спиртом. Я хочу спросить его насчет спецодежды, но не знаю, как к нему обратиться. Он что-то бормочет насчет голода в 1930 году, а я сочиняю обтекаемую фразу. Запутываюсь в витиеватых предложениях и брякаю:

— Ананьич, комбинезоны у нас есть?

— А ты не получал?

— Нет.

— Ну дык найдем. Ну дык не пропили же их.

Мы идем к сарайчику, в котором Ананьич хранит свое барахло. Он продолжает развивать свою теорию, и тут из дома выходит Владлена. А я-то думал, что она уехала с главным!..

— Здравствуйте!.. — кричу я и сияю улыбкой

по привычке.

Она сухо кивает и манит меня пальцем. Я иду к ней, продолжая улыбаться, хотя смутно догадываюсь, что улыбка уже неуместна. Мы обходим дом и останавливаемся на пустыре.

— Рассказывай.

— Что рассказывать, Владлена Ивановна?

— Все!..

Это «все» как удар прорезает воздух. Внутри делается пусто и тоскливо, как осенью в Сокольниках, но я по-прежнему оптимистично улыбаюсь:

— Да вы же все знаете…

— Знаю. И спрячь свою дурацкую улыбочку! Ударить человека старше себя — подло. Ударить, сговорившись с приятелями…

Что она плетет?..

— …подло вдвойне!..

Теперь уже мне не до улыбок, но я улыбаюсь. Как буржуй на карикатурах Бор. Ефимова.

— Сейчас пойдешь и извинишься, Андрей Сергеевич еще не уехал.

— А он перед вами извинился?

Она молча смотрит на меня и начинает краснеть. Краснеет густо, неудержимо и, вероятно, ненавидит себя за это.

— Как ты смеешь!..

Сейчас она или отвесит мне пощечину, или заревет. Но мне не жалко ее. Мне просто противно, если говорить честно.

— Ну, так вот, по классификации вашего Колычева вы относитесь к четвертой категории. Вас нельзя атаковать в лоб, а нужно применять обходные маневры. Жалостливые истории, коньяк…

— Замолчи!..

В злых шоколадных глазах копятся слезы. Она отчаянно сдерживает их: слезы дрожат на ресницах, и я убираю улыбку.

— Я буду молчать. Только вы ему скажите, чтобы он тоже молчал.

Владлена закрывает лицо руками и отворачивается. Плачет она беззвучно, только вздрагивают плечи.

— Что ты понимаешь?.. — тихо говорит она. — Что они понимают?.. Животные. Двуногие животные…

— Я пошел, Владлена Ивановна, — говорю я, потому что мне совсем не хочется выслушивать этот бред.

— Ты извинишься.

— Мне не в чем извиняться.

Она вдруг хватает меня за руки. На щеках у нее

слезы, а глаза — в пол-лица:

— Гена, я прошу, прошу тебя, слышишь? Я очень прошу, Гена.

И опять мне делается тоскливо и как-то все равно. Только немного стыдно за нее — мечту с шоколадными глазами…

— Ладно.

Она жалко улыбается, поспешно вытирает слезы и походя, вскользь чмокает меня в щеку. Я дергаюсь, а она берет меня под руку:

— Ты умница.

Так, под руку, мы шествуем мимо удивленного Ананьича и входим в дом. Я пытаюсь что-то сообразить, сочинить подходящую к этой мерзкой ситуации фразу, но ничего не сочиняется. Пусто.

Входим. Колычев сидит на смятой постели, а на столе среди блокнотов недопитая бутылка вина и два стакана.

Владлена плотно прикрывает дверь. Колычев глядит на меня пустыми глазами, а я вижу эту постель и скомканную нейлоновую рубашку, бутылку и два стакана и молчу.

— В чем дело? — сквозь зубы спрашивает он.

Владлена подталкивает меня. Я оглядываюсь и вижу ее бегающие глаза и заискивающую улыбку.

— Так в чем дело? — еще резче спрашивает Колычев.

— Вы подлец и гадина, — громко говорю я, чувствуя, как бешено колотится сердце.

Он бледнеет как простыня и медленно поднимается. Во мне все напряжено, но я не чувствую страха. Я даже хочу, чтобы он ударил меня, потому что после этого буду бить сам. Бить бутылкой: я уже прикинул, как схвачу ее.

Но бьет не он, а она. Визжит, бьет по спине и выталкивает из комнаты. Я лечу в сени и утыкаюсь в Лихомана.

— Вот это хорошо, — говорит командор. — Вовремя ты вывалился. Найди Березина и выпиши из журнала все наши замечания по управлению вездеходом.

Полдня просидеть с Юркой — это хуже, чем пытка: он нуден и туп.

— Цифры положено писать в середке колонки.

— Кем положено?

— Положено, и все.

Техник, диплом имеет. А Славка ушел с третьего курса: надо было кормить семью. Где же логика, как спрашивалось в одном бородатом анекдоте?..

— Юрка, давай напишем, что пэ-эм-пе надо переделать?

— Ты что?.. — Юрка пугается, долго моргает рыжими ресницами. — Наше дело маленькое.

— Это почему же, интересно, оно маленькое?.. Оно — ого! Не меньше, чем у министра.

Завести Юрку ничего не стоит, но спорить сегодня я не могу. Клякса в душе. Огромная жирная клякса…

* * *

Они уезжают перед обедом. Слышу, как преувеличенно веселым голосом она прощается с ребятами, как Лихоман бубнит что-то насчет управления, и не выхожу. Мне стыдно. За нее…

Весь день пытаюсь разобраться, что произошло, и не могу. Она уехала в слезах из Ярославля — это понятно. Не захотела его встречать — тоже понятно. Он подлец из подлецов, подонок и пижон. «Дешевка», как сказал Федор, и это тоже понятно. Я дал ему по морде — яснее ясного. А она вдруг вступилась. Почему?.. Вот тут-то и начинается нечто такое, чего я никак не могу уразуметь. Любит? Тогда зачем ревела? Не любит? Тогда почему дерется?..

— Ну дык комбинезон-то пойдешь получать?

Ананьич. Ласково подмаргивает детскими глазками и источает спиртовый дух.

Не знаю, какие гиппопотамы шили эти комбинезоны: в каждую штанину можно запихать боксера полусреднего веса. Ананьич советует затянуться потуже ремнем, я расписываюсь в ведомости и иду в столовую, громыхая комбинезоном, как латами.

— Завтра выходной, — объявляет Лихоман. — Резвитесь, соколы.

После обеда ребята выволакивают брезент и укладываются, а мною овладевает какое-то беспокойство, и я куда-то бреду. Если бы меня спросили, куда я направляюсь, я бы, наверно, принялся сочинять, но никто меня не спрашивает, себе врать не имеет смысла, и я иду к реке. Продираюсь сквозь кусты и поднимаюсь на песчаный бугор.

Вот оно, место, с трех сторон огражденное ольшаником. Ничего не белеет на кустах, и никто не танцует на берегу, но я сажусь на песок.

Грустно. Так мне сегодня грустно, что хочется завыть. Даже в горле першит.

Берег пуст и холоден, небо серое, как асфальт, и ветер гоняет рябь по реке.

Интересно, приходила она в тот день, когда мы с Федором ломали торсион?..

Я раздеваюсь и плыву на ту сторону. Вода хо-

лодная и жесткая: совсем забыл, что уже август. Вылезаю и, дрожа, долго хожу по песку, но на нем — только мои следы…

Ну и правильно: я знаю, что никому не нужен. Ни плохим женщинам, ни хорошим девчонкам. Нужен я только маме с Наташкой да, пожалуй, Славке с Федором. И я иду к ним.

Все как полагается: Федор пилит мундштук. Это уже третий по счету: первый он подарил Лихоману, второй потерял. Степан чинит сапог, а Славка вдохновенно травит:

— В Югославии, между прочим, парень без сна двадцать пять лет живет. И ничего, нормально. Женился, детишек завел, а спать так и не выучился. А это значит…

— Врут, поди, — сомневается Степан.

— Ну почему — врут? Официально заявлено. А это значит…

Я подсаживаюсь к Федору. Гляжу, как он пилит.

— Что, Генка, смурной? — спрашивает он. — Живот болит?

— Нет.

— А чего притих?

— Так…

— По дому заскучал?

— Ну что ты!..

— А что? Нормальное дело. Я, например, скучаю.

— Это оттого, Федя, что поздно ты женился, — говорит Степан. — А я со своей двадцать лет прожил. Все знаю насквозь, и открытий не предвидится.

— Что же это за жизнь без открытий, Степа?

— Нормальная жизнь.

— Скучно, — вздыхает Федор. — Нет, брат, я так не могу. Я, знаешь, все ждать чего-то должен, нового чего-то. После армии на завод пошел и — не мог. Каждый день одно: одна деталь, один станок, одна технология, один режим. Сбежал через полгода.

— Куда? — интересуется Славка.

— Поколесил маленько. Лес валил на Печоре. На Каспии рыбачил. Дорогу в Сибири строил. Даже золотишко на Вилюе мыл. Все никак к месту прикипеть не мог: мотало меня, как сорванный буек.

— А на завод обратно все-таки примотало? — спрашивает Степан.

— Случай! — улыбается Федор. — Пофартило нам с корешем на Вилюе, и подались мы этот фарт на шикарную жизнь менять. Ну, сам понимаешь,

Сочи. Рестораны, море, девчонки и денег — вагон. Прокутились — обратно уже в жестком едем. И встречаю я в этом жестком мужика. Настоящего мужика: поговорили мы с ним, и снял я с полки свой чемодан. Так на завод вдвоем и прибыли.

— Борисыча, что ли, встретил? — уточняет Славка. — Да, Борисыч — это мужик.

— Все равно шататься — это не дело, — строго говорит Степан. — Человек на своем месте должен сидеть.

— Да что я, гриб? — обижается вдруг Славка. — Торчи где вылез, да?

— Я почему к Генке пристаю? — улыбается Федор. — Хочу, чтоб он сам понял, на своем он месте или нет. Если на своем, все нормально: включай прямую и — полный газ. А если нет, отрывайся, брат, пока не поздно.

— «Отрывайся»!.. — сердится Степан. — Ишь какие все искатели! Все ищут, шастают по стране и найти ничего не могут. Потому что за рублем шастают, вот и все. И ты за рублем гонялся, Федор, легкой жизни искал. А ее нет на свете, нету!..

— Нет, Степа, я за рублем сроду не гонялся, — говорит Федор. — Рубль никогда меня особо не интересовал, а вот дело… Не работа, понимаешь? Ну, как бы тебе объяснить?.. Работа — это

когда ради денег вкалываешь, а дело — это не то. Это твое, понимаешь? Твое, кровное, где ты себя на месте чувствуешь. Ну вот я, к примеру. Я слесарь, и токарь, и шофер, и тракторист, и лесоруб, и механик — и это все работа. Честно я ее выполнял, не волынил, норму давал и все, что положено, а душа была холодна. Мог бы и успокоиться, наверно: многие с такой вот холодной душой работают. Да не смог. Я дело искал. И вот оказалось, я — испытатель. Здесь мое место. Здесь я по шестнадцать часов буду вкалывать, если нужно, бесплатно буду вкалывать. Потому что это — мое дело.

— Ну ладно, — сдаваясь, ворчит Степан. — Только шастать — это ни к чему, знаешь. Сиди, где сидишь, и доводи до совершенства то, что поручено. Это правильнее.

— Эх, Степан, до чего бы все просто да серенько было, если бы люди как пеньки на одном месте сидели.

— А ты сложного хочешь?

— Я хочу, чтоб всем дело по душе доставалось. Пусть ищут, пусть от папы с мамой драпают — вон как наш Генка. Из таких как раз что-то и выходит…

— Летуны из таких выходят! Летуны да рвачи!

Спорят они до позднего вечера. Я понимаю Степана: он любит порядок, ясность и ламинарное течение жизни. Федор — сторонник турбулентного ее течения, и наши со Славкой симпатии целиком на его стороне…

Утром ребята поднимают невероятный гвалт: кому-то пришла идея пойти на охоту. Все трое остервенело чистят свои ружья, которые до сих пор мирно хранились у Ананьича под замком, спорят насчет тайных троп и травят охотничьи истории. У Степана и Славки — новенькие «ижевки», а у Федора — старенькая, порыжевшая двустволка, но он-то как раз и охотник, а остальные купили свои пищали месяц назад, зато орут больше всех.

У меня ружья нет, но ребята великодушно приглашают меня в качестве собаки. Я отказываюсь, и вакантное место с восторгом занимает Фишка. В связи с этим они не кормят его, а сами съедают по три порции. Я управляюсь раньше них, приношу Фишке контрабандой пяток приличных костей, и он наедается до отвала.

После завтрака все трое отправляются в путь. Все как полагается: пес — впереди, ружья — за спинами. Прут почему-то в самую безлесную сторону, и фигуры их бесконечно долго маячат

на горизонте. Когда они скрываются, я иду к реке. Вода холодная, и Аня, конечно, не придет, но я все-таки перебираюсь на ту сторону и ложусь на песок.

Вообще-то я торчу здесь зря, это ясно. Она уехала в Москву, потому что скоро занятия. Уехала, считая меня подонком, способным подглядывать. Мысль эта не вызывает во мне сомнений, но я продолжаю бревном лежать на песке. Солнце греет во все лопатки, никуда мне не надо торопиться и не торопиться тоже особо некуда. И почему же я не пошел с ребятами?

Кажется, я засыпаю. Ну, не вполне засыпаю, а впадаю в некую прострацию, как крокодил. Лежу, не шевелясь, ни о чем не думаю, ничего не хочу и ничего не ощущаю, кроме солнца. А потом чувствую шаги. Не слышу, а именно чувствую. Поднимаю голову и вижу толстую аборигенку: она идет прямо на меня и несет в руке босоножки.

— Привет! — говорю я и сажусь.

Аборигенка роняет босоножки и начинает визжать. И на визг из кустов выбегает Аня. Решительная и сердитая. Значит, не напрасно я не подался в собаки! Нет, не напрасно!.. Все выясняется: толстуху зовут Ниной. Аня поначалу

дуется, но я ей быстренько все объясняю, и мир восстанавливается.

Настроение у меня что надо, и я рассказываю им, кто такие коммандос и как с ними надо сражаться, где полагается носить пистолет и как берут «языков». Ношусь по песку, падаю, переползаю, и сегодня все получается здорово.

— Врешь ты все, — сонно говорит толстуха. — Сочиняешь.

И сразу делается так нудно, что я элементарно скисаю. Даже начинаю подумывать, не переплыть ли мне на свою сторону…

— Что танцуешь? — интересуется Аня.

Что танцевать! Мои пижоны, с которыми я прошлепал по Москве не одну сотню километров, выучили меня по всем правилам. Но поскольку вы просите показать…

— Во дает!.. — говорит толстуха.

Аня вскакивает и начинает выкрикивать что-то темповое. Мы скачем, пока она не выдыхается.

— Хорошо прыгаешь, — признает она.

— Современный танец есть процесс самовыражения через темиоритм. Скажем, я мечтаю.

У толстухи впервые загораются глаза:

— Покажи!

До обеда учу девчонок танцевать. Аня более

или менее знакома с малым джентльменским набором, но квалификация ее довольно низка. А Нина сроду не танцевала ничего, кроме доисторического фокса.

Кстати, эта самая Нина здорово нам мешает. Я набираюсь смелости и сообщаю это Ане.

— А что я могу поделать? — шепчет она. — Приходи сюда к восьми.

Вот это разговор! Природа опять начинает улыбаться...

— Ты когда уезжаешь?

— Дней через десять, если дедушка поправится.

— А если не поправится?

— Не болтай чепухи!..

Значит, сегодня в восемь! Я прощаюсь с девчонками и по возможности эффектно плыву на свой берег. Кажется, кроль вышел неплохим... Девочки что-то кричат и машут руками. Я салютую им, напяливаю комбинезон и топаю на базу.

На подходе меня встречает Фишка. Вид у него виноватый: хвост поджат. Я пытаюсь выяснить, что случилось, но он только вздыхает и прячет глаза.

Часа через полтора возвращаются охотники. У Степана на лбу шишка величиной с картофели-

ну. Славка заметно хромает и волочит ружье за ремень, потому что у ружья пополам переломана ложа. Подойдя, он первым делом замахивается на Фишку и ругается длинно и заковыристо.

— Счастлив твой бог, Генка, — говорит Федор, улыбаясь.

— Ну, как охота? — интересуется Лихоман.

Славка опять заворачивает матом, швыряет свою бывшую двустволку и идет в сарай.

— Надо бы у него из задницы дробь повыковырять, — вздыхает Степан. — Заражение может быть.

— Ананьич, йод и толстую иглу! — командует Лихоман. — Давай, Федя, излагай существо.

— Ну, поначалу этот идиот Фишка шпарил впереди всю дорогу и лаял, как нанятый. Еле-еле домой его спровадили и тут как раз зайца подняли. — Федор закуривает. — Давай, Степа, продолжай.

— Продолжай… — вздыхает Степан. — Черт этого Славку на мою дорожку вынес. Вижу, в кустах что-то шевелится, ну я и стрельнул. А он вылетает из этих кустов да как звезданет мне прикладом…

— Перестрелять ведь друг друга могли!.. — сердится Виталий Павлович.

Командор смеется. Ананьич приносит тол-

стенную иглу-цыганку и склянку с йодом, и мы с Лихоманом идем в сарай. Славка поначалу кобенится и отсылает нас подальше, но командор урезонивает его, и Славка снимает штаны.

— Паршивая кучность, — объясняет Лихоман. — Всего девять пробоин.

— С меня хватит, — сквозь зубы говорит Славка.

— Ну, тогда терпи.

Я держу наготове йод, а Лихоман беспощадно ковыряется в Славкиных дырках. Славка скрипит зубами и ругается, по белому телу течет кровь. Командор деловито орудует иглой.

— Ох!.. Борисыч, ну прямо до хребта…

— Глубоко сидит. Терпи, Славка.

Наконец экзекуция заканчивается. Командор присыпает раны пенициллином и обильно смазывает йодом. Славка орет, и я, присев, дую на его изрешеченный зад.

— Лежи, — говорит Лихоман. — Авось к утру затянет.

Мы идем обедать. Я отношу Славке его порцию, но у него напрочь пропал аппетит. Степан бежит в магазин, но командор перехватывает его:

— Вы мне трезвые нужны. Соколов приезжает.

Заместителя главного конструктора Соколова

все побаиваются. В отличие от крикливого и отходчивого Жоры зам сух, замкнут и корректен.

— Надо с управлением что-то решать, — продолжает Лихоман. — У меня ощущение, что гоняем мы откровенный брачок, ребята. — Тут он поворачивается ко мне и с ходу обдает ледяной водой: — Ты чтоб шагу за ворота не смел ступить, слышишь? Основной мой козырь.

— Я не могу, — растерянно бормочу я. — Я никак…

— Что ты бубнишь? — сердится он. — Сказано — быть здесь, и точка.

И точка. Точка, а я все никак не могу этого осознать. Зам приезжает в восемь на собственных «жигулях».

— У меня два часа. Где нам поговорить?

— Люди ждут в столовой, Анатолий Петрович.

— Вы считаете, следовательно…

— Считаю, — сухо перебивает Лихоман.

— Как угодно, — пожимает плечами Соколов.

Вначале я так расстроен, что ничего не соображаю.

Гляжу на ребят, на начальство, а вижу Аню на пустынном берегу среди скучного августовского ольшаника. Потом до меня начинает доходить, что Лихоман и Виталий Павлович яростно по-

носят управление, что Федор их поддерживает, а Степан не говорит ни «да», ни «нет». Соколов упорно и неторопливо добирается до истины; я и Юрка на этом совете никак не котируемся, а Славка лечит свои дырки в сарае.

— Без горячки, товарищ Лихоман, — скучно говорит Соколов. — Техника любит нормальную температуру. Водили вездеход люди обычной квалификации? До сих пор я слышу только мастеров.

— Я водил, — высовывается Виталий Павлович.

— Ваше умение мне известно, Виталий Павлович. Кроме того, мне известна и ваша девичья влюбленность в руководителя группы испытаний.

— Ну, это недозволенный прием! — смеется Лихоман.

— У нас деловое совещание, а не занятия по вольной борьбе, и, следовательно, эта терминология здесь неуместна, — холодно режет Соколов. — Есть у вас водители обычной профессиональной выучки? Так сказать, то среднее, на что мы обязаны ориентироваться?

— Все у нас есть, — говорит Лихоман, Юрка начинает кхекать и пыжиться, но командор оста-

навливает взгляд на мне:

— Слесарь Крутиков. Овладел машиной на испытаниях.

— Что скажете, товарищ Крутиков?

Что скажу?.. А что надо? Я не слушал их спора и не знаю, что должен свидетельствовать.

— Овладел, — говорю я.

— Что — овладел? — хмурится Соколов. — Меня интересует ваше впечатление об управлении вездеходом.

— Управление легкое, — говорю я, с ужасом соображая, что порю не то, что следует. — Если направо, то правый рычаг, а если влево…

— Балда! — не выдерживает командор. — Тебя о чем спрашивают?

— Без эмоций, товарищ Лихоман, — улыбается Соколов. — Насчет сена-соломы мы можем опустить, но свидетельство о легкости управления говорит не в вашу пользу.

— Да он не понял, — басит Федор. — Он у нас малость с придурью.

— Что — не понял? — обижаюсь я. — Я же овладел…

— Садись! — машет Лихоман. — Козырный туз.

Они опять принимаются спорить, а я лихорадочно сочиняю речь. Я уже все понял, и мне

плохо. Я подвел Лихомана, подвел ребят. Я готов признаться, что я идиот, но пусть мне дадут слово. Я расскажу про слалом, который устроил для нас Лихоман, расскажу, почему Юрка ударился в столб…

Но слова мне не дают. Я поднимаю руку, даже встаю, но Юрка тянет меня за рукав:

— Молчи уж, грамотей.

Слово берет Соколов:

— Я готов признать, что система управления еще не доработана. Но я не вижу причин, чтобы ставить на ней крест…

— Испытывать машину опасно! — кричит Лихоман. — Я заявляю это официально и сегодня же напишу соответствующий документ!

— Теперь об опасности, — невозмутимо продолжает зам. — Имея такой экипаж, я бы постеснялся говорить об этом.

— Демагогия! — взрывается командор.

— Ваших водителей можно показывать в цирке. Но дело не только в этом. В конце концов, если вы настаиваете, мы, конечно, прекратим испытания. Но при этом не выполним программы. Естественно, что рассчитывать на премиальные в этом случае бессмысленно. — Он делает паузу, и ребята начинают шушукаться. Лихоман

молчит. Виталий Павлович что-то шепчет ему, но он только отмахивается. — Я думаю, что при этой ситуации решать судьбу испытаний должен экипаж, — продолжает Соколов. — Докажите, что управление вездеходом несовершенно, и мы немедленно примем меры. При этом мы будем считать испытания законченными, и премиальные останутся в силе. Речь, таким образом, идет лишь о продлении испытаний с упором на проверку системы управления.

— Значит, покусаете нас? — яростно кричит Лихоман. — Ну, добро, решайте, ребята. Только думайте, думайте, черт возьми!..

— А чего тут особо думать, Борисыч? — лениво спрашивает Федор. — Я понял, что от нас одно требуется: гонять, покуда не докажем, что управление хреновое. Правильно?

— Правильно, — подтверждает Соколов.

— Стало быть, договорились, — говорит Степан.

— Ты, Борисыч, сам посуди, что получается, — размышляет Федор. — Либо нам бесплатно прекращать испытания, либо — за плату. Так уж лучше за плату, а?..

Соколов уезжает довольным: испытания будут продолжены. А я сломя голову бегу к реке. Нет, я

уже ни на что не рассчитываю. Просто мне нужно удрать от Лихомана.

Тишина, и никого нет: ни на том берегу, ни на этом. Сажусь, обняв колени, и бессмысленно гляжу в темную воду.

Не волнуйся, мама, я на необитаемом острове. И Пятниц здесь нет: сплошь одни понедельники…

6

Пятые сутки идет дождь, и нежнейшая пыль проселочных дорог превратилась в тяжелую, вязкую грязь. Мы таскаем эту грязь в вездеход, ляпаем на сиденья, размазываем по бортам. От нее невозможно избавиться, и даже Степан перестал ворчать, обнаруживая ее в собственной кружке.

— Ничего, ребята, злей будем! — смеется Лихоман. На его красной физиономии грязь почти не заметна, зато мы выглядим весьма эффектно. Бритвы затупились, и ребята окончательно перестали бриться. Странное дело: чем тяжелее нам, тем веселее смех. Мы давно промокли насквозь, давно дрожим каждой косточкой, но все шутят, словно на улице солнечное лето.

А машину теперь водят только Федор и Степан. Даже командор не рискует браться за рычаги, и наши асы управляют вездеходом совершенно

необъяснимым способом. Лихоман каждый день проводит тщательнейший осмотр и хмурится все больше, но его уговаривают потерпеть:

— Еще бы тысчонку, Борисыч.

Едим на ходу, спим урывками и гоняем, гоняем. От бесконечного жесткого грохота у меня чешутся зубы. Все время чешутся, даже когда ем. Юрка совсем ополоумел и напрочь перестал спать.

— Лечить тебя надо, — авторитетно сказал Степан и вкатил Юрке полный стакан того средства, которым ребята лечатся от всех напастей.

Юрка враз окосел и свалился с сиденья. Мы со Славкой уложили его и укутали в тулуп. Потом завалились сами и мгновенно уснули под барабанный рокот дождя, а Юрка начал стонать. Стонал он довольно долго, а потом вдруг поднялся и начал душить Славку. Славка спросонок заорал так, что мы сразу проснулись и кинулись их разнимать.

Утром командор провел расследование, но Юрка ничего не мог вспомнить. Славка считал, что он прикидывается, и требовал применения санкций, но Лихоман справедливо решил, что Юрка укатался, и отправил его домой, а все заботы о бортовом журнале поручил мне.

Так мы остались впятером. Вездеход еще кое-

как ковылял, и ребята уговаривали Лихомана докатать его до точки. Но вскоре ПМП окончательно забастовал, и Федор с трудом отвел машину в кусты.

— Все, — сказал Лихоман. — Генка, запиши показания и подведи черту.

Ребята с этим не соглашаются и лезут регулировать, а Лихоман начинает бриться. Я «подвожу черту»: подсчитываю пройденный километраж и составляю черновик акта. Славка с грустью разглядывает в зеркальце свою физиономию, расцарапанную Юркиными ногтями.

— Вот псих ненормальный, — вздыхает он. — И почему он на меня бросился, интересно? Борисыч рядом спал, так он почему-то через него перелез и в меня вцепился.

— Есть! — торжествующе орет Федор. — Схватывает, холера!

— Все, Федя, — говорит Лихоман, за неимением одеколона смачивая истерзанное бритвой лицо остатками водки. — Никаких холер.

— До круглой бы цифры докатать, — хрипит давно простуженный Степан. — Сколько до нее, Генка?

— Сто семьдесят семь. Будет ровно девятнадцать тысяч.

— Докатаем, Борисыч? Премиальные-то, между прочим, с тысяч платят…

Лихоман не соглашается, но ребята наседают. В конце концов он машет рукой:

— Черт с вами, катайте. Под твою, Степан, ответственность.

— Добро, Борисыч!..

Кое-как придав себе человеческий облик, командор торжественно прощается с нами и пешком топает на железнодорожную станцию. Славка провожает его и возвращается с бутылкой: испытания закончены, и ребята тихо празднуют это событие. Оставшиеся километры — пустяк: за сутки мы докатаем их, и вездеход уйдет на полную дефектовку с приятной цифрой на спидометре. А мы вернемся на завод, будем писать отчет и ждать, когда цех соберет следующий образец.

Всем чуточку грустно. Славка бродит вокруг обреченной машины и чокается с честно послужившими агрегатами.

— Прощай, старушка!

— Плюнь, Славка, — требует суеверный Федор.

Славка демонстративно плюет на планетарный механизм поворота.

— Уродина! Дотерпеть не могла!..

— На Щеголиху поедем, — хрипит Степан, разглядывая карту. — Кольцевая трасса ровно восемьдесят километров.

— Там овраги.

— Полем обойдем, по стерне. Хлеба убрали.

— Думаешь?

— Круг, Федя. Удобство.

— Ну, давай. — Федор зевает. — Спать, ребята. В семь выезд.

Утром дождя нет, и кое-где даже проглядывает солнышко. Мы тарахтим по раскисшей дороге, сползая в кюветы и осторожно перебираясь через мосты. Рычаги «схватывают», как выражается Федор, но даже в его руках машина движется зигзагом.

К полудню тент просыхает, и мы со Славкой снимаем его. Кататься, конечно, не жарко, но все же лучше, чем задыхаться в грохочущем чреве.

Вечером выбираемся за Щеголиху — довольно грязную деревеньку с неисчислимым количеством собак. За околицей Федор уступает рычаги Степану:

— Про овраги помни.

— Я по стерне.

Стерня отлично держит машину, и Степан гонит вовсю. Ревет мотор, плавно покачивается

кузов. Я стою на сиденье, вцепившись в борт, и через голову Степана слежу за приборами. Федор и Славка стоят рядом. Славка что-то кричит, но ветер уносит слова.

Слева поле круто обрывается: там знаменитые щеголихинские овраги. Когда наш вездеход был юн, как жеребенок, мы испытывали его на этих склонах.

Спидометр деловито отщелкивает цифры. Еще двадцать километров, и покажется заветная девятнадцатая тысяча.

Впереди — темно-серая прогалина: здесь разворачивался трактор, содрав гусницами дерн. Я кричу об этом Степану, но он не сбрасывает скорость. Мы вылетаем на разъезженное место, и нас резко тащит влево.

— Тормози! — кричит Славка.

Поздно: левая гусеница, сорвав край обрыва, ползет вниз, и вездеход тащит и тащит, и я уже стою на сиденье как-то боком, потому что все перекосилось. И тут Федор рывком сдергивает меня на пол и наваливается сверху.

Сразу смолкает мотор, и мы начинаем медленно, как во сне, валиться набок. Движение ускоряется, Федора отбрасывает в сторону, меня стукает о сиденья, я за что-то хватаюсь, а ноги

продолжают летать по кузову. Гусеницы с оглушительным лязгом бьют по бортам, что-то гремит и грохочет, и вдруг все замирает. Я открываю глаза и вижу, что вишу на стоящем вертикально днище, вцепившись в стойку сиденья. Славка висит рядом, изогнувшись в три погибели. А Федора нет.

— Приехали! — улыбаясь, объявляет Славка.

Я отпускаю руки и съезжаю на борт: он теперь вместо пола.

— Все живы? — глухо кричит из отделения водителя Степан.

— Все, — говорю я и выбираюсь из машины.

— Рожу всю раскровенил, — жалуется Степан. — Сунуло, понимаешь, рылом о щиток…

И тут я вижу Федора. Он лежит ничком рядом с машиной, как-то неестественно выгнувшись.

— Федя, ты что?

— Рука… — Федор скрипит зубами. — Руку бортом… — Правая рука его по локоть накрыта вездеходом.

Я хватаю борт, тяну, тяну так, что трещит спина, и кричу:

— Степан!.. Славка!.. Степан!..

— Отойди! — Славка силой отдирает меня от борта. — Восемь тонн, дура!..

— Копать надо, — говорит Степан. — Славка, лопату! Ты как, Федя?

— Давай живей, что за разговор, — сквозь зубы цедит Федор.

Я уже копаю. Копаю пальцами, сдирая ногти. Славка с другой стороны роет лопатой. Степан лихорадочно отгребает землю.

— Как же ты, Федя?

— Ладно, Степа, после…

Я знаю — как, но расскажу это потом, через неделю, на общем собрании всего нашего отдела. Он спасал меня, понятно? Спасал, потому что я стоял на сиденье, когда вездеход начал падать. Спасал и не успел уцепиться, и его вынесло из кузова.

А сейчас я только рою и всхлипываю, и меня всего трясет. И Славка роет, роет, как помешанный, и Степан гребет землю окровавленными руками, потому что у него рассечен лоб и кровь идет, не переставая.

— Держись, Федя. Держись, друг.

— Держусь, Степа. — Федор вдруг охает и глухо матерится. — Шевельнуть невозможно.

— Генка, тащи его руку!..

Я тащу. Тащу осторожно, а она вся липкая от грязи и крови, и я чувствую, как ходят под моими

пальцами острые осколки костей. Федор скрипит зубами и ругается.

Потом мы со Славкой бегаем по полям и ищем палки, чтобы сделать шину. А места здесь голые, как блюдце. Наконец Славка натыкается на какую-то загородку, ломает ее, и мы бежим назад.

Федор сидит, опершись спиной о машину, и курит. Рука лежит рядом на свернутом брезенте, словно чужая: нелепо и страшно вывернута распухшая, окровавленная ладонь. Степан стоит рядом и рвет на куски полотенце, рубахи, майки — все, что отыскал.

— Славка, воды. В оврагах ищи: дождь неделю шел.

Славка убегает за водой, а я стою с наломанными палками, понимаю, что мне предстоит, и никак не могу убить в душе страх. Я ни разу не видел, как накладывают шины, но ведь я — докторский сын.

— Палки обстругайте, — тихо говорит Федор. — С сучками ведь приволокли.

Степан стругает палки. Славка приносит воду, и я долго мою руки. Потом становлюсь на колени.

— Ты кости не собирай, — говорит Федор. — Стяни их, и ладно. В больнице разберутся.

Я выбираю обструганные палки и начинаю

осторожно подсовывать их под руку. Федор дышит глубоко и часто.

— Сейчас, Федя, сейчас. Степан, помоги.

Мы обкладываем рану палками, и я бинтую. Федор бледнеет, откидывается на спину. Славка держит его за плечи и поит водой. Наконец — все. Закрепляю ленту, делаю петлю и подвешиваю запеленатую, как кукла, руку Федора на грудь. Никогда не думал, что у меня хватит на это пороху.

— Ну как, Федя? — спрашивает Степан.

— Мозжит, холера.

— Двигай вместе с Генкой в Щеголиху.

— В Щеголиху, Степа, ни к чему. — Федор говорит тихо, с перерывами. — В Щеголихе больницы нет. Надо в Брусняты.

— Двадцать километров.

— Дойду. Передохну только. Славка, чайку бы.

Славка выволакивает канистру с маслом, поливает ветошь, вешает чайник. Потом долго ковыряется в рации, вздыхая:

— Хана передатчику, ребятки.

А Федор в упор смотрит на меня. Смотрит, словно требует чего-то или проверяет.

— Ты что, Федя? Рука болит?

— Акт. Точный километраж, обстановка, причины аварии, показания приборов.

— До того ли сейчас, Федя? — вздыхает Славка.

— Он — испытатель, Славка. А испытатель не на себя работает и даже не на нашу контору. Он на государство работает. На тех, кто следом пойдет. Составляй акт, Генка.

Темнеет. Дождя нет, но низкие косматые тучи сплошь заволокли небо. Пока я составляю акт, перевязываю Степана, пока Федор пьет чай, опускается такая глухая мгла, что в трех шагах с трудом различаешь черную громаду лежащего на боку вездехода.

— Курево возьми, Федя.

— А вам?

— Перебьемся. — Степан достает карту. — Гляди, Генка, вот дорога. Она не накатана, так что не сбейся.

— Знаю я дорогу, — недовольно говорит Федор.

Мы долго идем по шуршащей стерне. Я часто оглядываюсь и вижу далекий красный огонек нашего костра. Он делается все меньше и меньше, превращается в точку, а потом совсем растворяется в тяжелой влажной темени. Похрустывает под ногами солома, а обещанной Степаном дороги все нет и нет. И Федор молчит.

— И чего он не тормознул? — вздыхаю я.

— Кто?

— Да Степан. Гнал, как на новой.

— Зажги-ка мне спичку. — По тону чувствую, что Федор недоволен. — Мы — испытатели. Забыл? Мы ни машины, ни себя жалеть права не имеем: работа у нас такая. Кто-то должен проверять, Генка, на себя прикидывать. Чтобы потом люди в нашей машине спокойно себя чувствовали.

— Но ведь перевернулись.

— Так мы же перевернулись! — с раздражением перебивает Федор. — Ну и хорошо: доказали, что механизм поворота — дерьмо…

Он замолкает, глубоко затягивается.

— Болит, Федя?

— Болтай, Генка, — глухо говорит он. — Давай звони что-нибудь.

— Что?

— Что хочешь, только не молчи. Книжки трави, кино, анекдоты.

Я понимаю, что Федору нужно как-то отвлечься от мучительной боли, перестать думать о руке, и ничего не могу с собой поделать. Я вдруг перезабыл все книги, анекдоты и фильмы и плету что-то бессвязное только потому, что мне нельзя молчать.

Не знаю, слушает ли меня Федор. Он по-преж-

нему грузно шагает сбоку, придерживая левой рукой ноющую правую, и курит папиросу за папиросой.

А дороги все нет и нет. Стерня кончилась, пошли какие-то кочки, потом и они пропали, и под ногами зачавкала луговина. А дороги не видно. Впрочем, ничего не видно, даже руки, если поднести ее к самому носу. Сколько времени мы идем? Мои часы встали навеки после верчения в вездеходе, а у Федора… Да нет, часы ведь носят на левой руке.

— Федя, сколько времени?

— Давай, Генка, трави, — сквозь зубы говорит он. — Трави без остановки.

Что я только ему не рассказывал в ту жуткую черную ночь! Книги, и фильмы, и всю свою жизнь, как она есть, без вранья, и даже то, как я познакомился с Владленой и почему оказался здесь. Мы все-таки вышли на какую-то дорогу и долго шли по ней, а потом опять сбились, пересекли луг и угодили на бесконечное картофельное поле. Спотыкались в глубоких бороздах, путались в ботве, а я все говорил и говорил, пока вдруг Федор не остановил меня:

— Погоди, Генка. Слушай, или это в ушах у меня шумит?..

Я напряженно прислушиваюсь и наконец улавливаю далекий собачий лай.

— Собаки, Федя! Собаки лают!..

— Да… да… — тихо и безразлично говорит Федор. — Это хорошо. Брусняты, значит…

— Ура! — кричу я. — Тут чуть-чуть, Федя! Километра три…

— Иди, Генка. Я сейчас. Передохну только…

И он медленно опускается в ботву. Я подхватываю его, пытаюсь приподнять, но он стал куда тяжелее, чем обычно.

Я долго уговариваю его, тяну, волоку, от страха не понимая, что он потерял сознание. Потом оставляю эти бесплодные попытки и сажусь рядом, тупо глядя на него:

— Федя! Федь, ты слышишь меня?..

Он не отвечает. Лежит в борозде, вытянувшись во всю длину. Может быть?.. От страха я сразу покрываюсь потом, осторожно приникаю к нему и слушаю, слушаю…

Дышит!..

Лихорадочно срываю с себя куртку, свитер. Курткой накрываю его до подбородка, свитер подсовываю под голову. Это все, что я могу для него сделать. Нет, не все: я должен привести людей. И я, задыхаясь и путаясь в ботве, бегу через

бесконечное поле на собачий лай, а впереди по-прежнему не видно ни зги. Я спотыкаюсь о борозды, падаю и снова бегу, пока не натыкаюсь на плетень.

Здесь я останавливаюсь. Пот застилает глаза, в уши часто и тупо тукает сердце, и я уже не слышу никакого собачьего лая. В глазах какая-то пелена и яркие точки, и ни черта не видно. Потом различаю что-то темное, соображаю, что это дом, и мешком переваливаюсь через плетень.

Почему-то я не стучу в этот дом, а пересекаю двор и выхожу на улицу. Я выглядываю огонек, но избы безглазо смотрят на пустынную улицу. И тут я замечаю новый, в три окна дом и дряхлую березу у крыльца. Я прятался под нею, когда Ане открывали дверь. Стучу кулаком. Грохот отдается по всей улице, но я все равно стучу. Наконец старческий глухой голос спрашивает:

— Кто там?

— Несчастье! — кричу я. — Человеку плохо! Мы испытатели!

— Какие испытатели?

— Ну, машину испытываем! Рядом с вами, через речку…

И вдруг слышу какой-то разговор.

Дверь распахивается:

— Ты, Гена?

На пороге Аня. Белая рубашка, плечи прикрыты платком. За нею — костлявый старик в кальсонах и какая-то женщина.

— С Федором плохо. Лежит на поле, без сознания.

— Входи. Я оденусь.

Вхожу в избу. Старик зажигает свет и остается стоять, во все глаза глядя на меня. Из-за занавески пялится женщина. Аня уходит за эту занавеску.

— Рассказывай.

Сажусь на лавку и начинаю рассказывать. Дед буравит меня глазищами. За занавеской что-то бормочет женщина.

— Ну, все! Замолчали! — резко обрывает ее Аня.

Она выходит уже в брюках и свитере, деловито поправляя волосы:

— Ты почему в одной рубашке?

— Федору оставил.

— С ума сойти! Деда, дай кожушок.

Дед покорно приносит что-то вроде овчинного пиджака. Я надеваю его, вслед за Аней иду к дверям.

— Анечка! — растерянно кричит женщина. — Ночь ведь!..

— Ладно! — сердито говорит Аня. — Не одна ведь иду.

Мы оказываемся на улице. Старик и женщина смотрят из дверей. Кажется, женщина плачет.

— Не дотащим, — соображаю я наконец. — Он тяжелый.

— Да? — Она сердито покусывает нижнюю губку. — Пошли.

— Куда?

— Пошли, пошли, Лешка сегодня дома.

Мы поднимаем Лешку — того самого, с могучей челюстью. Лешка бежит за Костей, и мы, стуком и криками разбудив полдеревни, уходим в бескрайнее картофельное поле. Бродим, кричим, зовем, и наконец Костя натыкается на Федора. Он все так же лежит в борозде, не слышит и не видит, но сердце у него все-таки бьется.

Ребята несут Федора в деревню, а я второй раз рассказываю, что случилось. У околицы они осторожно кладут Федора, закуривают, и Щелкунчик у меня спрашивает:

— Тебе на базу надо?

— Надо. Но сначала в больницу.

— В больницу мы без тебя его отволокем. Крой, друг, на свою базу, а заодно доктора подними. Он возле магазина.

— Я с ним пойду, — объявляет Аня. — Он напутает.

Мы будим врача и по мостику перебираемся на другой берег. База встречает нас гробовым молчанием: даже Фишка куда-то пропал. Мы долго колотим в дверь, и в конце концов на стук выползает сонный Ананьич:

— Ну, чего надо? Чего?

— Ананьич, это я! Несчастье, Ананьич!

— Ну, чего надо?

Ананьич пьян в лоскуты. С трудом выясняем, что база ликвидирована и завхоз ждет только нас, чтобы увезти на вездеходе остатки имущества. На изложение этих новостей Ананьич затрачивает последние силы и бездыханно падает в мои объятия. Я запихиваю его в дом и прикрываю дверь:

— Что делать?

— На почту! — решает Аня. — Сейчас девочек подниму.

Мы бежим назад, стучимся в чьи-то темные окна. Объясняем, ругаемся, отбиваемся от собак. Люди спросонок ничего не соображают, но мы находим телефонистку и идем на почту.

— Белоярка!.. — певуче кричит в трубку телефонистка. — Давай область! Область давай: срочный вызов!..

На линиях все спят здоровым служебным сном, путают включения, лениво отругиваются. Аня сменяет благодушную телефонистку и начинает энергично поносить всех подряд. Мне становится не по себе, но связь налаживается, и уже я ору в трубку:

— Георгий Адамыч! Это Крутиков! Слесарь! Авария у нас! Перевернулись возле Щеголихи! Щеголихи!.. Что?

Голос главного — точно с того света, но я ору свое. Мне надо, чтобы он понял, чтобы принял меры, чтобы к вечеру Степану и Славке была оказана помощь. Наконец он, видимо, что-то соображает. Кажется, спрашивает о Федоре и уточняет место катастрофы. Ору по складам, убеждаюсь, что он понял, и с облегчением вешаю трубку.

— А деньги? — интересуется телефонистка. — Срочный ведь…

Денег у меня нет: я отдал их Славке на котловое довольствие. Объясняю, но девушка очень расстраивается.

— Я заплачу, — говорит Аня. — Выписывай на меня.

С почты мы бежим к больнице. В окнах — свет, на скамейке у входа — Щелкунчик и Костя.

— Порядок!..

Я ломлюсь в дверь, но меня не пускает сердитая пожилая сестра. Рвусь, и на шум появляется доктор:

— Утром приходите.

— Вы только скажите: плохо, да?

— Утром! Не раньше десяти! Все!

Я возвращаюсь к ребятам. Лешка предлагает сигарету. Я автоматически беру ее и тут же роняю.

— Готов? — сочувственно спрашивает Костя. — Иди-ка ты спать.

А я не могу встать. Не могу говорить, двигать руками: так я еще никогда не уставал. Никогда в жизни…

— Обопрись на меня. — Аня обнимает меня за плечи. — Сильней, не бойся. Я крепкая.

Кое-как поднимаюсь. Колени дрожат и подгибаются, я почти вишу на Ане.

— Мы тут будем, — говорит Лешка. — Может, ему кровь понадобится.

Я обнимаю Аню за плечи, и мы медленно бредем по тихой улице. Чуть светает.

— Ну еще шажочек, — приговаривает она. — Ну еще…

Я ковыляю, как робот: перетаскиваю каждую ногу в отдельности. В голове — шум, глаза слипаются, и если бы Аня сейчас оставила меня, я бы

просто рухнул. Но она нежно и требовательно командует, и только поэтому я кое-как передвигаюсь.

Наконец мы останавливаемся возле ее дома. В окнах света нет. Аня оглядывается:

— Знаешь что? Не будем их беспокоить, а? Пойдем на сеновал: кожушок у нас есть.

Она бесшумно открывает калитку, машет рукой, и я плетусь следом. Пересекаем двор, входим в сарай.

— Лезь! — шепчет она.

Я нащупываю лестницу, лезу и сваливаюсь в мягкое, душистое сено. Все сразу начинает куда-то плыть, качаться…

— Ты где? — шепчет Аня. — Погоди, я дерюжку нашла.

Она возится где-то рядом, разгребая сено, а я из последних сил борюсь со сном. На сеновале темнотища, хоть глаз выколи.

— Давай кожушок.

По крыше начинает редко постукивать дождь. Это действует убийственно: у меня уже нет сил пялить в темноту глаза. Но тут неожиданно прямо подо мной орет петух. Орет таким противным хрипатым голосом, что я сразу просыпаюсь.

— Иди, — шепчет Аня. — Я постелила. Ну, где

ты? — Она находит меня, укладывает, заботливо накрывает. — Спи.

Кажется, что-то теплое, нежное вскользь касается моей щеки. Кажется — потому что я сразу же проваливаюсь в глубокий сон…

Не скажу, что сразу вспоминаю о Федоре, как только просыпаюсь. Нет, я не забывал о нем ни на мгновение, я помню, что он в больнице, что ему плохо, но думаю не о нем. Я пишу сейчас правду: после этой ночи я ничего не хочу выдумывать. И я, помня о друге, пытаюсь вспомнить, был тот скользящий поцелуй в темноте или мне это только показалось. Вот о чем я думаю, и мне не стыдно, потому что я ничего не сочиняю. Я больше не хочу прикидываться лучше, чем я есть, сочинять себе биографию и врать кому бы то ни было. Не хочу и не буду. Хватит.

Где-то Аня сейчас? Может быть, уже уехала и больше мы никогда не увидимся? С этими мыслями я спускаюсь по лесенке и… вижу Аню. Прикрывшись каким-то коротеньким, дырявым половичком, она сладко спит на охапке соломы рядом с курятником. Ей холодно, она скорчилась, подтянув коленки к подбородку, а половичка все равно не хватает.

Я сажусь и смотрю на нее, и мне так спокойно и

так хорошо, как никогда еще не было. Я не разглядываю ее, хотя вижу всю: и ноги, и рассыпанные в сонном беспорядке пшеничные волосы, и удивительное, розовое, чистое-чистое лицо, Я ничего не разглядываю, я просто любуюсь ею, и, наверно, поэтому сердце мое не стучит, а нежно, до сладкой боли замирает в груди. Я вижу, как чуть вздрагивают ее ресницы, как шевелятся пухлые, по-детски оттопыренные губы, и чувствую себя сильным. Настолько сильным, что могу взять ее на руки, прижать к себе и нести всю жизнь.

Она просыпается вдруг, сразу же садится и смотрит на меня круглыми, испуганными глазами.

— Ты давно здесь сидишь?

— Нет.

— А зачем?

— Боялся разбудить.

— Я лохматая?

— Ты красивая.

Она вспыхивает, отворачивается, приводит себя в порядок. Говорит, не оборачиваясь:

— Опять подглядывал? — В голосе ее звучит нежность, я чувствую ее и улыбаюсь. И знаю, что она тоже улыбается, хотя не вижу ее лица. — Я тебе нравлюсь?

— Очень, Аня.

— И ты не врешь?

— Нет. Я говорю правду. Я мог бы сказать, что влюбился…

— Не надо! — Она резко поворачивается, глаза ее сияют. — Пойдем в больницу.

И протягивает мне руку. Так, взявшись за руки, мы выходим из сарая. И носом к носу сталкиваемся со стариком: он в упор смотрит на нас тяжелым коровьим взглядом.

— Доброе утро, — растерянно бормочу я.

Старик молчит. И Аня молчит тоже, только крепко сжимает мне руку и идет прямо на деда. Он отступает, пропуская нас, и тут я замечаю, что из-за плетня на нас смотрят две бабы. И тоже молчат. И мы идем как сквозь строй.

Мы проходим двор, перед калиткой Аня оказывается впереди, и только теперь я вижу ее измятые брюки и соломинки в волосах.

На улице, уже отойдя от дома, мы останавливаемся. Аня по-прежнему держит меня за руку, но смотрит в сторону, чтобы я не видел ее глаз.

— Вот. — Она мучительно улыбается. — Доброе утро, товарищи.

— Аня, что ты? — Я знаю, что с ней. Знаю, что с нами, и все равно говорю. — Что случилось, Аня?

— Ничего. — Нижняя губа ее начинает непро-

извольно дрожать. — Пойду домой.

— А… мы же хотели в больницу?

— И ведь ничего не объяснишь, — вдруг горько говорит она. — Ничегошеньки не докажешь, и не надо же ничего доказывать.

— Но это же… Это же нехорошо.

— Ох, Гена, Гена, не знаешь ты нашей деревни! — почти со стоном произносит она и решительно высвобождает руку. — Хорошо, что я сегодня уезжаю.

— Но мы увидимся?

— Обязательно. Я приду на почту: мне телеграмму отправить надо.

Она поворачивается и медленно, словно превозмогая себя, идет назад. Но чем ближе подходит к дому, тем все решительнее делается ее шаг и выше поднимается голова. И я горжусь ею.

В больницу меня пропускают сразу. У доктора измученное лицо, огромные мешки под красными глазами:

— Проходите в палату.

Федор лежит у окна. Глаза закрыты, и сначала мне кажется, что он спит. Я долго гляжу на его осунувшееся, небритое лицо, но тут он открывает глаза и улыбается:

— А, Генка. Садись, друг.

Я сажусь в ногах на табуретку.

— Ну как, Федя?

— Бывает хуже. Сообщил на завод?

Я смотрю на его забинтованную руку и никак не могу сообразить, что с ней произошло. Она уменьшилась, став вдвое короче, и я наконец понимаю, что ее просто-напросто отняли почти по локоть…

— Да, брат, — тихо говорит Федор. — Такие дела…

Я кусаю прыгающие губы, а слезы уже бегут по щекам. Я всхлипываю, размазываю их, скриплю зубами и реву. Реву, как мальчишка…

— Ничего, сынок, реви, не стесняйся. — Федор улыбается. — Это последние твои слезки. Потом и захочешь поплакать, да не выйдет ничего.

Я вытираю слезы и рассказываю, что звонил главному, что Ананьич пьян в стельку, что с базы все уехали и что сейчас я опять пойду звонить на завод, потому что боюсь: напутают.

— Деньги возьми, — говорит Федор. — Бери, бери: и звонить надо, и есть надо.

Приходит сестра и просит меня уйти: Федора везут на перевязку. Я сую деньги в карман и иду, но Федор останавливает меня.

Подхожу. Левой рукой он протягивает мне что-

то маленькое:

— Возьми, сынок. На память.

Мундштук. Последний, который сделал Федор. Самый последний, больше не сделает.

Я иду на почту, заказываю завод. Пока жду соединения, пишу письмо: его отвезет Аня.

Я пишу о Федоре: ни о чем другом я не могу сейчас писать. Пишу о самом дорогом моем друге и мечтаю стать хоть чуть-чуть похожим на него.

Прости, мама, я кончаю письмо: за окном мелькнул наш газик. Кажется, приехал Лихоман…

Великолепная шестерка

Кони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.

— Хелло, Вэл!

— Хелло, Стас!

Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!

Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей

пристреливают, не правда ли?

— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.

— Ты молодец, Роки.

— Да, клевое дельце.

— А что делать с лошадьми?

— Завтра еще покатаемся.

— Завтра — конец смены, Эдди.

— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!

Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналя. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами, тронулись в путь.

— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?

Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодея-

тельность, за наглядную агитацию, за чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.

Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к ее лагерю, что

Кира Сергеевна рассердилась.

— Наверняка из-за каких-то пустяков, — говорила она по пути в собственный кабинет. — А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.

— Да, да, — преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение…

— Пригласите физрука, — распорядилась Кира Сергеевна. — На всякий случай.

Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.

— В чем дело, товарищи? — строго начала она. — Без телефонного предупреждения врываетесь в детское учреждение…

— Извините.

У окна стоял милицейский лейтенант настоль-

ко юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.

— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь…

Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не

понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.

— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.

Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.

— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.

Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот чужой страх, и ее собственная боязнь, ее собственная растерянность тут же

исчезли без следа. Все отныне встало на место, и разговором теперь управляла она.

— Скудно выражаете мысли.

Милиционер посмотрел на нее, усмехнулся.

— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.

Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.

— Конечно, кони теперь без надобности, — вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями. — Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.

Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и

сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда рвался защищать женщин.

— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он. — «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.

— Он контуженый, — глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.

— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс, — внушительно сказал физрук. — Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.

— Шестеро к деду ходили неоднократно. Называли друг друга иностранными именами, которые я записал со слов колхозных ребят… — Лейтенант достал блокнот, полистал. — Роки, Вел, Эдди, Ден. Есть такие?

— В первый раз… — внушительно начал физрук.

— Есть, — тихо прервала вожатая, начав буйно краснеть. — Игорек, Валера, Андрей, Дениска. Это же великолепная шестерка наша, Кира Сергеевна.

— Этого быть не может, — твердо определила начальница.

— Конечно, бред! — тотчас подхватил физрук, адресуясь непосредственно к колхозному пенсионеру. — С похмелюги, отец, поблазилось? Так с нас где сядешь, там и слезешь, понял?

— Перестаньте кричать на него, — негромко сказал лейтенант.

— Поди, пропил коняг, а на нас отыграться хочешь? Я тебя сразу раскусил!

Старик вдруг затрясся, засучил ногами. Милиционер бросился к нему, не очень вежливо оттолкнув при этом вожатую.

— Где у вас уборная? Уборная где, спрашиваю, спазмы у него.

— В коридоре, — сказала Кира Сергеевна. — Возьмите ключ, это мой личный туалет.

Лейтенант взял ключ, помог старику подняться.

На диване, где сидел инвалид, осталось мокрое пятно. Старик дрожал, мелко переставлял ноги и повторял:

— Дай три рубля на помин, и господь с ними. Дай три рубля на помин…

— Не дам! — сурово отрезал милиционер, и оба вышли.

— Он алкоголик, — брезгливо сказала вожатая, старательно повернувшись спиной к мокрому

пятну на диване. — Конечно, прежде был герой, никто не умаляет, но теперь… — Она сокрушенно вздохнула. — Теперь алкоголик.

— А ребята и вправду лошадей брали, — тихо признался физрук. — Мне перед отъездом Валера сообщил. Что-то он еще тогда про лошадей говорил, да отозвали меня. Шашлыки готовить.

— Может быть, признаемся? — ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна. — Провалим соревнование, потеряем знамя. — Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: — Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность, но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили, следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость, наша общая недоработка, а пятно с коллектива не смоешь. И прощай знамя.

— Ясно, Кира Сергеевна, — вздохнул физрук. — И не докажешь, что не верблюд.

— Надо объяснить им, что это за ребята, — сказала вожатая. — Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна.

— Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, Почетные грамоты. Быстренько систематизируйте.

Когда лейтенант вместе с притихшим инвалидом вернулись в кабинет, письменный стол ломился от раскрытых папок, Почетных грамот, графиков и схем.

— Извините деда, — виновато сказал лейтенант. — Контузия у него тяжелая.

— Ничего, — великодушно улыбнулась Кира Сергеевна. — Мы тут обменялись пока. И считаем, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать: они — надежда двадцать первого века. И, в частности, те, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант.

Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью уяснить, что главное — в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее, а старик, усевшись, вновь вперил тоскливый взор свой куда-то сквозь начальницу, сквозь стены и, кажется, сквозь само время. Это было неприятно, и Кира Сергеевна позволила себе пошутить:

— Бывают, знаете, пятна и на мраморе. Но ведь

благородный мрамор остается благородным мрамором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас мы покажем вам, товарищи, на кого пытаются бросить тень. — Она зашуршала бумагами, разложенными на столе. — Вот, например… Например, Валера. Прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его Почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик…

— Второй Карпов! — решительно перебил физрук. — Блестящая глубина анализа, и в результате — первый разряд. Надежда области, а возможно, и всего Союза — говорю вам как специалист.

— А Игорек? — робко вставила вожатая. — Поразительное техническое чутье. Поразительное! Его показывали даже по телевизору.

— А наш изумительный полиглот Дениска? — подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных. — Он уже овладел тремя языками. Вы сколькими языками владеете, товарищ милиционер?

Лейтенант серьезно поглядел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил:

— А ты сколькими «языками» овладел, дед? За шестого орден-то дали, так вроде?

Старик задумчиво кивнул, и весомый орден

качнулся на впалой груди, отразив позолотой солнечный лучик. И опять наступила неуютная пауза, и Кира Сергеевна уточнила, чтобы прервать ее:

— Товарищ фронтовик вам дедом приходится?

— Он всем дедом приходится, — как-то нехотя пояснил лейтенант. — Старики да дети — всем родня: этому меня бабка еще в зыбке учила.

— Странно вы как-то объясняете, — строго заметила Кира Сергеевна. — Мы понимаем, кто сидит перед нами, не беспокойтесь. Никто не забыт, и ничто не забыто.

— Мы каждую смену проводим торжественную линейку у обелиска павшим, — поспешно пояснила вожатая. — Возлагаем цветы.

— Мероприятие, значит, такое?

— Да, мероприятие! — резко сказал физрук, решив опять защищать женщин. — Не понимаю, почему вы иронизируете над средствами воспитания патриотизма.

— Я, это… Я не иронизирую. — Лейтенант говорил негромко и очень спокойно, и поэтому все в комнате злились. Кроме старого фронтовика. — Цветы, салюты — это все правильно, конечно, только я не о том. Вот вы о мраморе говорили. Мрамор — это хорошо. Чисто всегда. И цветы

класть удобно. А что вот с таким дедом делать, которого еще в мрамор не одели? Который за собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конечно… да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамором? Тем, что помереть не успел?

— Простите, товарищ, даже странно слышать. А льготы инвалидам войны? А почет? Государство заботится…

— Вы, что ли, государство? Я же не о государстве, я о ваших пионерах говорю. И о вас.

— И все-таки! — Кира Сергеевна выразительно постучала по столу карандашом. — И все-таки я настаиваю, чтобы вы изменили формулировку.

— Что изменил? — переспросил участковый.

— Формулировку. Как неправильную, вредную и даже аполитичную, если смотреть в корень.

— Даже? — переспросил милиционер и опять неприятно усмехнулся.

— Не понимаю, чего усмехаетесь? — пожал плечами физрук. — Доказательства есть? Нету. А у нас — есть. Получается, что клевету поддерживаете, а это знаете чем пахнет?

— Плохо пахнет, — согласился лейтенант. — Скоро почувствуете.

Он говорил с горечью, без всяких угроз и наме-

ков, но тем, кому он это говорил, слышалась не горечь, а скрытые угрозы. Им представлялось, что участковый темнит, что-то сознательно недоговаривает, и поэтому они опять замолчали, лихорадочно соображая, какие козыри выкинет противник и чем эти козыри следует бить.

— Конь, он как человек, — неожиданно вклинился старик и опять задвигал ногами. — Он только не говорит, он только понимает. Он меня спас, Кучум звать. Статный такой Кучум, гнедой. Счас, счас.

Инвалид встал и начал суетливо расстегивать пуговицы рубашки. Тяжелый орден, обвиснув, раскачивался на скользкой ткани, а дед, бормоча «счас, счас», все еще возился с пуговицами.

— Он что, раздевается? — шепотом спросила старшая пионервожатая. — Скажите, чтоб перестал.

— Он вам второй орден покажет, — сказал лейтенант. — На спине.

Не совладав со всеми пуговицами, старик стащил рубашку через голову и, не снимая с рук, повернулся. На худой, костлявой спине его под левым плечом был виден бурый полукруглый шрам.

— Это зубы его, зубы, — все еще стоя к ним спи-

ной, говорил дед. — Кучума, значит. Контузило меня на переправе, так в воду оба и упали. Я, это, соображения не имел, а Кучум — вот. Зубами за гимнастерку да вместе с мясом, чтоб покрепше. И выволок. И упал сам. Осколком у него ребра выломало, и кишки за ним волочились.

— Какая гадость, — сказала вожатая, став пунцовой, как галстук. — Кира Сергеевна, что же это такое? Это же издевательство какое-то, Кира Сергеевна.

— Одевайся, дед, — вздохнул лейтенант, и опять никто не почувствовал его боли и заботы: все своей боли боялись. — Простудишься, так тебя никакой Кучум больше не вытащит.

— Ах, коник был, ах, коник! — Старик надел рубаху и повернулся, застегиваясь. — Мало живут они, вот беда. Все никак до добра дожить не могут. Не успевают.

Бормоча, он заталкивал рубаху в мятые штаны, улыбался, а по морщинистому, покрытому седой щетиной лицу текли слезы. Желтые, безостановочные, лошадиные какие-то.

— Одевайся, дедушка, — тихо сказал милиционер. — Дай я тебе пуговку застегну.

Он стал помогать, а инвалид благодарно уткнулся ему в плечо. Потерся и вздохнул, будто старая,

усталая лошадь, так и не дожившая до добра.

— Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне три рубля…

— Родственник! — вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна и резко хлопнула ладонью по столу. — Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника. С какой целью? Под фонарем ищете, — чтобы виноватого белить?

— Конечно же это ваш собственный дед! — тотчас же подхватил физрук. — Это ж видно. Невооруженным глазом, как говорится.

— Мой дед в братской под Харьковом лежит, — сказал участковый. — А это не мой, это колхозный дедушка. А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Колхоз их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, передал.

— Насчет «угнали», как вы употребили, доказать еще придется, — внушительно отметила Кира Сергеевна. — Я не позволю чернить вверенный мне детский коллектив. Можете официально заводить «дело», можете, а сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами.

— Вот, значит, и познакомились, — невесело усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог старику подняться. — Пойдем, дед, пойдем.

— Дал бы три рубля…

— Не дам! — отрезал участковый и обернулся к начальнице. — Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони были списаны с колхозного баланса, и иск предъявлять некому. Ничейные были кони.

— Ах, кони, коники, — завздыхал старик. — Теперь машины ласкают, а коней бьют. И никак им теперь не дожить до жизни своей.

— Позвольте. — Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. — Если нет никакого «дела», так зачем же… — Она медленно встала, вырастая над собственным столом. — Как вы смели? Это недостойное подозрение, это… У меня нет слов, но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника, слышите? Немедленно.

— Ставьте в известность, — согласился лейтенант. — А потом пошлите кого-нибудь конские трупы зарыть. Они за оврагом, в роще.

— Ах, кони, коники! — опять заныл старик, и

слезы капали на нейлоновую рубашку.

— Они, значит, что… умерли? — шепотом спросила вожатая.

— Пали, — строго поправил лейтенант, глядя в доселе такие безмятежные глаза. — От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами уехали. По домам. Кони все объели, до чего дотянуться смогли: листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко, так что и пасть им не удалось: висят там на уздечках. — Он достал из кармана несколько фотографий, положил на стол. — Туристы мне завезли. А я — вам. На память.

Женщины и физрук с ужасом смотрели на оскаленные, задранные к небу мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Корявый дрожащий палец влез в поле их зрения, ласково провел по фотографиям.

— Вот он, Сивый. Старый меринок был, хворый, а глянь, только справа все обглодал. А почему? А потому, что слева Пулька была привязана, древняя такая кобылка. Так он ей оставлял. Кони, они жалеть умеют…

— Пойдем, дед! — звенящим голосом выкрикнул лейтенант. — Что ты им объясняешь?!

Хлопнула дверь, затихло старческое бормо-

танье, скрип милицейских сапог, а они все еще никак не могли оторвать глаз от облепленных мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевую бумагу, Кира Сергеевна очнулась.

— Этих, — она потыкала в фотографии, — спрятать… то есть закопать поскорее, нечего зря детей травмировать. — Порылась в сумочке, достала десятку, протянула, не глядя, физруку. — Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтоб милиционер не заметил, а то… И намекните помягче, чтоб не болтал понапрасну.

— Не беспокойтесь, Кира Сергеевна, — заверил физрук и поспешно вышел.

— Я тоже пойду, — не поднимая головы, сказала вожатая. — Можно?

— Да, конечно, конечно.

Кира Сергеевна дождалась, когда затихнут шаги, прошла в личный туалет, заперлась там, изорвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду.

А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавкорпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил две бутылки водки и выпил их в зимней ко-

нюшне, где до сей поры так замечательно пахло лошадьми.

Вы чье, старичье?

1

Жизнь Касьяна Нефедовича Глушкова — естественно, в порядке исключения — развивалась не по спирали, а кольцеобразно, и старость аккурат совпала с детством. Не по уму-разуму, а по странному присутствию беспомощной наивности, которая при почтенной седине выглядела вполне замшело. Одним словом, каким бы заветным то слово ни было, человека не выразить. Однако, если представить некое сито, ссыпать в это сито все особенности, черты и черточки характера да потрясти, то в сите оказалась бы наиболее крупная частица, и применительно к деду Глушкову частица эта определилась бы, пожалуй, так: созерцатель. Мы как-то утратили такое понятие в быстротекущей жизни нашей, а потому хотелось бы напомнить, что Владимир Даль в «Толковом словаре» определяет особенность подобных людей как способность обращать внутрь, в себя, всю деятельность, противополагая им эпитеты «дельный», «деловой», «жизненный», «практический» и тому подобные. Касьян Нефедович был вполне

жизненным, но отнюдь не деловым, а тем паче не практическим. Обладая зловещей способностью обращать какую бы то ни было деятельность внутрь самого себя, он не только не думал о том, над чем в данный момент трудятся его руки, но и не знал, куда несут его ноги. Сказать, что при этом он размышлял над чем-то, значило бы возводить на него напраслину: он решительно ни о чем не размышлял — он созерцал. Не разглядывал что-то конкретное, не слушал нечто одному ему ведомое, а всем существом своим воспринимал и увиденное, и услышанное, и ощущаемое. Он впитывал в себя мир целиком, не пытаясь анализировать данность или делать из нее какие-то выводы. Когда работал в колхозе, лошадь шла куда ей заблагорассудится; когда низведен был на должность пастуха, скотина блукала по окрестностям; и даже в армии, в которую был призван в угрюмом сорок втором, не утратил способности впадать в непонятную прострацию при самых жесточайших бомбежках.

— Спишь, Глушков?

А он не спал и не собирался спать: он не мог иначе. Просто не мог, как иные до седых волос не могут удивиться стихам или рассмеяться во все горло. Но поскольку ни он сам, ни какие бы то ни

было медицинские светила феномена Касьяна Глушкова объяснить не смогли, началась чехарда, и Глушков за полста трудовых лет сменил несметное количество профессий, должностей, служб и работ. Упомнить их все было немыслимо, никакая трудовая книжка их не вмещала, справок Глушков отродясь нигде не брал, а если давали, то либо терял, либо сами эти справки куда-то девались совсем уж непостижимым образом. И кончилось тем, что по достижении им серьезного возраста последнее его руководство с великим облегчением отправило деда на заслуженный отдых с пенсией, цифра которой полностью отражала всю его служебную деятельность, но в обратной пропорции. Однако Касьяна Нефедовича пропорция эта не смутила и потому, что к деньгам он относился с тем же созерцательным спокойствием, и потому, что был крайне нетребователен к благам житейским, и потому, наконец, что в то время еще имел супругу, а значит, был сыт, одет и обут.

Женщины вообще питали к Глушкову слабость. Они всячески привечали его, жалели и подкармливали без всяких задних мыслей, как жалели бы и привечали ребенка. Инстинктивно чувствуя белизну его души, они безошибочно угадывали в

нем и отсутствие целеустремленности, а потому и не пылали страстью. И только его родная и единственная Евдокия Кондратьевна любила его целиком, каков он есть. Она никогда не корила его, не досаждала поучениями, все понимала, все принимала, одна волокла семейный воз и в конце концов надорвалась.

— К Зинке поезжай, — через силу сказала она. — Пропадешь.

А он глядел в ее одутловатое, синюшное лицо, покорно кивал, моргал выцветшими глазками и кулаком утирал слезы. Ему было больно, страшно и пусто, но даже сейчас, слушая последний шепот последнего любящего его человека, он — созерцал. Созерцал смерть во всем ее жутком обличье, а не прощался с той, кого забирала она из его неуютной, нелепой, всеми ветрами продутой жизни.

— Пропадешь…

Таким было прощальное слово Евдокии Кондратьевны, и Касьян Нефедович уловил не смысл его, а — место: последнее, как завет. И согласно завету написал Зинке бестолковое письмо. Писал он его на почте, куда пришел прямехонько с кладбища. Тыкал после каждой буквы ученической ручкой в чернильницу, шмыгал носом и очень

боялся, что почтовые девушки, известные своей непреклонностью, обязательно выгонят его, не дав дописать, потому что на часах было уже без десяти шесть, дверь на запоре, а работники — за подсчетом выручки. Поэтому он, шесть раз написав, что «покойная маменька ваша Евдокия Кондратьевна перед смертью кланяться велела», так ни разу и не помянул, что ему-то самому велено не просто написать Зинке, а перебираться к ней доживать свой затянувшийся век.

Правда, написал он так не только со спеху, но и потому, что видел эту самую Зинку всего раз в жизни. Пять лет назад, когда его единственный сын Виктор привез ее на показ родителям. Привез вечером, увез утром — вот и все знакомство, и Касьян Нефедович никак не мог вспомнить ее лица. А сын Виктор через полгода после смотрин в непотребном виде попал под грузовик, и осталась одна ниточка между Зинкой и Касьяном Нефедовичем: Славик. Викторов сын и Касьянов внук.

Тут дверь хлопнула, и кто-то за его спиной встал. Дед испугался, что гнать начнут, еще ниже пригнулся и еще тише пером заскрипел. А уютный женский голос сказал:

— Царствие Дусе небесное. Может, ко мне переедешь? Дом большой, а нас трое всего: я, дочка да

внучка. А где трое, там и четверо.

Оглянулся Глушков: Анна Семеновна позади, Нюра. Соседка и давняя знакомая: босиком вместе бегали. За дочкой, видно, зашла: дочка у нее на телеграфе работала.

— Вот Зинке пишу. Велела.

— Поезжай, — вздохнула Нюра. — А не уживешься, обо мне вспомни.

— Мать! — крикнули. — Ну чего он там? Закрываем!

Написал старик адрес, клей слезами размазал, опустил письмо в ящик и пошел в опустевший дом, не зная еще, что через десять дней продаст он его на дрова и отправится за четыреста с лишком верст в город, где жили незнакомая Зинка и ни разу не виданный им внучок Славик.

Багаж был невелик: старый чемодан со стариковским нарядом и корзинка с гостинцами. Зинке Касьян Нефедович вез материи на платье да старушечью теплую шаль, которые обнаружил в сундуке под совсем уж никчемным тряпьем, а Славику — зеленого надувного крокодила почти что в натуральную величину. Поверх подарков лежали два десятка сваренных вкрутую яиц и три ощипанных курицы — единственная стариковская живность, зарезанная недрогнувшей

рукой вовремя похмелившегося бригадира. Вещи стояли под лавкой, поезд скрежетал и раскачивался, попутчики дремали, а Касьян Нефедович созерцал. Созерцал путешествие, купе жесткого вагона, темноту за окном и собственную жизнь, что катилась сейчас — он чувствовал это — по последнему этапу к последнему прибежищу.

2

— Касьяшка! Касьяш, за гумнами большака расстреливают!

Рябой мужичонка в драной рубахе и холщовых подштанниках деловито копал могилу. Земля была сухой, неподатливой, а он рыл и рыл, оглаживая стенки и подбирая со дна осыпавшиеся комья. Ему было жарко и от солнца, и от старательной этой работы, он взмок, и пот темными кругами полз по рубахе от подмышек к костлявому хребту. А перед ним стояли шестеро солдат, что оставили белые при старосте, сам староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы да ребятишки — вся деревня, словом. И пекло солнце, и копал большак могилу, и было тихо. А потом большак высунулся из могилы — она по грудь ему была — и спросил:

— Может, хватит?

Молчали солдаты, староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы и ребятишки. Вся деревня молчала, потому что никто не знал, хватит или не хватит и сколько вообще земли положено при расстрелянии. И кто должен это решать, тоже еще не знали.

Большак опять покопался, поскреб лопатой, а потом вылез. И сел на свежий бугорок.

— Сильно земля у вас крутая.

Молчала деревня. Большак вытер лицо подолом рубахи, вздохнул:

— Испить ба.

Враз трое молодух из толпы брызнули. Одна — к колодцу, две — по погребам. Пока первая бадьей гремела, две другие уж из погребов вынырнули, и к большаку все три подошли одновременно: с водой, с молоком и с квасом.

— Спасибо, бабоньки, — сказал он и попил всего понемногу. — Вода у вас вкус имеет. Молочко отстоялось, холодненькое. А квасок-то, квасок — аж душа просветлела. Храни вас Христос, бабоньки.

И опять на землю сел, им же нарытую. Глядел на всех светло-голубыми глазами и виновато улыбался.

— От работы вот отрываю вас. Совестно.

— Обождите, — сказал тут отец Поликарп и

шагнул вперед. — Может, никакой ты не большевик, а? Отвечай как на духу.

— Нет, батюшка, я есть большевик, хоть нигде и не записанный. Я слова товарища Ленина народу передаю и так считаю, что землю надо сызнова поделить. Поровну. По едокам, конечно.

— Агитация, — строго сказал староста. — Таких стрелять велено.

— Велено — значит, надо сполнять, — согласился большак. — Где встать-то мне?

— Да погоди ты! — закричал отец Поликарп. — Может, миру покаешься?

— Покайся! — загудели мужики. — А мы постегаем для порядку. Покайся, а? Сделай милость божескую, не вводи во грех.

— Спасибо, мужики, на добром слове, — улыбнулся большак и поклонился миру в пояс. — Только не могу я против совести. Надо бы все наделы по едокам обратно переделить. Поровну. Чтоб всем жизни по ровному ломтю отпущено было, чтоб у ребятишек животы с голодухи не пучило и чтоб бабы наши не старились бы к тридцати своим годкам.

Так сказал большак, и все бабы заплакали, аккуратненько собирая слезы в концы головных платков.

— Агитироваешь — значит, застрелить тебя придется, — вздохнул староста. — Вот морока! Может, самогоночки примешь для облегчения?

— Не могу, ты уж не серчай, — вежливо отказался большак. — У меня с ее голова по утрам болит.

— Так не будет же утра-то! — закричал тут староста. — Не будет, не будет!..

Помолчал большак. Потом улыбнулся, и глаза его светло-голубые тоже улыбнулись. С ним вместе.

— Будет, — сказал. — Обязательно даже будет. Это меня вы застрелите, а утро — нет. Не застрелишь утра-то, мужики вы мои родные! Хоть из тыщи ружей в него стреляй — не застрелишь…

…Может, так, а может, и не так убивали первого большевика в жизни Касьяна Глушкова. Он ведь и тогда не смотрел, а — созерцал и помнил не детали, а ощущения. И ощущений этих было два: большевик смерти не боялся, а Россия казнить не умела.

А поезд летел сквозь ночь и ветер с громом и скрипом, как летела когда-то сорвавшаяся с корней своих сама Россия на перегоне от станции Вчера до станции Завтра. И не было света ни за окном, ни в вагонах, и не было тепла ни там, ни тут, и уже не было прошлого, и еще не виделось

будущее. И только вера в это будущее светила людям и согревала их.

3

— Двадцать два с полтиной — и вся пенсия? — тихо спросила Зинка.

Оказалась она узловатой и безулыбчивой: таких и хмельные мужики за три улицы обходят. Смотрела тускло и так, будто все кругом ее загодя ненавидели, а говорила почти что без голоса. От этого безголосья Касьян Нефедович ежился пуще, чем от ухватов, по опыту зная, что за бабьим тишком такой скрывается грохот, крик и несуразица, какие и штрафная рота не натворит.

— И вся пенсия? — спросила.

Дед Глушков готов был провалиться сквозь все недра земли. Он привык считать, что пенсия — это так, вроде подарка под конец жизни, а цену подарка не спрашивают. Но тут спросили, тихо спросили, и Касьян Нефедович сразу почувствовал себя виноватым и в пенсии, и в одиночестве, и в сиротстве, и в том, что до сей поры не улегся еще на погосте. И сказал:

— Колхозная она.

— Так и колхозникам увеличивали, читала я.

— Оно конечно, увеличивали. Только колхозу-

то боле нету. Он теперь — ферма при совхозе. А совхоз — другого района. А район…

— Ладно, — отрезала. — На кефир хватит. Кефир, он старичкам полезный.

Обрадовался Глушков: кефир так кефир, только б не выгнала. Засуетился, чего-то про район рассказывать принялся, но Зинка сразу ушла к соседям, и пришлось вместо рассказа надувать Славику крокодила. Полкомнаты зверюга заняла.

— Вот и спи на нем, — сказала Зинка, отревевшись у соседей.

Пугала, правда. Время пришло, и тюфячок на пол постелила и подушку с одеялом дала. Свернулся дед в углу за столом, накрылся с головой и храпанул в свое удовольствие, пока Зинка ногой не ткнула.

— Выгоню. Захрапишь еще — сразу выгоню.

С той поры пришлось Касьяну Нефедовичу со страхом спать вместо храпа. Однако и тут приспособился: при первом звуке своем просыпаться выучился раньше Зинки и глушить звук подушкой. И все пошло гладко, и все пошло мирно; под горку пошло вместе с последними годочками. До одного субботнего вечера и разговора с Зинкой и соседом Арнольдом Ермиловичем. Этот Арнольд

Ермилович вместе с женой занимал меньшую комнату в их двухкомнатной квартире и ожидал прибавления в семействе. Он работал на ремонтном заводе, где и Зинка, но имел образование и стремление к справедливости.

— Подсобницей в магазин предлагают, — сказала Зинка. — Деньги заработаю, квартиру кооперативную куплю — так и замуж возьмут.

Дед играл с крокодилом и Славиком, когда Зинка вошла с соседом. Сосед курил и пока молчал, а зачем пришел — было непонятно.

— Хорошее дело, — сказал Касьян Нефедович.

— Шестьсот рублей просят за оформление.

Глушков молчал, хотя уже что-то почувствовал. Неладное что-то.

— Без денег магазин не оформит, дураков теперь нету, — продолжала Зинка. — А мне замуж надо.

— Замуж — дело справедливое, — поддержал сосед. — Пока молода.

— Шестьсот рублей, — вздохнула Зинка. — Нельзя такое место упускать, я с него через год кооператив куплю.

Дед понимал, что жмут они на него, но не понимал зачем. Отродясь он таких денег и в глаза не видывал и считал после сотни сразу «много».

— Так где же? Нету же.

— Есть, — тихо не согласился Арнольд Ермилович и ногтем сбросил пепел с сигареты. — Есть у вас, товарищ Глушков, такие деньги.

— Так как? — растерялся Касьян Нефедович. — Так нету ведь.

— Есть, — повторил сосед. — Вам как фронтовику пенсия положена, а вы ее не оформляли. Вот оформите — и деньги выплатят по полной справедливости.

— Так по справедливости я и не должен, — забормотал дед, для убедительности прижимая к тощей груди сухонький кулачок. — По справедливости я же в обозе, я же и стрелять-то не стрелял, и в меня разве что бомбы, да если из пушек. Это же тем положено, кто кровь свою отдавал, которые с врагом сражались, когда я пшенный концентрат возил. Это же им…

— Все, — уронила Зинка. — Готовь бумаги, сама тебя в военкомат отведу. Там разберутся, что тебе положено.

Все было решено, и напрасно дед Глушков вякал несогласия. Зинка с соседом проверили все его бумажки, раздобыли, чего недоставало, и Зинка лично отконвоировала Касьяна Нефедовича в военкомат. Шел он в него как на казнь, потому

что твердо был убежден, что не имеет права ни на какие деньги, и все в нем бунтовало. И он не знал, как от Зинки отвязаться и что вообще делать.

— На второй этаж вам, товарищ фронтовик, — сказал красивый дежурный лейтенант. — А вы тут обождите, гражданочка.

Дед поднялся на второй этаж, нашел мужской туалет и два часа просидел на толчке. Потом спустился к терпеливой Зинке и, запинаясь, объявил, что ничего ему не положено. Зинка промолчала и пошла, не оглядываясь, а дома устроила скандал с криком, слезами и одной разбитой чашкой. И старик не просто все перетерпел, а упрямо талдычил, что тем, кто пшено возил, нечего и зариться на государственные рубли, что никакие они не фронтовики, а участники и что участникам никаких благ не полагается. Он проговаривал это тихо, но отчетливо и очень упрямо, хотя ему было так страшно, что тошнило под ложечкой и ноги вот-вот могли, свободное дело, в коленях обломиться. Не Зинки он боялся, конечно, не криков ее, не разбитой чашки (она все равно треснутая была, чашка эта, и чай из нее выливался), а боялся услышать, чтоб «вон ступал, откуда приехал». Одиночества дед Глушков очень боялся и бесприютности грядущей, но

страху наперекор свое бормотал — и победил. Поплакала Зинка, покричала, дармоедом пять раз обозвала да и махнула рукой и на него, и на денежную должность при магазине, за которую просили немыслимые шестьсот рублей.

Помаленьку все и образовалось… По утрам пил старик свой кефир, отводил Славика в садик и начинал хождения из одной очереди в другую. Тащил домой, что выстоял, варил себе супчику или — если доставал, конечно, — творог ел с молоком, дремал немного и топал за Славиком. А там и Зинка с работы приходила, и ужинали они уже втроем. И все шло хорошо, и занятие было, и пенсии вроде хватало, и даже Зинка иногда улыбалась. И старик написал в деревню Анне Семеновне письмо, как все замечательно устроилось и что живет он со своей Зинкой душа в душу и очень рад, что в город перебрался. Все было хорошо, только сосед Арнольд Ермилович все чаще намекал, что не худо было бы Зинке выйти замуж и что для этого непременно надо ей построить собственную кооперативную квартиру. Конечно, свою он цель преследовал: жена прибавления ждала, а метраж не увеличивался и мог увеличиться только за счет присоединения Зинкиной комнаты. Так Арнольду Ермиловичу в

жилуправлении намекнули (свой человек сидел, земляк), и так он действовал в соответствии с этим намеком.

— Завербовалась я, — объявила в конце концов Зинка. — На Крайний Север завербовалась: там полярные платят и еще я, может, судомойкой устроюсь или в магазин какой. И будет у меня квартира. Но покуда одна я туда поеду, а вы тут со Славиком живите дружно.

Заныло сердце у Касьяна Нефедовича, в предчувствии, да так, что ночь он не спал. А утром решился:

— Может, вместе поедем? Вместе оно…

— Чего? — спросила. — Молчи уж. Концентрат.

Через месяц и впрямь уехала, оставив деду денег, круп да картошки и расписание, когда Славика спать укладывать, когда мыть, когда в садик вести. Проплакала вечер, посидела перед дорогой, обцеловала сына — и канула.

Грешным делом дед Глушков думал, что навсегда она канула. Что подбросила ему внучонка, а сама за новым мужем припустила в края, бабьем небогатые. Но — ошибся: через полмесяца письмо пришло. Зинка благополучно при заполярном магазине устроилась, но живет в общежитии, а потому и забрать их пока не может. Вот сдадут

дом к майским праздникам…

Ах, как Касьян Нефедович этому письму обрадовался! Не забыла, значит, помнит, думает о них, а что пока нет возможности, так это не беда. Вот сдадут дом…

Только вместо майских радостей вышло огорчение. Приехал мужик с того дальнего Севера, привез немного денег и письмо. Отдал все деду и, пока тот к почерку присматривался, сказал Славику:

— Собирайся, пацан. На самолете с тобой полетим. К мамке.

— А я? — спросил Касьян Нефедович и обмер.

— А про тебя, дед, мне не сказано. Какое в письме разъяснение?

В письме разъяснение имелось: не сдали строители дом к майским и отложилось все до ноябрьских. Но насчет Славика Зинка в общежитии договорилась, а деду Глушкову предлагалось ждать. То ли вызова, то ли когда строители дом сдадут, то ли смерти собственной. И ждать в полном одиночестве, поскольку увез тот полярный мужик внучонка Славика прямо на следующий день.

4

Говорят, жизнь потому дорожает, что не относится она к предметам первой необходимости. Так оно, может, и есть, а только привыкаем мы к своей стариковской жизни, как к старому пиджаку: немодно, да уютно, тепло и расстаться жаль. А если бы не привычка — гори она синим пламенем, такая жизнь. Но Касьян Глушков так не думал и на соседнем пустыре обнаружил вскорости прекрасную почву для оптимизма.

Почва эта возникла на основе всенародной борьбы за всенародную трезвость, в связи с чем в городе позакрывали все точки, где человеку с нормальной зарплатой можно было бы хоть сидя, хоть стоя выпить свои боевые сто граммов. Тогда и начались поллитры на троих с приемом на воздухе и рукавом вместо закуски, и опустошенные бутылки лихо летели в пыльную траву пустыря. Вот их-то и приловчился выискивать обреченный на непонятное ожидание Касьян Нефедович.

Наиболее урожайными были два периода: послеобеденный и послерабочий. Послеобеденное время давало меньше водочных, но иногда подкидывало кефирно-молочные, редкие на

запьянцовском том пустыре, как матерые боровики. Вечерняя страда аккуратно поставляла винно-водочную тару, и дед ходил за нею с кошелкой, как по грибы. А потом сдавал в магазин по гривеннику с горлышка, поскольку продавщице тоже жить надо. Дед воспринимал это со свойственной созерцателям праздничной бездумностью, но иногда удивлялся, почему же он раньше-то никогда ничего не обнаруживал, кроме битой посуды? Тут было нечто мистическое, но дед Глушков твердо знал, что бога нет. И оказался прав абсолютно: причина в конце концов обрела материальную структуру и встретила деда такими словами:

— Так вот какой вредный гад колоски с моего поля скусывает!

На глыбе под строительный шумок слитого на пустыре асфальта, о которую несознательные били посуду, сидел кряжистый старикан об одной руке. Старикан курил папиросу и ругался сквернымi словами.

— Вот гады, до чего разложились! Поболеть не дадут: сразу скок на твою делянку, понял — нет? С кошелкой наладился, гад ползучий, паскуда недокулаченная, вредитель недострелянный!

С этими словами неизвестный старикан цап-

нул своей единственной, а потому особо длинной и особо цепкой рукой личную дедову кошелку и рванул к себе. Дед ее не отдал и молча тянул на себя, а старикан с руганью — на себя. Старикан был покрепче, мотал деда как хотел, но рука у него все же была только одна, а у деда две, и в сумме получался баланс. Ругательный старикан сообразил это, перехватил деда за грудки и начал его вертеть.

— Сейчас я тебе покажу, как на чужом гектаре воровать! — орал он, приправляя каждое слово перцем, который придется опустить. — Сейчас бить тебя буду, понял — нет?

Касьян Нефедович сперва испугался, но старикану бить было особо нечем. Единственной своей рукой он держал его за грудки, а если бы отпустил, дед задал бы стрекача. Отпускать было нельзя, и вредный старикан то пытался боднуть Касьяна Нефедовича, то принимался лягаться, но дед Глушков реагировал на эти выпады как профессиональный боксер наилегчайшего веса, и все попытки шли впустую. Попрыгав, старики уморились и сели рядом, тяжко отдуваясь.

— Ладно, ставь бутылку, — смилостивился старикан. — Может, и тебе глоток дам.

По причине отсутствия в груди воздуха дед

Глушков только потряс пальцем. Но потряс выразительно.

— Рублевкой отделаться хочешь?

Дед кивнул.

— Ну, хрен с тобой, — неожиданно согласился законный владелец золотой жилы. — Я тебя опосля пристукну. А пока до плодовыгодного доплачу добровольно. Понял — нет?

За плодовыгодным и познакомились, а познакомившись, разговорились, а разговорившись, расстались друзьями. И кто знает, как повернулась бы дедова судьбина, если б не эта встреча, не смертный бой за дивиденды и не братский пир после этого боя.

5

Завсегдатаи пустыря звали Павла Егоровича Сидоренко Багорычем. Кличка эта возникла отнюдь не из-за сходства единственной руки старикана Сидоренко со всамделишным багром: просто вечно куда-то поспешающий Сидоренко на вопрос, как его зовут, отвечал: «Пал Егорыч». Это «Палегорыч» естественно превратилось в «Палгорыч», а затем окончательно упростилось до Багорыча. В прозвище было много добродушного благорасположения к шумному деду Сидоренко, которого

знали все, кроме застенчивого и нерасторопного Касьяна Нефедовича.

Павел Егорович Сидоренко встретил революцию босоногим парнишкой, как и Касьян Нефедович, но вынес из того обжигающего времени не удивление, а митинг. Он яростно и громогласно бичевал все, что, по его разумению, мешало мировой революции или могло бы когда-нибудь помешать. Исходя из этого, он воевал с попами и лавочниками, гнилыми интеллигентами и бывшими меньшевиками, с троцкистами и бухаринцами, перерожденцами и кулаками. Кипятился он не по природной злобности, а по природной кипучести и свойственному лично ему пониманию текущего момента. С возрастом немного притих, женился, сбежал от жены подальше, вступил там в колхоз и вскоре ударной работой прогремел на весь Союз. И в страду тридцать девятого, подавая снопы в молотилку, угодил левой рукой в самый ее зев.

Потеря руки тяжко ударила по Пал Егорычу, но запасы кипучести были еще достаточны, и воспрял он быстро. Выучился управляться одной правой, по-прежнему числился в передовых и действительно работал на совесть. И все было бы славно, да подкатил сорок первый — и вско-

ре Сидоренко остался в колхозе единственным мужиком. Олицетворением силы, порядка, справедливости, смысла жизни, завтрашней сытости и завтрашней победы. Он стал символом, но для символа оказался слишком прозаичным и настырным. Это привело к тому, что хотя он и не до конца развалил колхоз, зато развалил не одну семью. Пока шла война, его беспутство кое-как терпели, но стоило вернуться двоим не окончательно искалеченным мужикам, как Сидоренко попросили с должности. Район утвердил нового председателя, вкатил Пал Егорычу строгача и назначил заведовать горюче-смазочными материалами в то самое горючее время, когда среди хозяйственников вдруг возникла мода работать по принципу «ты — мне, я — тебе». И на этих горючих материалах и в том горючем времени Пал Егорыч Сидоренко погорел окончательно и бесповоротно. Притишел, ничего уже больше не требовал и добровольно подался на пенсию по старой своей инвалидности.

Поначалу ему хватало этого установленного еще до войны пособия. Но вскоре старикан Сидоренко с удивлением обнаружил ножницы в собственном бюджете, поскольку расход рос сам собою, как чирей на шее. Пал Егорыч помудрил,

то складывая, то вычитая, но жизнь стремительно взмывала в небеса, а пенсия по-прежнему оставалась на земле. Багорыч покрутился еще немного, а потом махнул рукой на самостоятельность и ринулся разыскивать давно потерянных родственников. Многих он перебрал и по расчету, и по несогласию, и по вздорности характера. С родным сыном люто переругался, объявил сгоряча, что едет в Сибирь, но вместо Сибири оказался у последней своей внучки Валентины. Устроился сторожем да и примолк, потому что Валентина имела характер, ценила независимость и любила своего с дымом, чадом и треском догоравшего деда. И он, почувствовав то, от чего уж отвык, привязался к своей Валентине, как никогда и ни к кому не привязывался. Как привязывается бездомная собака, после долгих мытарств обретшая конуру, миску супа и хозяина.

Так начался последний перегон его крикливой, куда более чужими, чем своими, слезами омытой жизни. От старого остался в нем кураж на людях, бранчливость, бестолковая суматошность да тяга к выпивке. Валентине старался не докучать, помогал чем мог, ни пенсионных, ни сторожевых своих денег на бутылку не тратил. Завел на пустыре знакомства, носил в кармане

стакан, научился разливать «по булькам», чем и зарабатывал себе на глоток. Похабничал, ерничал, суетился и окончательно утвердил за собою прозвище Багорыч. И катилась его жизнь как по рельсам, да сошлись эти рельсы с путем Касьяна Нефедовича Глушкова. Сошелся Шустряк с Созерцателем, и не только не загасили они друг друга, а сложились в новую силу, равную двум стариковским мощностям.

6

Старикан Пал Егорыч обладал двумя важнейшими житейскими преимуществами: работой и жилплощадью у родной внучки. Работа не так потрясла деда Глушкова, как персональная внучка, которой ругательный Сидоренко очень даже гордился.

— В меня! — орал он на пустыре, гулко тюкая кулаком в собственную грудь. — Плодовыгодное допьем — и покажу. Вся как есть, и ндравом и характером.

— Может, потом лучше? — робко сомневался Касьян Нефедович, помня неулыбчивую свою Зинку. — Винцом от нас это… Унюхает.

— Кто унюхает? Валька унюхает? — презрительно щурился Багорыч. — Сказано, в меня она.

Вся в меня, понял — нет?

Тут старикан Сидоренко сильно бахвалился, потому что внучка его была, как говорится, ни в мать ни в отца, а в проезжего молодца. Кроме решительного характера природа наделила ее свойством с первого взгляда нравиться мужикам, однако не настолько, чтобы тут же предлагать руку. Несколько раз основательно споткнувшись об эту странную преграду, Валентина отревелась и приняла данность философски. Упрятав надежду выйти замуж в дальние закрома души, никакими условностями себя более не связывала, решив брать от жизни то, что сумеет. Скандалы, которые временами сопровождали очередные Валькины похождения, были шумны и энергичны, и если судить по ним, то она и впрямь удалась в своего деда Сидоренко. Но скандалы проходили, а Валентина ни на атом не теряла своей веселой и щедрой доброты.

Квартира у нее хоть и отдельная была, но однокомнатная, малогабаритная. Старикан Сидоренко спал здесь же на раскладушке — если не дежурил, конечно, — и ночевать с возлюбленным было неуютно. А потому, втроем отужинав, Валентина заводила будильник с расчетом, чтобы через два часа зазвонил, и командовала:

— Гулять, дед! Время усек?

— Усек, — подтверждал дед, клал будильник в карман и сматывался.

Дед сторожил свой склад с восьми вечера до восьми утра раз в трое суток и уходил в ночные прогулки тогда, когда он, понятное дело, торчал дома. Но Валентина его расписание в голову не брала, сообразуясь с собственными желаниями. И коли уж пожелала, то никуда желание свое не откладывала, а отправляла деда на улицу, снабдив будильником.

Не всегда, правда. В непогоду — в дождь там, мороз или в какую еще мерзость — жалела. Ставила будильник перед дедом на кухне и давала книгу:

— Читать будешь, покуда не зазвенит.

Книгу одну и ту же давала, «Автоматизация ликвидации отходов» называется. И старикан настолько Вальку свою любил, настолько радовался, что хорошо ей, что счастлива она хоть два часа этих, что осилил-таки книжку. Все теперь про ликвидацию знал. А случайного знакомца, с которым сперва подрался, а потом бутылку распил, Сидоренко не потому приглашал, что дед ему понравился, а потому, что очень уж похвастаться внучкой хотел. Похвастаться перед бобылем брошенным и тем самым возвыситься хотя бы

над ним. Над маленьким, смирным созерцателем Касьяном Нефедовичем Глушковым.

— Вся в меня внучка, понял — нет? Вот сам поглядишь.

Поглядеть деду Глушкову очень хотелось, но человеком он был застенчивым, а потому долго отказывался. Отказывался и боялся, что крикливый Сидоренко согласится и не покажет ему своей райской обители из отдельной квартиры, личной внучки и родственного согласия. Но Багорыч и сам горел нетерпеливым желанием продемонстрировать собственную жизнь, и они по-зряшному препирались на том пустыре. Потом поладили, купили в складчину еще одну бутылку плодово-ягодного для семейного ужина и пошли. И чем ближе подходили к дому, тем все меньше и тише бахвалился Пал Егорыч, а когда вышли на последнюю прямую, то и вовсе замолчал. Но дед Глушков созерцал собственные сомнения, а потому привычно не заметил сомнений нового приятеля.

А старикан Сидоренко примолк по той причине, что начал подсчитывать, когда же он в последний раз два часа гулял по улицам. Выходило, что давно, а это означало, что Валентина вполне могла сегодня испортить задуманную

им демонстрацию уюта и согласия. И старик Сидоренко впервые в жизни ругал про себя свою внучку и с каждым шагом мрачнел все больше.

А Касьян Нефедович ничего не замечал. Он радовался, что его в кои веки пригласили в дом, где есть женщина, а значит, есть уют, тепло, внимание — и ужин. Он так стосковался по настоящему ужину на своих кефирах, что от одного только представления его уже обдавало жаром, а в животе урчало и сладко посасывало.

Вот с какими разными мыслями приближались они к дому, где жил Пал Егорыч с законной внучкой своей Валентиной. Один весь в жару пылал от мысли, что внученька на порог укажет, другой в таком же жару — от ужина, который могли приготовить только женские руки. И потому Глушков улыбался, а Сидоренко мрачнел. Мрачнел, мрачнел, а возле самого подъезда брякнул:

— Доставай плодовыгодное.

— Это зачем же? — удивился Касьян Нефедович: в его кошелке бутылка перекатывалась.

— А затем, что тут выпьем — и по домам. Отменяю знакомство.

Загрустил дед Глушков. Уж очень ему хотелось тепла семейного и ужина, женскими руками сготовленного и на стол поданного. Загрустил,

но виду не показал. Достал бутылку, улыбнулся понимающе:

— Врешь, стало быть.

— Чего? — насторожился Багорыч.

— А того, что нету у тебя никакой внучки. Была бы — показал. Похвастался бы.

— Ах нету? — взревел старикан от пронзительной этой обиды. — Нету, значит? Ах ты, ах… Держи бутылку. Держи, кому говорю! И за мной шагай. Третий этаж, квартира тридцать восемь…

7

— Славный старичок! — улыбнулась Валентина. — Ты чей будешь?

— Ничей, — хмуро пояснил Багорыч. — Бросили его.

— Бросили, значит, — вздохнула Валентина и лысину Касьяна Нефедовича погладила.

Дед Глушков чуть слезу удержал. Давно, ох как давно никто ему слова ласкового не говорил (сосед Арнольд Ермилович, к примеру, по утрам так здоровался: «Ну, дед, ты не помер еще? Давай в ту степь отчаливай, нам жилплощадь нужна»), а уж о том, чтоб приласкал кто, так об этом и мечтать ему было заказано. А тут и слова добрые сказали, и по голове погладили, и накормили, и за столом

кусочек помягче подкладывали. И потому он все время улыбался, чтобы не заплакать.

— Солнечный ты какой-то, — удивилась Валентина. — Давай я тебя дедуней буду звать, а своего законного — дедом.

— Давай, пожалуйста, — прошептал дедуня и рукавом прикрылся, будто пот утирал.

А Валька ему картошку собственной вилкой растолкла, молока подлила, перемешала.

— Ешь, дедуня. Рубашки свои завтра принесешь, я постираю. Ты, дед, проследи, чтоб все исполнил.

— Бу сделано, внучка! — гаркнул Сидоренко и под столом дедуню Глушкова лягнул: а что, мол, я тебе говорил? У кого еще такая внучка найдется? А?.. Не слышу, граждане!

Вот с того вечера и заскребла деда Глушкова думка: как бы что хорошее Валечке сделать (про себя он ее уже иначе и не называл). Ничего придумать не мог и решил по рублю каждый месяц откладывать. Коли до этого он не загнулся, так и теперь не пропадет, так ведь? А через год Валечке подарок сделает за целых двенадцать рублей.

Теперь уж редко кто помнит, что старичье — самый благодарный народ на свете. Погладь их мимоходом, слово ласковое скажи — и они, как

псы, за тобою ходить будут, у порога от любви и нежности сдохнут. Забыли мы в суетливой ежедневности и о ласке, и о благодарности, и о самих стариках. У порога, говорите, от любви и нежности сдохнут? Так они же все равно сдох… Ну да, это самое, а отчего — вскрытие покажет. Вот так-то, уважаемый автор, думайте, что пишете. Какое нынче-то у нас тысячелетье на дворе?

Но, однако, продолжим эту правдивейшую из историй. Остановка нужна, чтобы было от чего шаги отсчитывать; до этого места Касьян Нефедович Глушков брел один, а отсюда уже не в горьком одиночестве. Теперь у него появился верный друг — ругательный старикан Сидоренко — и Валечка. И если до этого жизнь его плелась кособоко, ногу за ногу цепляя, то теперь засеменила бодрой стариковской рысцой.

Коль чем дорожишь, так то и бережешь, и дед Глушков берег те минуты, что мог провести в семье Багорыча. Пуще всего на свете, пуще кондрашки и лютой смерти в одиночестве боялся он теперь потерять Валькину ласку и сидоренковскую дружбу, а потому и не решался часто судьбу испытывать. Тем более что был он созерцателем, а значит, обладал прекрасной способностью упиваться воспоминаниями. И, проведя вечер с

Валечкой, поев из ее рук, ощутив тепло и заботу, шесть дней об этом со слезами вспоминал, часы считая, когда опять пойдет в гости. И вскоре как-то само собой получилось, что днем счастья для него стала среда. И Багорыч с этой средой согласился, и Валентина в этот вечер ужин на троих готовила.

Но тут начались некоторые неожиданности: что-то в том городе стряслось с молоком. То ли недодоили, то ли недохранили, то ли недовезли. Мелочь, конечно, но деда Глушкова эта самая мелочь, прошу прощения, ударила под дых, поскольку напрямую была связана с творогом и кефиром.

— Сквозняк, — сказал Багорыч, великий дока по сельскохозяйственной части. — Раньше погода была, а теперь один климат. Понял — нет?

Столь глубоко в науку дед Глушков отродясь не заглядывал, но спросил все же насчет молока. Мол, климат климатом, а…

— Корма! — с невероятным презрением уточнил Багорыч.

Несмотря на всю тихость, Касьян Нефедович обладал неким шкворнем, который всю жизнь не давал ему согнуться. Шкворень этот срабатывал безотказно, когда кто-либо покушался на душу

деда Глушкова, и тогда пришибленный Касьян Нефедович вдруг становился упрямым и несговорчивым и поделать с ним уже ничего было нельзя. Хоть стреляй, хоть жги каленым железом, хоть живым в землю закапывай — Глушков все едино будет стоять на своем. В этом смысле он был полной противоположностью новому другу, которого жизнь выучила соглашаться именно тогда, когда этого согласия ожидало начальство, хотя во всех прочих случаях Багорыч был криклив, настырен и упрям.

Деды сидели на пустыре, греясь на робком солнышке. По календарю числилось лето, но погоды не было, а был климат, как утверждал старикан Сидоренко.

— Сюда гляди, — сказал он и стал для наглядности рисовать на убитой, заплеванной почве. — Это Земля, понял — нет? А это чего?

— Небо? — сообразил Касьян Нефедович.

— Свод, — важно пояснил Пал Егорыч. — В церкви свод был, в любом строении, только называется крыша. А что будет, если крышу проколупать?

— Дождик, — беззубо улыбнулся дед Глушков.

— Сквозняк! — сердито поправил Сидоренко. — Сквозняк будет, и все тепло утекет к едрене фене.

А что протекет? Ну что протекет?

— Вода?

— Холод протекет, понял? И все выдует. И будет как имеем.

Выложив эту гипотезу, Багорыч утомленно примолк, ожидая, когда она наконец-то дойдет до хилого умишка приятеля. Приятель моргал заморщиненными глазками и ласково улыбался.

— Чего скалишься? — добродушно спросил старикан Сидоренко.

— А творог где?

— Какой творог?

— А которого нет?

— Так сквозняк! — заорал Багорыч. — Дырок много! Выдувает! Климат сплошной, а погоды нет! А коли нет погоды, то и не растет ни хрена, понял — нет?

— Понял, — вздохнул дед Глушков и закручинился: — Надо еще раньше вставать.

Касьян Нефедович и так поднимался рано, а теперь и вовсе выскакивал из дома ни свет ни заря. Опасаясь нарваться на соседа Арнольда Ермиловича (это который каждое утро удивлялся, что дед не помер еще), на кухню не совался, чаю не грел, а жевал хлеб с водою и спешил к магазину. Появлялся он там задолго до открытия, регулярно

оказывался первым в очереди, а вот то, ради чего оказывался, получал далеко не всегда.

— Мне, стало быть…

— Обожди, дед, не до тебя, — объявляла продавщица. — Тут по заявкам. Катя, с тебя три семьдесят, держи. Тоня, это тебе и Марье Петровне. Ириша, принимай, тяжело…

Мимо деда плыли свертки и бутылки, пакеты и сумки. Касьян Нефедович обмирал, как мышь, боясь, что коли взропщет, то и вообще вон вылетит и никогда назад не влетит. И со смирением ждал, когда же кончатся в очереди родные и знакомые родных и знакомых и продавщица спросит совсем иным тоном: «Ну чего тебе? Да не мямли, некогда мне! Кефиру? Ну, дед, ты даешь, не видишь, что ли, не завезли кефиру? Пачку творогу дам, так уж и быть, жалко тебя, беззубого. Следующий!»

8

Каждый день околачиваясь у магазина, Касьян Нефедович так и не поинтересовался, как же зовут продавщицу, хотя с точки зрения полезности стоило поинтересоваться. Тогда бы по утрам приветствовал, шапку с головы скидывая: «Здрасьте, уважаемая. С приветом к вам. А вы все

цветете, все хорошеете покупателям на радость». Бормотал бы чушь собачью, а там, глядишь, на сто тридцать третий раз, может, и признала бы. Может, улыбнулась бы даже: «Что, дед, не помер еще? Ну, молоток дедок! Держи кефир, грызи зефир». Не мог он ей слова сказать не потому, что лично ненавидел, а потому, что ненавидел унижение свое, так и не растеряв гордости.

Как звали новоявленную кормилицу, ближайший друг Сидоренко знал очень даже хорошо, потому как именно ей сбывал порожнюю посуду. Но Касьян Нефедович, во-первых, свою порожнюю сдавал в другую точку, а во-вторых, никому про свое трагическое бескефирное существование не говорил. Ну а в-третьих, время свидания у них было разное: Сидоренко появлялся в магазине, когда всякая торговля кефиром давно уж была окончена и начиналась бойкая продажа совсем иного напитка.

— В ей, проклятой, двадцать восемь бульков! — в ажиотаже кричал Багорыч, потрясая чужой поллитрой. — Хошь, не глядя разолью?

Кому кефир, кому эфир — дело, как говорится, хозяйское, но Касьян Нефедович на недостаточной своей диете начал слабеть, потому как натура его привыкла загружаться чем-либо кало-

рийным. То есть как раз тем, чего не было.

— Что ты, дедуня, совсем у меня с лица свалился, — озабоченно сказала Валентина в очередной дедов приход. — И в ручках косточки светятся. Ну, признавайся, когда последний раз досыта ел?

— Я… Это…

Два слова горло выдавило, а на большее пороху не хватило: заплакал дедуня. Грубо ревел, неэстетично, с завыванием каким-то и все норовил руку Валькину к небритой щеке прижать. Ослабел и в отчаяние впал, решив, что пережил он век свой и никому, решительно никому уже не нужен.

— Эка делов! — заорал дед Сидоренко, выяснив ситуацию. — Так то ж Лидка Павловна! У ей муж артист, а милиционер в полюбовниках. На мотоцикле с коляской. Да я ж ее… Да она ж мне…

— Вот и обеспечь, — строго сказала Валентина. — А про милиционера молчок, понял у меня? Не тревожь женщину.

— Не надо, — бормотал тем временем Касьян Нефедович. — Не надо мне ничего. Ничего уж не надо…

— Нет, надо! — крикнула. — Ишь, разбаловались. Я вас!..

Вопреки обыкновению, Багорыч о Лидке Павловне сказал чистую правду. Был у нее непутевый

муж — спившийся с круга аккордеонист, и доченька, зачатая в хмельном угаре. Лидка Павловна терпела-терпела мужнино пьянство и безделье, больного ребенка и зануду свекровь да и позволила себе нечастые свидания с жизнерадостным милиционером Валерианом. «Валерианочка ты моя!» — смеялась сквозь слезы Лидка Павловна, лаская гостя в полутемной подсобке. Принимать эту валерианочку приходилось в стесненных условиях, поскольку к свекрови она привести милиционера не могла, а идти к нему в камеру предварительного заключения не решалась. Прятала на полках надувной полуторный матрас, и милиционер Валериан на пороге любовных наслаждений надувал его, наливаясь краской не только от страсти. «Насос бы купила, — укорял он в перерывах между вдуваниями. — Никакого здоровья не хватит».

— Я к ей ключи имею, понял — нет?

Дед Сидоренко был вралем и бахвалом, и Касьян Нефедович делил все его обещания на тридцать три. И здесь разделил, но, к его удивлению, Лидка Павловна приняла сидоренковские разъяснения без всяких делений, с ходу накинувшись на безответного дедуню Глушкова:

— А что ж молчал, что Багорыча друг? На лбу у

тебя не написано, а знать я не обязана. Чего тебе — кефир да творог? Делов-то!

Такая легкость звучала в этом, что Глушков поначалу не поверил. Усомнился. А на следующее утро получил все без всякой волокиты.

Вот так и настроилась прекрасная жизнь: и сытно, и сладко, и весело. Обычно при таком наборе человек быстро забывает, откуда все началось: всем известно, что Волга впадает в Каспийское море, но мало кто помнит, из какого родника вытекает она. Но Касьян Нефедович был так устроен, так за-про-грам-мирован (о господи, ну и язык пошел), что не мог об истоке не думать. А истоком тем, родничком с живой водой, к которому припадал он раз в неделю по средам, была Валентина. Валечка, на подарок которой он по рублю в месяц откладывал в коробку из-под мармелада, купленного когда-то внучонку Славику.

9

В естественном увлечении судьбой деда Глушкова повествование наше пошло прямо-таки карьером, и теперь настало время чуть его придержать. Не для интриги, а ради одной только правды, которая, как известно, есть цепь из причин и следствий.

Одна душа в деревне доселе помнила, что жил тут когда-то некий дед Глушков: соседка Анна Семеновна, Нюра. Раз в месяц писала она деду, что жива-здорова, что внучка жива-здорова, что дочка жива-здорова и что корова их тоже жива-здорова. И Касьян Нефедович аккуратно отвечал, поддерживая тоненькую ниточку связи с далекой своей родиной. И добрая старая женщина Анна Семеновна, Нюра молодости Глушкова, и оказалась причиной, породившей вскоре совершенно неожиданные следствия.

Шло время, и через положенный срок у соседа наконец-таки появился долгожданный ребеночек, которого практически мыслящий Арнольд Ермилович рассматривал как наиважнейший аргумент в борьбе за увеличение жилой площади. И коли уж он и прежде не очень-то жаловал деда Глушкова, то теперь окончательно залютовел. Теперь он не только здоровался, удивляясь, что сосед его еще богу душу не отдал, но и прощался тем же манером. От таких приветствий дед бегал со всех своих стариковских ног, как только усекал на горизонте Арнольда Ермиловича. А куда бегать-то, когда на дворе вместо поэтических времен года сплошная осенняя мокрятина? К Багорычу, если он дежурил, к Валечке, если

была среда, и на автовокзал во все остальные дни недели. Дед Сидоренко дежурил по охране казенного телефона в понедельник, но аккурат в воскресенье молодой папа допек несчастного Касьяна Нефедовича до угольной черноты:

— Давай, дедок, собирайся, пока бабка твоя с архангелами не загуляла. Слышишь, как двадцать первый век за стеной орет? Уступи ему дорогу, прояви сознательность.

Тут дед и рванул из дома. Чувствовал, что единственная возможность на сегодняшний день душу в теле удержать — это бежать куда глаза глядят. А глаза дедуни Глушкова в моменты всех жизненных передряг глядели теперь в квартиру номер тридцать восемь, что на третьем этаже. И он стариковским аллюром примчался к этой квартире и, не отдышавшись, сунул пальцем в кнопку звонка.

А дверь открыл неизвестный молодой мужик. Коротко стриженный, гладко бритый, с серыми глазами и без пиджака.

— Вот и еще один дед до пары, — сказал он. — Ты чего такой красный, отец? Гнались за тобою, что ли?

На все эти вопросы дед Глушков не мог издать ни звука, так сильно упыхался. И пока пыхтел, за

широкой спиной незнакомца возник озадаченный Багорыч.

— Кореш это мой, — пояснил он. — Сейчас на дежурство пойдем.

— Так… вроде… воскресенье, — еле выдохнул кореш.

— Сказал, значит, все, — сурово отрезал Сидоренко. — Понял — нет?

— Нет, — покивал Касьян Нефедович. — А где же…

Он имел в виду Валю, но имени ее не произнес, а потому ответа и не получил. Обождал, покуда старикан плащ напялит, и пошел следом.

— Привет, отцы, — сказал неизвестный мужик и закрыл за ними дверь.

Старики шли молча и так шустро, что притомившийся Глушков с трудом держал равнение. А старикан Сидоренко поспешал куда-то форсированным марш-броском, и это особо пугало затюканного Касьяна Нефедовича. Но что-то в насупленном лице Багорыча заставляло дедуню от вопросов воздерживаться.

— Сама за бутылкой побежала, — потрясенно изрек Сидоренко наконец. — Как этого увидала, так и закричала: «Андрюша!»

— Андрей?

— Андрюша, понял — нет? — строго поправил сильно обескураженный таинственным поведением внучки старик. — Ступай, говорит, умойся, а я за бутылкой сбегаю. А мне велела колбасу достать, что к праздникам прятали.

— Стало быть, сегодня у нее праздник, — сообразил дедуня и подавил вздох.

— День мелиоратора сегодня, понял — нет? — не согласился упрямый Сидоренко. — И автоматизация ликвидации тут не подходит, потому как она по своей воле за бутылкой побежала.

— Какая ликвидация?

— И Андреем зовут, — не слушая, продолжал Багорыч: равновесие души его было поколеблено. — Андрюша, закричала, Андрюша! Ты, говорит, ванну прими, ты, говорит, с дороги ведь. А я, говорит, за бутылкой, а ты, говорит, колбасу достань. А она — для праздников.

На дворе было промозгло, накрапывал дождь, и старики сидели на автовокзале. Воняло прокисшим пивом, которого здесь никогда не было, бензином и людским скопищем, потому что в последний месяц количество рейсовых автобусов уменьшили вдвое, а количество пассажиров уменьшить забыли.

— Может, это, жених он? — тихо-тихо, с пол-

ным сердечным замиранием спросил дедуня Глушков.

— Кто жених?

— Ну этот. Для которого за бутылкой побежала.

— Жених? — с невероятным презрением переспросил Багорыч. — Глупой ты, дед, понял — нет? Я б знал, понял — нет? Если б жених, я бы знал? Или не знал? Чего молчишь?

— Знал, — сказал кореш и, подумав, добавил: — Или не знал.

— А я его и не знаю, — задумчиво сказал Сидоренко, не обратив внимания на глушковскую интонацию. — Хотя лицо знакомое. Вроде знакомое… Или незнакомое?

Замолчали старики, закручинились, нутром своим натруженным уже предчувствуя, что встреча с этим знакомо-незнакомым лицом означает крутой поворот в их собственной судьбе.

10

Природа распорядилась, чтобы у каждой женщины был свой Адам, но люди постарались так все перепутать, что чаще всего этот Адам оказывается женатым отнюдь не на Еве, живет в ином столетии или прописан в общежитии с монастырским уставом. И каждый год добавляет

путаницы: девушки без любви выходят замуж, молодые люди отдают руку первой же юбке, мелькнувшей на танцплощадке, и суды завалены заявлениями о разводах. После школьных опытов со свадьбами Адамы начинают всесоюзный розыск своих Ев, а Евы экспериментальным путем устанавливают своих Адамов. В этом нет ничего противоестественного, однако известно, как буйно расцветает нравственность, когда отцветает плоть, а посему эти мучительные для ищущих поиски давно заклеймены как упадок нравов. А на деле нет никакого упадка, а есть непреложный закон природы: женщина способна любить только одного-единственного, ей предназначенного мужчину. Кому-то везет, а кто-то обречен в поисках своего единственного перебрать десятки чужих. Но, отдаваясь этим чужим, женщина не растрачивает ни грана своей любви. Она ее изображает, бессознательно сберегая все неистовое пламя свое предначертанному свыше. И когда он приходит, становится неузнаваемой не только для сослуживцев.

— Что же ты не писал, стервец ты? — говорила Валька, и тело ее светилось в сумраке нежностью и любовью. — Паразит ты, ты кровь мою всю выпил, и никто мне теперь не нужен, кроме тебя.

— До чего же ты сладкая, Валька, — утомленно вздыхал Андрей. — Считаю, что все, нашел и искать никого не хочу больше.

— Врешь, поди? Врешь? — обмирая от нежности, шептала она.

— Честно, Валечка. Недаром к тебе прямо с вокзала пришел.

— Прийти-то пришел, а вещички в камере хранения оставить не позабыл.

— Да какие там вещи! Не с Европы же я возвращаюсь.

До сей поры Валька своими друзьями вертела как хотела, а здесь не то чтобы приказать — до сладкой дрожи ждала, что ей прикажут. А он ничего не приказывал, ласкал да целовал, а к ночи сказал:

— Любовь любовью, а съезжаться погодим. Устроюсь на работу, с жилплощадью выясню, а там видно будет.

В любых отношениях наступает предел, за которым люди по-разному понимают одно и то же. Андрей был женат (о чем, естественно, не говорил Вальке и что Валька, естественно, знала), разведен и помянул о жилплощади, надеясь получить в квартире бывшей супруги право на какие-нибудь квадратные метры. Но все, что касалось его

прошлой жены, лежало для Валентины за пределом общего понимания; отсюда начиналось ее понимание, и это личное понимание толковало одно: в однокомнатной ее квартире Андрей не желает жить потому, что тогда их будет трое. Так она его поняла, поскольку знала, что с милым, конечно, рай и в шалаше, но надо же иметь этот отдельный шалаш.

Вот какие разные мотивы породил финал их любовного разговора. Андрей считал, что ясно растолковал причину, и готов был горячо и весело проводить с Валечкой хоть все вечера. А Валентина, готовая весело и горячо проводить с Андреем обязательно все вечера, занозила-таки свое доброе и влюбчивое сердечко довольно опасной занозой, решив, что любимый не переселяется к ней исключительно из-за третьего лишнего. То есть из-за деда Сидоренко. Багорыча.

Мужиком Андрей был компанейским, тут же нашел общий язык с Пал Егорычем и личный — с Касьяном Нефедовичем, и жизнь заструилась еще живее. Правда, поначалу, учуяв неладное, дедуня не явился в среду, проторчав полвечера на знакомой скамейке автовокзала. Полвечера потому, что его разыскал Валечкин дружок самолично. И сел рядом.

— Что, отец, меня, что ль, невзлюбил?

— Нет, — шепотом ответствовал дед, — что ты.

— А чего же к Вальке сегодня не явился? Всегда по средам как штык, понимаешь, а сегодня хильнул. Валька решила, что заболел, отца к тебе наладила, да он ни с чем и вернулся. А ты вон где.

— Да, — сказал Касьян Нефедович. — Тут я. Народ кругом.

— Народ, значит, любишь?

— Люблю.

— А мы разве не народ? И мы народ. Вот и пошли к нам.

И привел дедуню Глушкова. И все встало на свои места, только Валентина куда чаще деда своего теперь гулять отправляла. И дед клал в карман будильник, заряженный на три часа вместо двух.

А дожди лили уж совсем беспросветно, ветры рвали последние клочья тепла, и солнце поглядывало на землю испуганно, будто из-за угла, будто запрещено ему было поглядывать. Короче говоря, над всей землей, по словам Багорыча, бушевал климат и погоды не было ни в одном государстве. При таком положении и бессердечный хозяин пса на улицу выгнать не решился бы. Даже если

на той улице и числилась среда.

— Ну вот что, — сказала старикам Валентина, предварительно долго препиравшаяся с Андреем. — Дед, доставай книгу.

— Книгу? — озадаченно переспросил Сидоренко, покосившись на дедуню Глушкова.

— Давай-давай! — прикрикнула внучка. — Оба рядышком садитесь, в книжку носом. И ты, дед, для дедуни вслух читай, пока не скажу.

— Не надо бы, Валя! — с досадой крикнул Андрей. — Я лучше завтра зайду.

— А я сегодня хочу! — отрезала хватившая три рюмки Валентина. — И стесняться тут нечего, тут — жизнь. Верно, дедуня?

— Верно, — покорно согласился ничего не понимавший Глушков.

— Умница. — Валечка нежно чмокнула дедуню в розовую лысину. — Тогда садитесь, как велела.

Деды уселись в кухне за стол спинами к комнате и лицами в окно. И Пал Егорыч деловито раскрыл книгу. Никчемный сверхплановый дождишко тоскливо тарахтел в стекло, отсчитывая мгновения, и мгновения эти тянулись для Касьяна Нефедовича как погребальные дроги. Не был готов он к такому искусу, не собрал сил своих духовных, а потому и не оценил молодого счастья

за старческими плечами. Даже монотонный, как пономарь, Багорыч заметил транс, в который впал кореш. Перестал бубнить, толкнул плечом:

— Жизнь это, понял — нет?

— Жизнь, — подтвердил Глушков, и две жалких слезинки дробно стукнулись о страницу.

Не одному Касьяну Нефедовичу неуютно было в тот вечер. Дед Сидоренко к этакому был привычен, а Валька, буйно празднуя взрывы собственной страсти, искренне полагала, что все вокруг должны радоваться ее счастью и что прятать тут абсолютно нечего. Но Андрей ощущал некоторое смущение, а потому пришел на кухню с початой бутылкой.

— За нашу Вальку, отцы. Хорошая она баба, и вы на нее не серчайте.

— Внучка в меня вся, понял — нет? — неестественно взбодрился Багорыч, ощутив в руке стакан. — Мировая она, понял — нет?

Он шумел и суетился, а дедуня молчал. И Андрей, поддакивая деду Сидоренко, чувствовал какую-то вину именно перед Касьяном Нефедовичем.

— Это точно, что мировая, — говорил он. — Остальные там придуриваются, изображают чего-то, а Валька наша ничего не изображает.

Она вся — как есть, как в натуре.

— Правильно! — кричал Багорыч. — Она вся в меня, хоть знак качества ставь. Счастье тебе подвалило, парень, сильное счастье.

— Подвалило, — согласился Андрей, опять поглядев на деда Глушкова. — Знаешь, как в тюряге посидишь, так это особо ценишь.

— В тюряге? — Сидоренко похмурился, соображая. — Ты погоди-погоди, какая такая?

— Нормальная. Я, отцы, четыре года в общей колонии отбухал. Хищение государственного имущества. Каток для асфальта на спор с завода угнал.

Про это старики ничего не знали. Даже дедуня маленько очухался и поглядел на Андрея с испугом. Но и здесь промолчал.

— А-а… — протянул Пал Егорыч. — Страшно, поди?

— Да чего же там страшного? — усмехнулся парень. — Крыша над головой имеется, жратва три раза в день. Ну, баня, кино.

— Кино? — поразился Багорыч. — Преступникам — и кино?

— Нормально, как у людей. А в воспитательной части телевизор есть. Олимпиаду смотрели, за «Спартак» болеем.

— За «Спартак»?! — Багорыч вскочил, повертелся в тесной кухоньке и опять сел. — Нет, скажи, что врешь. Скажи, что врешь, а?

Вот в этом месте Глушков и подал впервые голос. Сказал с горечью:

— Молодым везде хорошо.

11

С этого вечера Касьян Нефедович стал задумчивым. Он всегда был тих и безответен, но теперь эти качества приобрели некий новый ракурс, будто дед сменил созерцание жизни на попытку ее осмысления. Но то ли этот процесс был для него непривычен, то ли мыслей никаких не возникало, а только о результатах он не говорил никому. Просто смотрел задумчивыми телячьими глазами, молчал, и неизвестно было, скажет ли чего вообще. А у соседа в ответ на его: «Ну как, дед, насчет свиданьица со старухой?» — спросил вдруг:

— А коли б жилплощадь была, так еще бы ребеночка родили? Или побоялись бы?

Арнольд Ермилович поперхнулся, прокашлялся и признался:

— Двоих.

Спохватился, что по-человечески ответил, забормотал про архангелов, но дед уж и не слушал

его.

— Счастливые, которые с детьми. Очень счастливые. — Вздохнул, надел шапку. — Двоих, значит, обещался. Это хорошо. — И пошел мимо онемевшего соседа на улицу.

Друга он нашел на пустыре, где было ветрено и сыро. Но Багорыч к тому времени принял семь полулубульков в оплату за стакан и гордо не замечал продырявленного климата. Физиономия его горела несогласием, кепку он тискал в единственной руке и норовил встать на асфальтовую глыбу, но ноги с этим не соглашались.

— Ворюгам — кино, а заслуженному человеку… Нет, это надо у милиции справиться.

Милиция звалась Валерианой и должна была прибыть на мотоцикле по окончании торгового дня. Услышав рев мотора и накинув три часа, деды вышли наперехват. И вскоре действительно показался Валериан.

— Баб много, а я один! — с невероятным торжеством объявил он.

Старики не дали ему развить эту тему, тут же поведав о рассказе Андрея.

— Чудаки старики! — радостно засмеялся Валериан, легкий после чудных мгновений, как олимпийский мишка. — А гуманизм?

— Чего? — переглянулись приятели.

— Гуманизм! — Он важно поднял палец. — Пояснить?

— Пояснить, — попросил дедуня Глушков.

— Гуманизм — это что такое? Это поддержка слабого, — неторопливо и вразумительно, чтоб дошло до стариков, начал Валериан. — При царе, скажем, или при капитализме какой закон действует? Закон джунглей, понятно? А у нас какой? Закон гуманизма. Разницу улавливаете?

— А я слабый? — спросил Касьян Нефедович.

— Ты? — Милиционер внимательно осмотрел щуплого — и в чем только душа трепыхалась! — дедуню и сказал: — А это пока неизвестно.

— А когда известно? — допытывался Глушков. — Когда, это, с почетом понесут?

Милиционер огорченно вздохнул и с досадой покрутил круглой, как футбольный мяч, головой.

— Действие совершить надо, действие! Это ихний гуманизм бездейственный, а наш — действенный. Советский гуманизм в действии — читали в газетах? Ох и темные же вы, деды!

Завел мотоцикл и уехал.

— Глупой! — заорал Багорыч, когда мотоциклетный грохот затих в дальних кварталах. — На-

болтал и уехал. И не объяснил ведь!

— Объяснил, — тихо сказал дедуня Глушков, посмотрев на друга телячьими глазами. — Все он объяснил. Действие нужно, понял? Действие.

12

Действие зреет долго, и чем старше человек, тем медленнее оно зреет, путаясь в усталой душе, блукая в сумерках размышлений, то представляясь ясным, то вдруг ныряя в беспросветный туман прожитого. Тогда дед Сидоренко, громко поминая всех угодников, спешил за своими законными полубульками, и дедуня Глушков оставался один. Тоскливо бродил по улицам и переулкам в бессознательной надежде встретить Валечку, а если случалось это, без оглядки семенил прочь. И все было ладно, да как-то отнялись ноги у Касьяна Нефедовича. Забастовали и отказались унести его в закоулок.

— Ты чего тут, дедунь?

Дедуня молча пристроился сбоку, тщетно пытаясь попасть в такт летящей женской походке. Валька что-то говорила, но он не слушал — глядел под ноги и семенил. А потом сказал:

— Истинную правду скажешь мне?

— А когда это я тебя обманывала?

— Теперь что соврать, что правду сказать — все одно, разницу утеряли. А ты вспомни, что есть разница, вспомни, а?

— Чудной ты какой-то, дедуня. Не захворал?

— Разница есть, Валечка, — шепотом сказал он. — Коли б я в бога верил, мне, может, много бы легче было, но безбожный я. Безбожный человек.

— Ничего я не поняла, — строго сказала Валентина, останавливаясь. — Что натворили? Говори сейчас же.

Дед Глушков помялся, посопел, пряча глаза. А потом глянул в упор, с духом собравшись, и спросил:

— За Андрея пошла бы?

— Ох, побежала бы!..

— А чего ж не бежишь? — Он подождал, но Валька только неуверенно улыбнулась. — Потому не бежишь, что дед твой Пал Егорыч вам мешает. Не спорь, не спорь, не надо, я ему ни полсловечка не скажу, а только давай сегодня всю истинную правду. Уморился я без нее. Уморился.

— Может, квартиру разменяем, — безнадежно вздохнула она. — Если Андрея к бывшей его жене пропишут.

— Да, — вздохнул и дедуня. — Умирали б мы вместо пенсии…

Грызла тоска стариков. Точила как червь, неутомимо и невидимо; Багорыч с нею полубульками боролся, ерничеством да показной разудалостью, а Касьян Нефедович по улицам бегал. Кружил по поселку, по новым микрорайонам, расширял свои кольца, точно надеялся запутать, замотать тоску свою. И однажды вышел к почтамту. Шел дождь, и старик вошел в здание и сел у стола, где граждане писали письма. Посидел, подумал, а потом попросил вдруг лист бумаги, взял ручку и неуверенно, на каждой букве спотыкаясь, начал: «Добрый день вам, Анна Семеновна, дорогая Нюра…» Думал, что долго будет писать, что, может, совсем не напишет даже, но письмо написалось одним махом и почти без помарок. Вывел адрес, опустил в ящик и пошел искать Багорыча.

Багорыч на спор на троих, не глядя, разливал, на полубульку зарабатывая. Дед Глушков отобрал у него бутылку, сунул ее владельцу и повел приятеля в сторону. Приятель орал и вырывался, а дед сказал:

— С этим кончено, увожу я тебя отсюда. Как только подтверждение придет, что примут нас.

— Куда это? Где это? — обижался Багорыч. — Мешаешь все, вредный ты старик!

Через неделю пришел ответ. Длинный и мно-

гословный, а если пересказать, так шесть слов: милости просим, Касьян Нефедович и Павел Егорович.

— Ну вот, — вздохнул дед Глушков, прочитав Багорычу письмо. — Ждут нас там, значит, за нами дело.

— Хорошая женщина, — потрясенно признался Сидоренко. — Сколько лет?

Дедуня глянул укоризненно. Сидоренко засмущался и стал ковырять грязь ботинком.

— Не порть обувь, — строго сказал Касьян Нефедович. — Жизнь наша меняется, и всякие глупости надо из нее выкинуть.

До сего дня, даже до сей минуты крикливый Сидоренко решал за деда Глушкова, куда тому идти и что делать. А тут Глушков командовал, и Багорыч послушно кивал, изредка уточняя: «Ясно. Понятно. Бу сделано». Не потому, конечно, что ехал в глушковские места, а потому, что эта очень простая и всем подходящая мысль родилась у Касьяна Нефедовича. Пал Егорыч признавал право первородства.

— Выпивать если придется, то по праздникам. Мужиков разливать по булькам не учи, они и без этого того. Пенсии все до копеечки Нюре отдавать будем, и по дому все делать, и…

— По грибы ходить будем, — деловито вступил Багорыч. — И Вальке сушеных пришлем. А еще насчет работы. Непременно надо нам на работу устроиться, и тогда мы денег подкопим.

— Зачем это? — подозрительно осведомился дедуня.

— А Вальку с Андреем к себе пригласим! — воскликнул Сидоренко, чрезвычайно обрадованный этой идеей. — А когда ребеночка родит, так нянчить его станем.

— Правильно, — согласился Касьян Нефедович. — Теперь что делать. Первое: никому ни слова, а то не пустят. Второе: выпишусь я с жилплощади. Третье: ты с работы уволишься. Четвертое: билеты…

Три дня беготней были заняты до предела: выписывались — совещались, увольнялись — совещались, билеты покупали — опять совещались. А когда все общие дела были исполнены, кончились их совещания: с прожитым человек прощается один на один.

— Дед, побежала я! — жуя на ходу (по утрам она всегда опаздывала), прокричала Валентина.

Обычно Сидоренко ей из кухни отвечал, а тут вышел, прислонился к косяку и глядел молча.

— Ты что это, дед?

— Сказать вышел, что… — Багорыч дернул головой и отвернулся. — Чтоб осторожней шла, подморозило.

— Допрыгаю, — беспечно ответила внучка. — До вечера, дед!

И дверью хлопнула. Дед постоял, шагнул вдруг, ткнулся лицом в ее старое пальтишко и замер. Только плечи вздрагивали. Потом утер лицо и пошел собирать свои вещи. И первой в чемодан положил книжку «Автоматизация ликвидации отходов».

А Касьян Нефедович в то утро встал спозаранку и, взяв из заветной мармеладовой коробки сэкономленные пять рублей, побежал искать прощальный подарок. Да не сообразил: все магазины были еще закрыты, — и дедуня устремился к рынку. А на входе окликнули:

— Отец, купи цветы. Посмотри, какие цветы! Как в крематории, понимаешь.

Молодой черноусый протягивал Глушкову совершенно немыслимый букет. Все на букет заглядывались, и даже огромная, как колесо, кепка продавца светилась от этого букета. Но дедуня отмахнулся и поспешил за чем-либо ценным. Проспешил десяток шагов, умерил аллюр и остановился. Потоптался, назад повернул и опять

будто нечаянно мимо тех цветов протопал. И опять. И — еще раз. И — остановился.

— А сколько?

— Как из уважения, для тебя только — два червонца.

— Двадцать рублей?!

Отчалил старик. Несуразную цену назвали, и оттого, что цена была несуразной, цветы понравились ему еще больше. Отошел, выгреб из кармана остатки пенсии, сложил с заветной пятеркой, и вышло шестнадцать рублей. Зажал их в кулаке.

— А дешевле нельзя?

— Назови свою цену, уважаемый. Там посмотрим.

— Шестнадцать рублей у меня всего.

— Только из уважения. Только из личного уважения, понимаешь…

Дед Глушков нес старательно упакованный в газету букет двумя руками, как икону. Занудный червячок сосал его, что зря он деньги убухал, что завянет вся эта красота и ничего от подарка не останется. Но дед упрямо спорил, утверждая, что останется. Валечкина радость останется. Так с червяком и цветами и вошел он в квартиру.

— Ты живой еще, дед? — удивился Арнольд

Ермилович: он на работу собирался. — А как же старуха твоя с архангелами?

— Уезжаю я, — сказал ему Глушков. — Вы двух ребеночков обещали, а я вчера из квартиры выписался. Можете занимать, только вещи возьму.

— Касьян… — растерянно забормотал сосед. — Николаевич…

— Нефедович я, — грустно усмехнулся старик. — Только просьба к вам — цветы эти за меня передать.

— Передам, — тихо сказал Арнольд Ермилович, взял букет и сел на стул, точно ноги у него ослабли.

Завозился Касьян Нефедович, забегался, и теперь приходилось поспешать. Вещи загодя были уложены, дед второпях выпил кефир, подхватил барахлишко свое и вышел в коридор. Хотел к соседям заглянуть попрощаться, но там громко плакала жена и что-то бубнил Арнольд Ермилович. Дед поклонился их дверям и побежал.

В целях конспирации решено было на вокзале встретиться. Багорыч мог быть уже там, и старик припустил прямо от подъезда. Да недалеко.

— Глушков! Дедушка!

Касьян Нефедович остановился: к нему почтальонша спешила.

— Телеграмма вам. Распишитесь.

«Анна Семеновна умерла. Хоронили вчера».

Старики сидели в зале ожидания. По лицу Касьяна Нефедовича все время текли слезы, и он не знал, что сделать, чтобы они не текли. Он словно съежился, усох вдруг, маленьким совсем стал, и Багорыч легко обнимал его единственной своей рукой.

— Это ничего, ничего, это бывает. Смерть у каждого есть, что уж тут. Жалко, конечно, Нюру, хорошая женщина, но ты держись, друг, вдвоем ведь, не пропадем. В Сибирь поедем, на это… на БАМ. Там люди нужны.

— Никому мы не нужны, — прошептал дедуня. — Никому.

— Врешь! — сердито крикнул Багорыч: теперь он стал старшим и главным, но не ерепенился, как всегда, а говорил серьезно и увесисто, как отвечающий за двоих. — Бани, к примеру, есть у них? Я банщиком могу, а ты…

Компания молодая шла мимо. Шумная, с гитарой. Девчушка в потертых брюках остановилась вдруг, присела перед ними.

— Вы чье, старичье?

Ласково спросила, обеспокоенно. Но тут парни ей крикнули:

— Наташка, поезд уходит!

И она убежала.

— Ничье мы старичье, — тихо сказал Глушков и вздохнул. — Ничье.

— Неправда! — строго нахмурился Сидоренко. — Ты мой теперь, понял? Ты мой, а я — твой, и не пропадем. Мы с тобой еще…

— Вот они где! — крикнул знакомый голос. — Тут они, Валя! Нашлись, слава тебе…

Валька с лету упала рядом, чуть скамью не перевернув. Стукнула одного, стукнула второго — зло, больно — и заревела. Андрей стоял рядом, усмехался:

— Ну, отцы, с вами не соскучишься.

— Окаянные! — закричала наконец-то Валька, да так, что весь зал ожидания вздрогнул. — Черти окаянные, мучители мои! Ну что выдумали, что? Марш домой, пока не простудились, возись тогда с вами! Дед, бери дедуню под руку, ослаб он совсем.

Старики покорно шли к дверям, сзади Андрей нес вещи. Валька шагала впереди, всхлипывая и бесцеремонно расталкивая встречных. А у самого выхода обернулась:

— Спасибо тебе, дедуня. Мне еще никто в жизни цветов не дарил, ты первый.

И засмеялась вдруг. Слезы текли по щекам, а она смеялась весело и звонко. И, глядя на нее, улыбались хмурые пассажиры. А Андрей, хохоча в голос, на часы посмотрел, замолчал и вещи на пол поставил.

— Захвати барахлишко, Валя, магазин закрывается. Надо же еще одну раскладушку купить…

Я думаю о сказках детства. О царевнах-лягушках и Иванах-царевичах, о счастливых чудовищах и несчастных красавицах, о добрых голодных мальчиках и объевшихся пряниками злых купеческих дочках. В них всегда торжествовала справедливость, порок был наказан и все в конце вздыхали с облегчением.

Пусть дети всегда вздыхают с облегчением, но жизнь страшнее любой сказки. Не умирала Анна Семеновна, Нюра далекой юности Касьяна Глушкова. Жива она и здорова, просто дочь ее на телеграфе работает. Вспомнили?